



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

JA

98

.K3

S47

A 1,017,705

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БЮГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАЗЕНКОВА

М. Н. КАТКОВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Р. И. Сементковскаго

Съ портретомъ Каткова, съ предисловіемъ
изъ П. Яковлева Родичева

ВЪ НА 25 КОП.

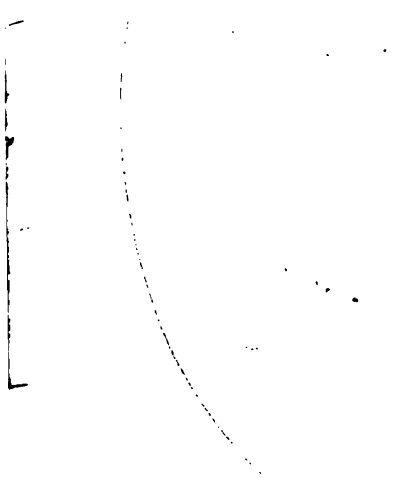
С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ОБЩЕСТВО ПЕЧАТ. ИЗДАНІЙ, ТОВАРИЩ. - ОБЩЕСТВО ВОЗВѢД. П. ВОДЪЯЧ., 39

1891



310d-190





М. Н. Катковъ.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БЮГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

*Sementkovskii, Rostislav
" Ivanovich*

М. Н. КАТКОВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Р. И. Сементковскаго.

Съ портретомъ Каткова, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ.

ЦѢНА **25** коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.

1892

JA
98
K3
547

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Предисловіе	3
I. Молодость Каткова.—Его первая литературные работы .	7
II. Переломъ въ настроеніи Каткова.—Прекращеніе литературной дѣятельности и разрывъ съ товарищами по перу.—Хлопоты по присканію казеннаго мѣста.—Ученныя работы.—Профессорская дѣятельность.—Первый періодъ редактированія „Московскихъ Вѣдомостей“. —Основаніе „Русскаго Вѣстника“	17
III. Отсутствіе публицистическихъ статей въ „Русскомъ Вѣстникѣ“.—Чисто-литературный характеръ этого журнала.—Первыя публицистическія работы Каткова, совпавшія съ началомъ реформъ прошлаго царствованія.—Столкновение съ цензурою.—Объяснительныя записки Каткова.	24
IV. 1863 годъ.—Общее положеніе дѣлъ.—Первоначальное молчаніе Каткова.—Ошибочная оцѣнка правительственныхъ мѣропріятій.—Аксаковъ и Катковъ.—Успѣхъ „Московскихъ Вѣдомостей“.—Какъ страдился этотъ успѣхъ на всей дальнѣйшей дѣятельности Каткова	33
V. Столкновение съ администраціею.—Борьба съ А. В. Головнинымъ.—Увлеченіе классическою системою.—Национальная политика.—Предостереженіе.—Аудіенція въ Ильинскомъ.—Новое предостереженіе и долготѣнее молчаніе Каткова въ національномъ вопросѣ	48
VI. Мнимая страстность Каткова.—Польская интрига.—Первоначальное отношеніе Каткова къ реформамъ прошлаго царствованія.—Оцѣнка имъ важнѣйшихъ событій шестидесятихъ годовъ	55
VII. Семидесятые годы.—Вѣчныя колебанія Каткова въ вопросахъ внѣшней политики.—Разочарованіе реформами.—Подходъ противъ интеллигенціи.—Увлеченія Бисмаркомъ . .	63
VIII. „Диктатура сердца“.—Пушкинскій праздникъ.—Самовольное присвоеніе доходовъ московскаго университета.—Катастрофа 1-го марта.—Еврейскіе погромы.—Новый промахъ во внѣшней политикѣ.—Столкновение съ министрами финансовъ и иностранныхъ дѣлъ.—Смерть Каткова. . . .	69

Михаила Никифоровича Каткова, бесспорно, слѣдуетъ признать самымъ извѣстнымъ изъ русскихъ публицистовъ. Не только въ Россіи, но далеко за ея предѣлами, въ теченіи двадцати четырехъ лѣтъ постоянно говорили о Катковѣ, читали и обсуждали его статьи. Въ этомъ отношеніи на ряду съ нимъ можетъ быть поставленъ развѣ только И. С. Аксаковъ. Но публицистическая дѣятельность послѣдняго по разнымъ причинамъ часто прерывалась на болѣе или менѣе продолжительное время; голосъ-же Каткова за все это время раздавался почти непрерывно и притомъ такъ громко, что какъ у насъ, такъ и за границею къ нему внимательно прислушивались всякій разъ, когда пульсъ русской государственной и общественной жизни бился ускоренно.

Извѣстность однако бываетъ различная, смотря по тому, достигается-ли она положительною или отрицательною дѣятельностью. Сама по себѣ она не можетъ еще считаться доказательствомъ выдающихся заслугъ. Чтобы уяснить себѣ значеніе того или другого публициста, надо разобраться въ его дѣятельности, подвергнуть ее тщательному анализу. Современники относились къ покойному Каткову весьма различно. Одни признавали его заслуги передъ Россіей громадными; другіе столь-же рѣшительно заявляли, что онъ кромѣ вреда ничего не принесъ. Стоитъ только вспомнить эпитеты, которые присвоивались Каткову при его жизни или тотчасъ послѣ смерти, чтобы понять, какой противорѣчивой оцѣнкѣ онъ подвергался. Одни называли его «создателемъ русской публицистики», «борцомъ за русскую правду», «носителемъ русской государственной идеи», «установителемъ русскаго просвѣщенія», «столпомъ рус-

скаго и славянскаго самопознанія», «златоустомъ-апостоломъ величія и славы Россіи», «рускимъ палладіумомъ», «грозою Германіи и Англіи», «рускими термопилами». Другіе придавали ему насмѣшливыя и презрительныя клички: «громовержца Страстного бульвара», «будочника русской прессы», «жреца мракобѣсія», «проповѣдника сикофанства», «московского Менцеля», или даже «герцога Альбы» *). Но даже если не останавливаться на этихъ эпитетахъ, содержащихъ очевидное преувеличеніе отрицательныхъ или положительныхъ сторонъ дѣятельности Каткова, другими словами, если имѣть въ виду только болѣе или менѣе обоснованныя сужденія современниковъ о покойномъ московскомъ публицистѣ, то и въ такомъ случаѣ надо будетъ признать, что дѣятельность Каткова оцѣнивалась въ двухъ діаметрально противоположныхъ направленіяхъ. «Дивное по истинѣ зрѣлище!—говорилъ въ надгробномъ словѣ московскій митрополитъ Іоанникій при отпѣваніи покойнаго Каткова: Человѣкъ, не занимавшій никакого виднаго высокаго поста, не имѣвшій никакой правительственной власти, дѣлается руководителемъ общественнаго мнѣнія многомилліоннаго народа; къ голосу его прислушиваются и иностранные народы и принимаютъ его въ соображеніе при своихъ мѣропріятіяхъ. Рѣдко кому выпадала на долю такая завидная участь!»... «Церковь и общество, государство и семья, наука и искусство,—присовокуплялъ другой проповѣдникъ,—все, всѣ стороны человѣческой жизни и дѣятельности охватывалъ онъ своимъ орлинымъ зоркимъ взглядомъ, оцѣнивалъ, опредѣлялъ и устроялъ своимъ гениальнымъ умомъ, обо всемъ болѣлъ своею великою душою. Его взглядомъ дорожили сильныя міра сего; къ его слову прислушивались правители народныя; его душа обаяла всѣхъ истинно-русскихъ людей».

Съ другой стороны, мы читаемъ въ некрологѣ, посвященномъ «Вѣстникомъ Европы» покойному публицисту: «Совершенно правы тѣ, кто называетъ Каткова отрицателемъ по преимуществу... Это еще не значить, чтобы въ отрицаніи заключалась его сила... Кри-

*) Графъ А. Толстой въ извѣстномъ рукописномъ стихотвореніи „Единство“.

тика Каткова стоитъ развѣ немногимъ выше его положительнаго ученія; его отрицаніе не только бесплодно, оно безсильно... Искусственное единодушіе, вынужденное согласіе, организованное лицемеріе, вотъ чего хотѣлъ Катковъ... Сложилась цѣлая легенда, приписывающая ему честь удержанія Царства Польскаго за Россіей... Какъ и всякая другая легенда, она не устоитъ передъ судомъ исторіи... Говорили, что Катковъ много сдѣлалъ для русской печати, что онъ поднялъ ее на небывалую высоту, далъ ей небывалое значеніе. Болѣе ошибочнаго мнѣнія нельзя себѣ и представить».

Независимо отъ этой противорѣчивой оцѣнки современниковъ, обыкновенный судъ надъ московскимъ публицистомъ затрудняется еще тѣмъ, что онъ самъ отличался изумительною неустойчивостью въ своихъ воззрѣніяхъ. Онъ съ одинаковою наружною страстностью защищалъ и либеральныя и консервативныя воззрѣнія, отстаивалъ широкое участіе общественныхъ силъ въ государственной жизни и отвергалъ это участіе, высказывался за сильную центральную власть и дискредитировалъ главные ея органы, издѣвался надъ сторонниками національнаго принципа и самъ выступалъ его страстнымъ поборникомъ, превозносилъ судъ присяжныхъ и глумился надъ нимъ; громилъ и фритредеровъ, и протекціонистовъ, проповѣдовалъ союзъ съ Франціей и отвергалъ его, видѣлъ въ Бисмаркѣ нашего вѣрнѣйшаго друга и злѣйшаго врага. При такой измѣнчивости его основныхъ взглядовъ, нельзя прикладывать къ нему обыкновенной мѣрки. Его дѣятельность въ этомъ отношеніи не выдерживаетъ даже снисходительной критики. Если руководствоваться исключительно его статьями, то можно придти только къ выводу, что ихъ писалъ человѣкъ, очень мало подготовленный и способный къ зрѣлому обсужденію государственныхъ и общественныхъ вопросовъ, а громкая извѣстность Каткова представится намъ явленіемъ совершенно загадочнымъ. Только въ связи съ обстоятельствами его жизни и съ общими условіями, въ которыя поставлено наше отечество, эта загадка можетъ быть разрѣшена. По отношенію къ Каткову болѣе чѣмъ по отношенію къ какому-бы то ни было публицисту, можно сказать, что очеркъ его дѣятельности долженъ совпадать съ очер-

комъ его жизни. Поэтому мы рассмотримъ его публицистическія работы въ связи съ обстоятельствами его жизни, придерживаясь хронологическаго порядка и избѣгая всякихъ сужденій, не основанныхъ на точномъ и проверенномъ фактическомъ матеріалѣ. Факты въ данномъ случаѣ лучше и полнѣе всякихъ словъ выяснять намъ истинное значеніе Каткова *).

*) Матеріалами для составленія нашего очерка послужили: „Московскія Вѣдомости“ съ 1851—1887 г.—„Русскія Вѣдомости“ съ 1857—1887 г.—*М. Н. Катковъ*, 1863 г. Москва 1887 г. (Сборникъ его статей по польскому вопросу, корреспонденцій, помѣщенныхъ въ „Моск. Вѣд.“ въ 1863 г., и официальныхъ документовъ по тому-же вопросу).—*М. Н. Катковъ*, 1884 г., Москва 1887 г. (собраніе главныхъ статей Каткова за 1864 г.).—*Любимовъ* М. Н. Катковъ („Русск. Вѣст.“ 1888 и 1889 г.г. Личныя воспоминанія г. Любимова, подчасъ весьма цѣнныя. Кромѣ того, читатель найдетъ въ статьяхъ г. Любимова нѣкоторые чрезвычайно интересные официальные документы, касающіеся издательской и редакторской дѣятельности Каткова).—*Невѣднскій*. Катковъ и его время СПб. 1888 г. (Весьма добросовѣстная и довольно безпристрастная біографія Каткова. Къ сожалѣнію, авторъ не коснулся ни его экономическихъ статей, ни статей по классическому образованію. Въ книгѣ г. Невѣднскаго содержатся нигдѣ еще не опубликованныя и чрезвычайно цѣнныя письма Каткова въ покойному издателю „Голоса“, А. А. Краевскому).—*Панаевъ*. Литературныя Воспоминанія.—Некрологи, помѣщенные въ разныхъ поврежденныхъ изданіяхъ.—Матеріалы, разбросанные въ разныхъ историческихъ журналахъ, преимущественно въ „Русской Старинѣ“.

I.

Молодость Каткова. — Его первые литературныя работы.

Къ публицистической своей дѣятельности Катковъ приступилъ очень поздно, именно въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда ему было уже болѣе 40 лѣтъ. Собственно редактировать «Московскія Вѣдомости» онъ началъ въ 1851 году, но о широкой публицистической дѣятельности въ то время, по цензурнымъ условіямъ, еще и рѣчи быть не могло; да и самъ Катковъ не рѣшался приступить къ ней. Только ко времени основанія «Русскаго Вѣстника» (въ 1856 г.) относятся его первые слабыя попытки приступить къ обсужденію политическихъ вопросовъ. Но независимо отъ цензурныхъ условій, неподготовленность самого Каткова къ разработкѣ вопросовъ внутренней и внѣшней политики служила въ этомъ отношеніи препятствіемъ, такъ что публицистическая роль Каткова остается весьма незамѣтною и только въ шестидесятыхъ годахъ, въ особенности-же въ 1863 г., когда Катковъ окончательно принялъ на себя редактированіе «Московскихъ Вѣдомостей», онъ обращаетъ на себя общее вниманіе, какъ публицистъ. «Русскій Вѣстникъ» приобрѣлъ извѣстность и популярность, благодаря сотрудничеству выдающихся литературныхъ силъ (Тургенева, Толстого, Салтыкова и др.); «Московскія-же Вѣдомости» приковали къ себѣ общее вниманіе, благодаря статьямъ самаго Каткова.

Мы указываемъ на этотъ поздній разцвѣтъ публицистическаго дарованія Каткова, чтобы выяснить одно обстоятельство, чрезвычайно важное для правильной оцѣнки его дѣятельности. Всѣ біографическія свѣдѣнія о Катковѣ сходятся въ томъ, что онъ началъ

интересоваться государственными науками только съ 1858 года, т. е. на 41 году жизни. До того времени никто въ немъ и не подозревалъ публициста. Когда Катковъ приступалъ къ основанію «Русскаго Вѣстника», такой компетентный судья, какъ Грановскій, высказалъ рѣшительное сомнѣніе, чтобы Катковъ и его товарищъ, Леонтьевъ, могли успѣшно и съ знаніемъ дѣла обсуждать политическіе вопросы. Этотъ взглядъ вполне раздѣлили сотрудники самого «Русскаго Вѣстника». Да и дѣйствительно, стоитъ только бросить взглядъ на всю предшествующую жизнь Каткова, — и мы убѣдимся, что политическими вопросами онъ не интересовался и къ обсужденію ихъ не былъ подготовленъ.

Лишившись очень рано отца, мелкаго чиновника, онъ былъ помѣщенъ матерью своею, урожденной Тулаевой *), въ Преображенскій сиротскій институтъ; отсюда онъ былъ переведенъ въ первую московскую гимназію, а затѣмъ въ славившійся въ то время пансіонъ извѣстнаго профессора Павлова, гдѣ и окончилъ гимназическій курсъ 17-ти лѣтъ въ 1834 году. Въ томъ-же году Катковъ поступилъ въ московскій университетъ на словесное отдѣленіе. Черезъ четыре года, въ 1838 г. онъ окончилъ университетскій курсъ кандидатомъ съ отличіемъ. Изъ тогдашнихъ профессоровъ наиболѣе популяренъ былъ извѣстный критикъ Надеждинъ, читавшій теорію изящныхъ искусствъ и логику, и Павловъ, читавшій физику и теорію сельскаго хозяйства, но переимчивавшій изложеніе этихъ предметовъ разными философскими теоріями, главнымъ образомъ философіей Гегеля и Шеллинга. Какъ Надеждинъ, такъ и Павловъ увлекались Шеллингомъ, и это увлеченіе передавалось ихъ слушателямъ. Такимъ образомъ молодой Катковъ по обязанности занимался филологіей, а увлекался философіей, чему много содѣйствовало общее настроеніе тогдашней молодежи. Какъ извѣстно, въ то

*) По скуднымъ свѣдѣніямъ, сохранившимся о матери Каткова, она имѣла большое вліяніе на сына, укрѣпивъ въ немъ религіозное чувство. Самъ Катковъ говорилъ Любимову, что по происхожденію отъ матери, о которой онъ сохранилъ самую благоговѣйную память, въ его жилахъ есть грузинская кровь.

время русская молодежь бредила Гегелемъ и Шеллингомъ; увлеченіе Франціею замѣнилось увлеченіемъ германскою наукою и германскою поэзіею. Бѣлинскій, Грановскій, Герценъ, Огаревъ, К. Аксаковъ, Самаринъ, Буслаевъ, Кудрявцевъ, Кавелинъ, Тургеневъ, Кольцовъ, всѣ эти видные дѣятели русской литературы или науки либо получили въ то время образованіе въ московскомъ университетѣ, либо примкнули (въ томъ числѣ даже Огаревъ съ своими друзьями) къ кружку, душою котораго первоначально былъ Станкевичъ, а потомъ Бѣлинскій, и члены котораго занимались главнымъ образомъ обсужденіемъ и изученіемъ нѣмецкой философіи. Къ этому кружку присоединился и Катковъ, хотя онъ былъ моложе многихъ его членовъ и слѣдовательно не могъ разыгрывать въ кружкѣ сколько нибудь видную роль. Ближе всего онъ сошелся съ Бѣлинскимъ и Бакунинымъ, особенно съ послѣднимъ.

Нѣмецкою философіею увлекались всѣ члены кружка. Увлеченіе это доходило до того, что <у нихъ отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности, сдѣлалось школьное, книжное, что на примѣръ чловѣкъ который шелъ гулять въ Сокольники, не просто гулялъ, а отдавался пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайномъ проявленіи. Слеза, навертывавшаяся на глазахъ также строго относилась къ своей категоріи, — къ трагическому въ сердцѣ>. Всѣ споры, пререканія, размолвки между тогдашнюю молодежью имѣли своимъ предметомъ все ту же нѣмецкую философію или вызывались ею. Она не только живо интересовала умы, но и составляла основаніе всего міросозерцанія молодежи. Участіе въ государственной или общественной жизни было тогда немыслимо. Такимъ образомъ создавалась искусственная атмосфера, которою дышала молодежь. Само собою разумѣется, что по мѣрѣ того, какъ молодежь приходила въ соприкосновеніе съ дѣйствительностью, идеалы, почерпнутые изъ нѣмецкой философіи, должны были постепенно видоизмѣняться. Впечатлѣнія, вынесенныя до университетской жизни,

также оказывали свое дѣйствіе. Наконецъ и характеръ даннаго лица, его нравственныя начала должны были повліять въ этомъ отношеніи. Только такимъ образомъ можно себѣ объяснить, что изъ московскихъ кружковъ Станкевича и Бѣлинскаго вышли люди столь различнаго направленія, какъ Бѣлинскій, К. Аксаковъ, Герценъ, Катковъ. Чтобы понять, какъ одно дерево могло дать столь различные ростки, надо вдуматься въ жизнь каждаго изъ этихъ выдающихся дѣятелей, прослѣдить вліяніе, которому они подвергались въ раннемъ возрастѣ и вникнуть въ обстоятельства ихъ дальнѣйшей жизни. Умственный интересъ былъ одинаково возбужденъ у всѣхъ членовъ этихъ кружковъ и на первый разъ находилъ себѣ удовлетвореніе въ той приподнятой умственной и нравственной жизни, которая царила въ московскомъ университетѣ во второй половинѣ 30-хъ годовъ, въ блестящую Строгоновскую эпоху*). Отвлеченные идеалы и теоріи Гегеля и Шеллинга не могли не произвести сильнаго впечатлѣнія на юношей, мало затронутыхъ требованіями практической жизни. Но по мѣрѣ того, какъ эта жизнь вступала въ свои права, теоріи и идеалы нѣмецкихъ философовъ блѣднѣли. Приходилось считаться съ конкретными условіями, избрать опредѣленную дѣятельность. Нравственная атмосфера, которою дышали члены кружковъ, согрѣла многихъ изъ нихъ на всю жизнь: она, вѣроятно, не мало содѣйствовала появленію такихъ свѣтлыхъ и идеальныхъ личностей, каковы были нѣкоторые изъ русскихъ дѣятелей, вышедшіе изъ этихъ кружковъ. Но и наиболѣе свѣтлые изъ нихъ, каковы незабвенный Бѣлинскій и К. Аксаковъ, далеко разошлись въ своихъ воззрѣніяхъ, а другіе, не будучи въ нравственномъ отношеніи такими стойкими, подчинились въ своей дѣятельности вліяніямъ, не имѣвшимъ ничего общаго съ тѣмъ или другимъ міросозерцаніемъ. Къ числу послѣднихъ принадлежитъ и Катковъ.

Онъ довольно тѣсно применилъ къ кружку Бѣлинскаго и дол-

*) 1-го іюля 1835 г. почетнымъ московскаго учебнаго округа былъ назначенъ графъ Сергій Григорьевичъ Строгоновъ, и былъ введенъ новый университетскій уставъ.

гое время шелъ съ нимъ какъ-бы рука объ руку. Онъ былъ дѣятельнѣйшимъ сотрудникомъ «Московского Наблюдателя», когда этотъ журналъ редактировался Бѣлинскимъ. Вмѣстѣ съ нимъ онъ началъ сотрудничать и въ «Отечественныхъ Запискахъ» Краевскаго, т. е. перенесъ литературную дѣятельность изъ Москвы въ Петербургъ. Въ чемъ заключалось сотрудничество Каткова въ этихъ двухъ изданіяхъ? Чѣмъ была тогда занята его мысль? Онъ былъ въ восторгѣ отъ эстетики Гегеля и такъ хорошо усвоилъ себѣ его ученіе, что, какъ пишетъ Бѣлинскій, разбивалъ въ прахъ тогдашнія теоріи нашего знаменитаго критика, впрочемъ, знакомившагося съ Гегелемъ, по незнакомію нѣмецкаго языка, — какъ извѣстно, изъ вторыхъ рукъ. Катковъ-же зналъ прекрасно не только нѣмецкій, но и французскій и англійскій языки. Можетъ быть, поэтому Бѣлинскій чрезвычайно дорожилъ его обществомъ. Но кромѣ философіи Катковъ занимался еще поэзіей. Особенное пристрастіе онъ питалъ къ Гейне, Гофману, отчасти Шекспиру. Сотрудничество его въ «Наблюдателѣ» выразилось главнымъ образомъ въ переводахъ изъ этихъ писателей, — переводахъ, надо сказать, довольно неудачныхъ. Такъ напримѣръ, послѣдняя строфа знаменитаго стихотворенія Гейне «Къ матери» гласитъ въ Катковскомъ переводѣ такъ:

„Больной назадъ я путь поворотилъ,
Пришелъ домой, и мать меня встрѣчала.
И то, чего душа моя алкала, —
Любовь, любовь въ глазахъ ея сіяла“.

Столь-же неудачны переводы изъ «Ромео и Юліи»:

„О, продолжай, мой свѣтлый ангелъ! Ты
Надъ головою моею средь ночи блещешь
Въ такой-же славѣ, какъ посланникъ неба
Предъ взорами смущенными людей,
Которые, упавъ на землю навзничь,
На дивнаго посла взираютъ въ страхъ“ и т. д.

Спрашивается, вызывались-ли эти переводы внутренней потребностью Каткова или только желаніемъ зарабатывать хлѣбъ литературнымъ трудомъ? Въ то время матеріальныя обстоятельства Каткова были далеко не завидны. Онъ долженъ былъ содержать

себя, мать и младшаго брата, а денежныхъ средствъ не было никакихъ. Но не подлежитъ сомнѣнiю, что Катковъ искренно увлекался какъ философiей, такъ и поэзiей. Въ литературныхъ воспоминанiяхъ Панаева разсказанъ случай изъ жизни Каткова, вполне подтверждающiй искренность его увлеченiя поэзiей. Въ то время онъ зачитывался Гофманомъ и до того увлекся этимъ писателемъ, что хотѣлъ непременно попасть въ погребокъ (Weinkeller), играющiй большую роль въ произведенiяхъ знаменитаго нѣмецкаго разсказчика, и пригласилъ Панаева посѣтить такое заведенiе. Когда-же Панаевъ отказался, разъяснивъ Каткову, что въ Петербургѣ погребковъ на нѣмецкiй ладъ не существуетъ, Катковъ серьезно разсердился и два дня дулся на Панаева. Кромѣ того извѣстенъ фактъ, что Катковъ въ то время любилъ декламировать стихи, сопровождая декламацию усиленными тѣлодвиженiями, закрыванiемъ глазъ, выкрикиванiями и завыванiемъ. Наконецъ искренность его увлеченiя германской философiей и поэзiей выразилась въ томъ фактѣ, что онъ, будучи лишентъ всякихъ средствъ къ существованiю, принималъ поѣздку за-границу и прожилъ около двухъ лѣтъ въ Германiи въ самомъ бѣдственномъ положенiи.

Тутъ мы встрѣчаемся уже съ другою чертою характера молодого Каткова. Въ немъ, несомнѣнно, былъ большой запасъ энергiи, производившiй сильное впечатлѣнiе на его товарищей. Въ университетѣ онъ занимался прекрасно. Его отвѣты на экзаменахъ обращали на себя общее вниманiе. Молодые студенты, какъ передаетъ г. Любимовъ — ходили слушать, «какъ отвѣчаетъ Катковъ». Ихъ къ этому впрочемъ поощрялъ и тогдашнiй инспекторъ, извѣстный Нахимовъ. «Что болтаетесь?—говорилъ онъ студентамъ:—пойдите, послушайте, какъ Катковъ отвѣчаетъ». Тогда уже попечитель, графъ Строгоновъ, обратилъ особенное вниманiе на Каткова. По окончанiи университета онъ, несмотря на затруднительное матеріальное положенiе, на необходимость заниматься литературою, чтобы прокормить себя, мать и брата, черезъ годъ сдалъ магистерскiй экзаменъ, а когда ему улыбнулось счастье и онъ получилъ отъ Краевского приглашенiе участвовать въ «Отечественныхъ Запискахъ»

(въ томъ же году), то съ рѣдкою энергіею принялся за литературный трудъ. Началъ онъ съ перевода статьи Варнгагена фонъ-Энзе о Пушкинѣ; затѣмъ слѣдовали статьи: «О русскихъ народныхъ пѣсняхъ», объ «Исторіи древней русской словесности» Максимовича, о сочиненіяхъ графини Сарры Толстой. Кромѣ того, онъ продолжалъ заниматься переводами изъ Шекспира и Гейне (перевелъ «Ромео и Юлію» и «Радклифа»), велъ чрезвычайно дѣятельно библиографическій отдѣлъ въ журналѣ, и поэтому Бѣлинскій могъ съ полнымъ основаніемъ писать въ 1840 г., что «Отечественныя Записки» существуютъ трудами только трехъ людей: Краевского, Каткова и самого Бѣлинскаго. Во всѣхъ этихъ статьяхъ, понятно, никакой особенной эрудиціи 22-лѣтній Катковъ проявить не могъ. Самыя значительныя изъ нихъ—статьи о народныхъ пѣсняхъ и о Саррѣ Толстой. Первая изъ нихъ написана по гегелевскому шаблону, но въ ней замѣтна уже одна струя позднѣйшей Катковской дѣятельности, именно,—національная. «Солнце,—воскликаетъ молодой Катковъ,—озарило дивное зрѣлище, озарило дивную монархію, какой еще не видало человѣчество. Откуда, какъ возникла она? Какимъ чудомъ такъ внезапно, такъ неожиданно изъ хаоса и мрака явился этотъ исполинскій организмъ, атлетически сложенный, раскидавшійся своими мощными членами во всѣ концы міра? Какимъ чудомъ вдругъ безъ труда и развитія сочленилось и образовалось это ужасающее своимъ громаднымъ объемомъ цѣлое, проникшее собою съ безпримѣрною силою всѣ свои части, до безконечности разнородныя, и связывающее ихъ въ неразрывномъ единствѣ государства, предназначеннаго свыше управлять кормомъ человѣчества». Конечный выводъ статьи тотъ, что русскую исторію слѣдуетъ разъяснять философскимъ путемъ и что однимъ изъ самыхъ важныхъ источниковъ подобнаго разъясненія является народное пѣснотворчество. Однако въ своей статьѣ о народныхъ пѣсняхъ, Катковъ, по недостатку эрудиціи, понятно, не изучилъ ихъ, а ограничился общими положеніями въ духѣ нѣмецкой философіи. Въ статьѣ о сочиненіяхъ графини Сарры Толстой (извѣстной, воспѣтой Жуковскимъ, семнадцатилѣтней поэтесы, впадавшей въ экстазы и

исновидѣніе) Катковъ далъ волю своему тогдашнему поэтическому настроенію и въ общемъ пришелъ къ выводу, что въ подобномъ состояніи человѣкъ иногда вѣрнѣе прозрѣваетъ истину, чѣмъ при помощи хладнокровно взвѣшивающаго ума. Онъ говоритъ, что мы всюду окружены чудесами, и предается слѣдующимъ поэтическимъ изліяніямъ, которыя мы приводимъ, какъ свидѣтельство его тогдашняго поэтического настроенія и стиля: «Тайнственный ужасъ объемлетъ душу въ часъ полуденнаго затишья, когда природа, переполненная обременительными силами, будто ждетъ кого-то и не дожидется, въ дремучемъ сумракѣ лѣса деревья съ вопросомъ помахиваютъ своими маховыми вершинами; въ чудномъ шумѣ, въ которомъ сливаются фантастическій шелестъ листьевъ и говоръ ночныхъ насѣкомыхъ, слышится вздохъ, и непонятною грустью подернуты спящія воды... Обаяніе-ли это призраковъ, болѣзнь мечтательной души, или полусумрачное откровеніе высшей дѣйствительности, мерцаніе иной жизни».

Эти двѣ статьи обратили на себя общее вниманіе и доставили только-что достигшему гражданскаго совершеннолѣтія Каткову громкую извѣстность. Бѣлинскій пророчилъ молодому литератору большую будущность. «Я вижу въ немъ,—писалъ онъ В. Боткину,—великую надежду науки и русской литературы. Онъ далеко пойдетъ, далеко, куда нашъ братъ и носу не показывалъ и не покажетъ». Вообще Катковъ производилъ сильное впечатлѣніе на своихъ товарищей. Они удивлялись его способностямъ, въ особенности его сильному и рѣшительному характеру. Можетъ быть, именно, это обстоятельство болѣе чѣмъ достоинство его литературныхъ произведеній дѣйствовало на его сверстниковъ. У Каткова въ то время произошла ссора съ Бакунинымъ, распустившимъ про него какую то сплетню, въ которой была замѣшана женщина. Въ квартирѣ Бѣлинскаго состоялась встрѣча двухъ противниковъ; произошла перепалка, кончившаяся тѣмъ, что Катковъ оскорбилъ Бакунина дѣйствіемъ. «Я въ первый разъ, — пишетъ по этому поводу Бѣлинскій,—увидѣлъ, что такое мужчина, достойный любви женщины». По этому поводу должна была произойти дуэль, которая однако по

малодушію Бакунина, не состоялась. Двенадцать четыре года спустя Катковъ имѣлъ извѣстное столкновеніе съ гласными московской городской думы, въ частности съ Гончаровымъ, братомъ жены Пушкина, состоявшимъ тогда старшиною дворянскаго сословія въ думѣ. Тутъ Катковъ повелъ дѣло такъ, что на дуэль вышелъ не онъ, а его другъ и товарищъ Леонтьевъ. Но въ молодости Катковъ былъ, — какъ видно изъ всѣхъ приведенныхъ нами фактовъ, — рѣшительнымъ и энергическимъ человѣкомъ.

Литературный успѣхъ, видимо, вскружилъ ему голову. «Онъ велъ себя со всѣми нами, — пишетъ Бѣлинскій В. Боткину, — какъ гениальный юноша съ людьми добродушными, но недалекими, и сдѣлалъ мнѣ нѣсколько грубостей и дерзостей, которыя могъ снести только я, но которыя нельзя забыть и о которыхъ расскажу тебѣ при свиданіи. Панаеву съ Языковымъ тоже досталось порядочно за то, что они не знали, какъ лучше выразить ему свое уваженіе и любовь... Въ немъ бездна самолюбія и эгоизма, — пишетъ дальше Бѣлинскій въ томъ же письмѣ: Этотъ человѣкъ какъ-то не вошелъ въ нашъ кругъ, а присталъ къ нему... Самолюбіе ставитъ его въ такія положенія, что отъ случайности будетъ зависѣть его спасеніе или гибель, смотря по тому, куда онъ повернется, пока еще есть время поворачивать себя въ ту или другую сторону». Вообще Катковъ плохо ладилъ съ своими товарищами. Онъ со всѣми ссорился, и всѣ на него жаловались; но въ то же время всѣ видѣли въ немъ какую-то нарождающуюся силу.

Его энергія, равно какъ его увлеченіе философіей и поэзіей выразились и въ его заграничной поѣздкѣ, состоявшейся въ концѣ 1840 г. Чтобы заручиться средствами на эту поѣздку, онъ перевелъ вѣстѣ съ Панаевымъ одинъ изъ Куперовскихъ романовъ. Разсчитывалъ онъ кромѣ того на гонораръ за переводъ «Ромео и Юлія». Но его надежда сбылась лишь отчасти и, какъ рассказываетъ Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ, онъ уѣхалъ за границу, имѣя въ карманѣ не болѣе 200 р. ассиг. За границею Катковъ страшно бѣдствовалъ. Матеріальное положеніе Краевскаго было тогда далеко еще не блестящее, и онъ могъ оказывать Каткову только слабую денеж-

ную поддержку. Катковъ жилъ за границею большею частью въ долгъ, и подчасъ находился въ такомъ критическомъ положеніи, что готовъ былъ просить посольство о возвращеніи его въ Россію на казенный счетъ *). Къ тому же состояніе его здоровья было весьма неудовлетворительно, можетъ быть отчасти вслѣдствіе лишеній, которыя ему пришлось терпѣть. Къ литературѣ Катковъ въ то время, видимо, охладѣлъ, потому что его сотрудничество въ «Отечественныхъ Запискахъ» было весьма отрывочное и скудное. Онъ прослушалъ лекціи Шеллинга втеченіи двухъ семестровъ. О другихъ занятіяхъ его ничего не извѣстно. Шеллингомъ онъ въ сѣбѣ сторгался и во всякомъ случаѣ прекрасно изучилъ нѣмецкій языкъ. Вотъ что пишетъ Боденштедтъ о Катковѣ по возвращеніи его изъ-за границы. «Съ особеннымъ одушевленіемъ говорилъ Катковъ о Шеллингѣ и Яковѣ Гриммѣ. Въ домѣ Шеллинга онъ былъ принятъ весьма радушно и часто посѣщалъ его. Въ воспоминаніяхъ объ этомъ знакомствѣ играла не малую роль прелестная дочь Шеллинга, съ которой я познакомился впоследствии, когда она была уже замужемъ за барономъ Цехомъ (Zech). Катковъ говорилъ о ней всегда съ большимъ уваженіемъ, тогда какъ вообще онъ не находилъ особеннаго удовольствія въ дамскомъ обществѣ. Нѣмецкимъ языкомъ, разговорнымъ и письменнымъ, Катковъ владѣлъ въ такомъ совершенствѣ, что мнѣ ни разу не случалось подмѣтить въ его рѣчи какого-нибудь иностраннаго выраженія».

*) „Русская Старина“, май 1887 г.

II.

Преломъ въ настроеніи Каткова. — Прекращеніе литературной дѣятельности и
оувъ съ товарищами по перу. — Хлопоты по принсканію казеннаго мѣста. —
ья работы. — Профессорская дѣятельность. — Первый періодъ редактиро-
ванія „Московскихъ Вѣдомостей“. — Основаніе „Русскаго Вѣстника“.

Изъ писемъ, которыя Катковъ писалъ Краевскому изъ-за гра-
ницы, ясно видно, какъ повліяли на него перенесенныя имъ ли-
шенія. Они сдѣлали изъ нѣсколько романтическаго и пылкаго юноши
человѣка весьма практичнаго. Выѣстъ съ тѣмъ въ немъ замѣтно
отрѣшеніе отъ тѣхъ чистыхъ нравственныхъ идеаловъ, которыми
отличались всѣ члены кружка Станкевича и Бѣлинскаго. Загра-
ничное пребываніе отразилось на Катковѣ и въ смыслѣ отчужденія
отъ національныхъ идеаловъ, которые онъ воспринялъ въ ранней
молодости и которые нашли себѣ выраженіе въ вышеупомянутой
его статьѣ о народныхъ пѣсняхъ. Касаясь полемики «Отечествен-
ныхъ Записокъ» съ Шевыревымъ и Погодинымъ, онъ пишетъ Краев-
скому въ 1841 г.: «Ей-Богу, старые руссопеты, посланные царемъ
Алексѣемъ Михайловичемъ къ флорентинскому двору, при всей
своей глупости и апатіи, смотрѣли на вещи умнѣе и человѣчнѣе,
чѣмъ эти твари, эти с..., эти п... по сердцу и изъ видовъ. Не всту-
пая съ ними ни въ какіе споры, чтобъ не осквернить себя, а глав-
ное не профанировать дѣла, надо же однако дѣлать отводъ этому
глупому, руссопетскому направленію и тѣмъ по крайней мѣрѣ въ
комъ есть жизнь, показывать, что въ Европѣ жизнь не сохнетъ и
не гніетъ, и что въ русскомъ народѣ понимаютъ руссопета только
ж... его, въ которой живутъ, движутся и суть». Затѣмъ 23-лѣт-

ній Катковъ даетъ Краевскому слѣдующее наставленіе: «Ваше дѣло теперь стоять отъ нихъ подальше, вести себя какъ можно политичнѣе, издали всѣми средствами подзадоривать ихъ, не давая имъ однако этого замѣчать. Я бы на вашемъ мѣстѣ позволилъ себѣ пускаться на всякія макиавеллистическія хитрости и тонкости, потому что уничтоженіе этихъ м... — богоугодное дѣло; къ тому же и выгода немалая, — руки ваши останутся чистыми; листы «Отечественныхъ Записокъ» не забрызганы золотомъ», и т. д.

По возвращеніи изъ-за границы въ концѣ 1842 г. онъ почти совсѣмъ перестаетъ заниматься литературою и усиленно добивается какого нибудь мѣста на государственной службѣ. Еще изъ-за границы онъ писалъ Краевскому, что «максимумъ его амбиціи — попасть къ какому нибудь тузу или тузику въ особые порученія», и, пріѣхавъ въ Петербургъ, немедленно принялся хлопотать объ этомъ. Въ началѣ 1843 г. онъ уже пишетъ Краевскому изъ Москвы, что условился съ Милютинымъ (Н. А., служившимъ тогда уже въ Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ) относительно поступленія своего на службу, но что извѣстій никакихъ отъ него не получаетъ. «Я нахожусь, — пишетъ онъ, — въ положеніи критическомъ, тяжесть котораго чувствуется не однимъ мною, но и семействомъ моимъ: моею старою матерью, моимъ братомъ, еще связаннымъ студенчествомъ». Онъ проситъ оказать ему матеріальную помощь, хотя сотрудничество его въ «Отечественныхъ Запискахъ» тогда уже совершенно прекратилось. Мало того, со времени возвращенія Каткова изъ-за границы прежнія его литературныя связи также прерываются. Въ воспоминаніяхъ Панаева о Катковѣ уже болѣе не упоминается. Съ московскими славянофилами онъ никогда не поддерживалъ тѣсныхъ сношеній. Въ перепискѣ Бѣлинскаго также о Катковѣ уже вовсе не упоминается: послѣднія указанія встрѣчаются въ письмѣ нашего знаменитаго критика къ Боткину отъ 6-го февраля 1843 г. Вотъ что онъ пишетъ: «Каткова ты видѣлъ. Я тоже видѣлъ. Знатный субъектъ для психологическихъ наблюденій. Это — Хлестаковъ въ нѣмецкомъ вкусѣ. Я теперь понялъ, отчего во время самого разгара моей мнимой къ нему дружбы меня дико поражали его зеленые

стеклянные глаза. Ты нѣкогда недостойнымъ участіемъ къ нему жестоко погрѣшилъ противъ истины; но честь и слава тебѣ, ты же хорошо и поправился, ты постигъ его натуру, попалъ ему въ самое сердце. Этотъ человѣкъ не измѣнился, а только сталъ самымъ собою. Мы всѣ славно повели себя съ нимъ: онъ было вошелъ на ходуляхъ, но наша полная презрѣнія холодность заставила его сойти съ нихъ».

Бѣлинскій и его друзья всецѣло были преданы идеальнымъ интересамъ русской литературы; Катковъ же, видимо, разочаровался въ ней. Лишенія, которыя онъ перенесъ за границу, и матеріальныя заботы о будущемъ исцѣлили его отъ пристрастія къ литературѣ. Онъ сталъ дѣятельно искать болѣе практическихъ средствъ устройства своей судьбы. Этимъ только и можно объяснить себѣ, что онъ одновременно прекращаетъ литературную дѣятельность и усиленно хлопочетъ о пріисканіи себѣ казеннаго мѣста. Въ лучшую пору своей жизни онъ не принимаетъ никакого участія въ литературѣ. Его столь успѣшно начатая литературная карьера совершенно прекращается. Не доказываетъ ли это, что Катковъ никогда серьезно не любилъ литературы, что она служила ему только средствомъ для достиженія другихъ, постороннихъ цѣлей? Съ 23 до 38-лѣтняго возраста, т. е. въ теченіе пятнадцати лѣтъ, онъ занимается не литературою, а скорѣе наукою, и притомъ его вынуждаетъ къ этому не внутренняя потребность, а внѣшнія обстоятельства, которымъ онъ самъ, въ своихъ письмахъ, придаетъ громадное значеніе. Катковъ очень ловко устанавливаетъ связи въ официальномъ мірѣ. Для этого онъ пользуется впечатлѣніемъ, которое во время пребыванія въ университетѣ, ему удалось произвести на высшее учебное начальство. Онъ спѣшитъ напомнить о себѣ попечителю московскаго учебнаго округа графу Строгонову. Тотъ даетъ ему совѣтъ не прерывать ученой карьеры и написать магистерскую диссертацию для полученія профессуры. Катковъ охотно принимаетъ этотъ совѣтъ и въ то же время начинаетъ давать въ Москвѣ уроки въ аристократическихъ семействахъ, вѣроятно по рекомендаціи того же графа Строгонова. Такъ, Боденштедтъ сообщаетъ, что когда онъ состоялъ воспитателемъ въ домѣ князя Голицына (московскаго бо-

гача, двоюроднаго брата московскаго генераль-губернатора), тамъ же состоялъ преподавателемъ и Катковъ. Впослѣдствіи мы увидимъ, что Катковъ черезъ того же графа Строгонова успѣлъ заинтересовать собою министра народнаго просвѣщенія и его товарища, и что только благодаря этому обстоятельству, онъ могъ выхлопотать себѣ разрѣшеніе на изданіе «Русскаго Вѣстника». Живѣйшее участіе въ немъ принималъ тогдашній товарищъ министра народнаго просвѣщенія, столь извѣстный въ нашей литературѣ князь П. А. Вяземскій. Впослѣдствіи, когда Катковъ уже издавалъ «Московскія Вѣдомости», онъ пользовался ревностною поддержкою графа Милютина и князя Горчакова.

На все это будетъ указано нами въ свое время. Теперь же мы остановимся на вопросѣ, какъ провелъ Катковъ эти пятнадцать лѣтъ вплоть до основанія имъ «Русскаго Вѣстника»? Втеченіе восьми лѣтъ онъ занимался исключительно ученою дѣятельностью, продолжая въ то же время давать частные уроки въ аристократическихъ домахъ. Свою диссертацию объ «Элементахъ и формахъ славяно-русскаго языка» онъ успѣлъ написать лишь къ 1845 году. Трудъ этотъ, составляющій нынѣ библиографическую рѣдкость, представляетъ, по отзыву специалистовъ, только сырой матеріалъ и почти вовсе не содержитъ выводовъ. Серьезнаго научнаго значенія ему придавать нельзя. Онъ составленъ Катковымъ, какъ обыкновенно составляются ученыя диссертациі, т. е. съ цѣлью представить доказательство- точнаго знакомства автора диссертациі съ избранною имъ темою. По защищеніи диссертациі Катковъ тотчасъ же получилъ кафедру и былъ назначенъ въ томъ же 1845 г. адъюнктомъ по кафедрѣ философіи. Втеченіе пяти лѣтъ онъ преподавалъ свой предметъ въ московскомъ университетѣ. Даже горячіе поклонники Каткова, какъ напримѣръ г. Любимовъ, говорятъ, что его лекціи не производили впечатлѣнія, хотя и обрабатывались имъ весьма тщательно, особенно въ стилистическомъ отношеніи. Но даромъ слова Катковъ никогда не обладалъ и поэтому не могъ увлекать слушателей. Заимѣстимъ кстати, что Катковъ и въ началѣ своей литературной дѣятельности обращалъ особенное вниманіе на слогъ и съ необычайнымъ тру-

долголюбѣмъ обрабатывалъ свои статьи въ этомъ отношеніи. Профессорствовалъ онъ до 1850 года, когда вслѣдствіе реакціи, вызванной 1848 годомъ, состоялось распоряженіе, въ силу котораго преподаваніе философіи было возложено на профессора богословіи. Ученыхъ изслѣдованій Катковъ за все это время не писалъ. Только въ 1852 г. онъ напечаталъ оригинальное философское сочиненіе, озаглавленное «Очерки древняго періода греческой философіи», въ «Пропилеяхъ», — сборникѣ, издававшемся въ то время Леонтьевымъ, съ которымъ Катковъ близко сошелся еще въ 1847 г., когда Леонтьевъ получилъ кафедру въ московскомъ университетѣ. Этотъ трудъ по отзывамъ компетентныхъ лицъ, также не представляетъ собою ничего выдающагося. Особенное вниманіе обращено авторомъ на пифагорову философію. Весь трудъ построенъ на началахъ шеллинговой философіи. Любопытно только, что въ немъ Катковъ остается вѣренъ гегелевскому принципу о «разумности всего существующаго», между тѣмъ какъ Бѣлинскій совершенно отказался отъ этой точки зрѣнія еще въ началѣ 40-хъ годовъ. Въ 1851 г. Катковъ одновременно получилъ мѣсто редактора «Московскихъ Вѣдомостей» и женился на княжнѣ Софьѣ Петровнѣ Шаликовой, дочери не безызвѣстнаго въ свое время литератора и одного изъ бывшихъ редакторовъ «Московскихъ Вѣдомостей». Такимъ образомъ тутъ повторилось явленіе, наблюдаемое столь часто въ прежней Россіи и притомъ не только въ духовномъ быту, гдѣ оно превратилось въ общераспространенный обычай, именно — предоставленіе тестемъ своего мѣста зятю. Въ данномъ случаѣ предоставленіе Каткову мѣста редактора университетской газеты было тѣмъ болѣе возможно, что Катковъ лишился кафедры, состоялъ только номинально профессоромъ и въ то же время пользовался сильной поддержкою учебнаго начальства. Мѣсто редактора освободилось, благодаря случайному обстоятельству, именно вслѣдствіе чрезмѣрнаго увлеченія предшественника Каткова гастролировавшею въ то время въ Москвѣ знаменитою танцовщицею Фанни Эльслеръ. Редакторъ университетской газеты дошелъ въ своемъ увлеченіи до того, что на проводахъ знаменитой танцовщицы занялъ мѣсто лакея на козлахъ ея кареты съ

громаднымъ букетомъ въ рукахъ и наполнилъ органъ учебной корпораціи не въ мѣру усердными восхваленіями знаменитой танцовщицы. Онъ былъ уволенъ, и такимъ образомъ для Каткова очистилось мѣсто съ жалованіемъ въ 2.000 р. и казенною квартирою. Въ то же время Катковъ былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій при министерствѣ народнаго просвѣщенія.

Казалось бы, что теперь должно было проявиться публицистическое дарованіе Каткова. На самомъ же дѣлѣ онъ былъ занятъ своимъ ученымъ изслѣдованіемъ о древнѣйшей греческой философiи, а на «Московскія Вѣдомости», повидимому, смотрѣлъ, какъ на доходную статью. Стоитъ только сравнить нумера «Московскихъ Вѣдомостей», составлявшіеся при прежнихъ редакторахъ и при немъ, чтобы убѣдиться, что все осталось по старому, и что инициатива Каткова ни въ чемъ не проявилась. Между тѣмъ онъ состоялъ редакторомъ этого изданія втеченіе цѣлыхъ пяти лѣтъ, вплоть до 1856 г. Въ это время онъ прервалъ свою ученую дѣятельность, но и публицистической не проявилъ. Вотъ въ краткихъ чертахъ вся его дѣятельность до 38-лѣтняго возраста, когда онъ приступаетъ наконецъ къ изданію «Русскаго Вѣстника».

Катковъ не безъ труда получилъ разрѣшеніе на этотъ журналъ. Собственно онъ намѣревался издавать не только журналъ, но и ежедневную газету, мотивируя необходимость подобнаго изданія отсутствіемъ въ тогдашней русской печати «патріотическихъ органовъ» вроде прежнихъ «Вѣстника Европы» и «Сына Отечества». Но московскій университетъ опасался, что новая газета Каткова нанесетъ ущербъ «Московскимъ Вѣдомостямъ», тѣмъ болѣе, что, по отзыву правленія университета, «Московскія Вѣдомости» подъ редакцію Каткова «не обнаруживали уже такого живого и современнаго движенія въ статьяхъ своихъ, какое замѣтно было въ нихъ прежде». Несмотря на прекрасную аттестацію Каткова со стороны тогдашняго министра народнаго просвѣщенія А. С. Норова, заявлявшаго, что «онъ ему извѣстенъ съ весьма хорошей стороны по своимъ способностямъ», и что о немъ далъ лестный отзывъ графъ Блудовъ; несмотря на ловко составленное Катковымъ прошеніе, въ

которомъ онъ заявляетъ, что «журнальное поприще не было имъ избрано произвольно, а вслѣдствіе стеченія обстоятельствъ, въ которыхъ онъ видитъ нѣкоторое для себя указаніе, и что онъ, испрашивая себѣ право основать особое изданіе, лучше всего можетъ опереться на изъявленное самимъ правительствомъ къ нему довѣріе», — просьба его вѣроятно не была бы удовлетворена, елибъ за него не вступился энергически товарищъ министра народнаго просвѣщенія князь П. А. Вяземскій. Онъ письменно заявилъ министру, что «хотя и находить опасенія университета отчасти заслуживающими вниманія», но тѣмъ не менѣе полагаетъ «справедливымъ, и для общей пользы желательнымъ, чтобы г. Каткову было оказано возможное удовлетвореніе по его просьбѣ». Не довольствуясь этимъ, онъ самъ составилъ всеподданнѣйшій докладъ по этому дѣлу, — и Катковъ получилъ разрѣшеніе издавать «Русскій Вѣстникъ». Но ему пришлось отказаться отъ ежедневной газеты, отъ редактированія «Московскихъ Вѣдомостей» и удовольствоваться ежемѣсячнымъ журналомъ, который и началъ выходить съ января 1856 года. Ближайшими сотрудниками Каткова были: Коршъ, Кудрявцевъ и Леонтьевъ.

III.

Отсутствіе публицистическихъ статей въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ — Чисто-литературный характеръ этого журнала. — Первые публицистическія работы Каткова, совпавшія съ началомъ реформъ прошлаго царствованія. — Столкновеніе съ цензурою. — Объяснительныя записки Каткова.

Въ первое время существованія «Русскаго Вѣстника» Катковъ былъ далекъ отъ всякой мысли о видной политической роли. Публицистика въ журналѣ почти совершенно отсутствовала. Самъ Катковъ занимался литературными вопросами. Такъ, онъ помѣстилъ оставшуюся впрочемъ неоконченную критическую статью о Пушкинѣ, въ которой разбиралъ произведенія нашего великаго поэта съ чисто-эстетической точки зрѣнія, хотя и возставалъ противъ утилитарнаго взгляда на искусство и требовалъ, чтобы художнику было предоставлено право быть только художникомъ. Обсужденіе текущихъ политическихъ событій было въ то время невозможно. Самое разрѣшеніе на изданіе Каткову дано было только подъ условіемъ, чтобъ онъ строго воздерживался отъ всякихъ разсужденій по поводу политическихъ и военныхъ событій и ограничивался перепечаткою извѣстій изъ другихъ періодическихъ изданій. Еще въ 1858 году Катковъ въ частномъ письмѣ къ генералъ-адъютанту Я. И. Ростовцеву, состоявшему тогда предсѣдателемъ комитетовъ по освобожденію крестьянъ, жаловался на то, что участіе печати въ задуманной правительствомъ реформѣ невозможно вслѣдствіе цензурныхъ стѣсненій. Каждая статья должна была странствовать изъ Москвы въ Петербургъ и проходила семь инстанцій, такъ что возвращалась только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, утративъ, понятно,

всякій интересъ. Слово «выкупъ» вовсе не допускалось въ печати. Не политическими статьями, а чисто литературными «Русскій Вѣстникъ» первоначально обратилъ на себя вниманіи читающей публики и сталъ однимъ изъ самыхъ видныхъ журналовъ своего времени. Достаточно назвать нѣкоторыхъ изъ его тогдашнихъ сотрудниковъ, чтобы понять, какое значеніе онъ долженъ былъ пріобрѣсти. Въ немъ приняли участіе всѣ три Аксаковы, Анненковъ, Бабеть, Буславъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Жемчужниковъ, Кавелинъ, Каченовскій, Лажечниковъ, Лохвицкій, Д. А. Милютинъ, Никитенко, Огаревъ, Островскій, Писемскій, Полонскій, Потѣхинъ, Пыпинъ, Соловьевъ, Сухомлиновъ, графы А. К. и Л. Н. Толстые, Тургеневъ, Чичеринъ и др. При такихъ сотрудникахъ журналъ не могъ не имѣть успѣха. Къ тому же по направленію онъ мало отличался отъ другихъ видныхъ журналовъ того времени. Еще въ 1860 г. «Современникъ» слѣдующимъ образомъ отзывался о «Русскомъ Вѣстникѣ»: «Никто болѣе насъ не радовался блестящему успѣху «Русскаго Вѣстника», и никто болѣе насъ не желаетъ, чтобы успѣхъ этотъ продолжался и возрасталъ». И дѣйствительно, хотя между обоими журналами и была разница въ направленіи по оттѣнку, такъ какъ «Современникъ» представлялъ собою, выражаясь парламентскимъ языкомъ, лѣвое, а «Русскій Вѣстникъ» правое крыло либеральной партіи, но оба они не имѣли ничего общаго съ тогдашними консерваторами. Еще въ 1862 г. въ «Русскомъ Вѣстникѣ» въ извѣстной статьѣ: «Къ какой мы принадлежимъ партіи?» можно было встрѣтить слѣдующее разсужденіе: «Плохіе тѣ консерваторы, которые имѣютъ своимъ лозунгомъ status quo, какъ бы оно ни было гнило, которые держатся господствующихъ формъ и очень охотно мѣняютъ начала. Для такихъ все равно, какое бы ни образовалось положеніе дѣлъ; для нихъ все равно, какая бы комбинація не вступила въ силу. Имъ важно знать, на которой сторонѣ власть... Если со временемъ разовьется у насъ политическая жизнь и образуются партіи, то да избавятъ Богъ наше отечество отъ такихъ консерваторовъ».

Это было время нарождавшейся надежды на полное обновленіе

русской жизни. Надежда эта въ равной мѣрѣ охватила всё слои русскаго общества, всю интеллигенцію и всѣхъ передовыхъ общественныхъ и государственныхъ дѣятелей. Разлада сколько нибудь значительнаго тогда еще не замѣчалось. Всѣ чувствовали, всѣ сознавали, что кончается одна эпоха и начинается другая, громадное значеніе которой было для всѣхъ очевидно. Россія находилась наканунѣ освобожденія крестьянъ и цѣлаго ряда коренныхъ внутреннихъ реформъ.

Политическая печать еще безмолствовала, но духъ новаго времени находилъ себѣ уже яркое выраженіе отчасти въ беллетристическихъ трудахъ корифеевъ нашей литературы, отчасти въ критикѣ ихъ произведеній. Весьма понятно поэтому, что Катковъ, ставъ во главѣ литературнаго журнала, пытался самъ принять участіе въ этомъ движеніи. Такимъ образомъ и объясняется появленіе его статьи о Пушкинѣ. Но статья эта осталась, какъ мы уже указывали, неоконченною, и Катковъ, въ предвидѣніи наступающей эпохи коренныхъ реформъ, начинаетъ впервые въ жизни проявлять интересъ къ политическимъ и социальнымъ вопросамъ. Отдѣлъ «Современной лѣтописи» въ «Русскомъ Вѣстникѣ» составлялся и редактировался первоначально безъ всякаго участія Каткова. Онъ самъ и главные его сотрудники полагали, что для веденія этого отдѣла требуются спеціальныя знанія, которыми Катковъ не располагалъ. Но интересенъ фактъ, что онъ постоянно оставался недоволенъ веденіемъ этого отдѣла; слѣдовательно онъ его занималъ. Кромѣ того сохранились указанія, что приблизительно годъ спустя послѣ основанія «Русскаго Вѣстника» отдѣлъ составлялся самымъ Катковымъ и его ближайшимъ сотрудникомъ Леонтьевымъ, и что въ 1858 г. Катковъ усердно занимался изученіемъ Блэкстона (знаменитаго англійскаго государствовѣда, сочиненіе котораго «Commentaries on the Laws of England» признается классическимъ трудомъ по англійскому государственному праву), и Гнейста, уже тогда начавшаго рядъ своихъ блестящихъ и капитальнѣйшихъ трудовъ по изученію англійскаго центрального и мѣстнаго управленія. Очевидно, Катковъ носился тогда съ мыслию

о пріисканіи для Россіи въ эпоху наступающихъ коренныхъ государственныхъ реформъ надлежащихъ иноземныхъ образцовъ, и что онъ остановился на англійскомъ государственномъ строѣ, какъ на наиболѣе пригодномъ въ этомъ отношеніи. Это обстоятельство не замедлило отразиться на публицистическихъ работахъ, появлявшихся съ тѣхъ поръ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Катковъ выступилъ рѣшительнымъ защитникомъ свободы слова, суда присяжныхъ (противъ г. Спасовича, полагавшаго тогда, что Россія еще не созрѣла для этого, и что лучше было бы ограничиться системою выборныхъ судей), мѣстнаго самоуправленія подъ руководствомъ не то дворянства, не то интеллигенціи вообще (онъ, очевидно, имѣлъ въ виду англійскую джентри) и всего англійскаго государственнаго строя. Увлеченіе Каткова Англіей доходило до того, что его начали насмѣшливо называть «англоманомъ» и въ «Искрѣ» изображали не иначе какъ въ шотландскомъ костюмѣ. Впрочемъ пристрастіе Каткова къ англійскимъ государственнымъ порядкамъ кончилось довольно скоро. Правда, еще въ 1863 г. послѣ польскаго возстанія можно было встрѣтить въ «Русскомъ Вѣстникѣ» (въ статьѣ «Что намъ дѣлать съ Польшею?») разсужденія въ такомъ родѣ, что «будущій политическій строй Россіи долженъ быть основанъ на подтвержденіи, раскрытіи, оживленіи связи между верховною властью и народною жизнью», и что Польшѣ можно предоставить только участіе въ такомъ строѣ, но никакъ не отдѣльное федеративное устройство. Равнымъ образомъ и въ статьяхъ «Московск. Вѣдом.» еще долго послѣ польскаго возстанія встрѣчались отзвуки тогдашняго настроенія Каткова, но эти отзвуки становились все слабѣе и слабѣе и уже въ концѣ 60-хъ годовъ почти совсѣмъ замерли. Надо замѣтить, что даже въ «Русскомъ Вѣстникѣ» конца 50-хъ годовъ это настроеніе Каткова (мы не говоримъ объ убѣжденіяхъ, потому что, какъ вполнѣ выяснится впослѣдствіи, московскій публицистъ никогда не руководствовался въ своей дѣятельности твердыми и обдуманными политическими принципами, вытекавшими изъ болѣе или менѣе глубокаго изученія русской дѣйствительности и жизни другихъ государствъ; а подчинялся

чисто временнымъ вліяніямъ) очень быстро прерывается, какъ прерывается вообще его чисто-публицистическая дѣятельность. Его вниманіе всецѣло поглощается борьбою съ несочувственными для него теченіями нашей общественной жизни, находившей себѣ выраженіе въ беллетристическихъ работахъ и критикѣ ихъ. Въ самомъ началѣ 60-хъ годовъ онъ открываетъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» особый отдѣлъ подъ названіемъ «Литературное обозрѣніе и замѣтки», въ которомъ вступаетъ въ полемику съ «Современникомъ», подобно тому какъ онъ раньше велъ энергическую борьбу съ славянофилами. Кромѣ того онъ вступаетъ въ оживленную полемику и съ Герценомъ. Затѣмъ онъ много распространяется о нигилизмѣ по поводу напечатаннаго въ «Русскомъ Вѣстникѣ» романа Тургенева «Отцы и дѣти». Противъ Герцена онъ возстаетъ съ большею рѣшительностью, находя его дѣятельность безусловно вредною. Онъ бросаетъ Герцену въ лицо укоръ, что тотъ не принимаетъ никакого участія въ положительной дѣятельности, направленной къ обезпеченію интересовъ русскаго народа, а ограничивается одною лишь скептической критикою, имѣющею весьма печальныя послѣдствія, такъ какъ она отражается самымъ невыгоднымъ образомъ на молодежи и дѣлаетъ ее неспособною къ полезной дѣятельности въ сферѣ реальныхъ интересовъ, выдвинутыхъ самою жизнью. Онъ возлагаетъ на Герцена отвѣтственность за участь многихъ молодыхъ людей. Въ статьяхъ его по поводу романа Тургенева онъ признаетъ нигилизмъ большимъ зломъ, но предостерегаетъ противъ всякихъ репрессивныхъ мѣръ. «Стѣсненія и преслѣдованія,—говоритъ онъ,—оказывая только палліативное дѣйствіе, могутъ съ теченіемъ времени только усилить болѣзнь и сдѣлать ее хроническою». Наилучшимъ средствомъ противъ нигилизма онъ признаетъ «усиленіе всѣхъ положительныхъ интересовъ общественной жизни».

Но вмѣстѣ съ тѣмъ самъ Катковъ охладѣваетъ къ этимъ положительнымъ интересамъ. Его участіе въ разработкѣ столь существенныхъ въ то время вопросовъ внутренней политики становится совершенно незамѣтнымъ. Экономическими вопросами зани-

мался въ «Русскомъ Вѣстникѣ» по преимуществу Леонтьевъ, а Катковъ не принималъ никакого участія въ ихъ обсужденіи. Мало того, въ началѣ 1861 г. въ изданіи «Русскаго Вѣстника» произошла перемѣна. Журналъ распался на два изданія: «Современная лѣтопись» отдѣлена была отъ остальнаго текста и составила отдѣльное еженедѣльное изданіе, на которое открыта была подписка особо. Такимъ образомъ политическіе вопросы въ тѣсномъ смыслѣ, какъ виѣшніе, такъ и внутренніе, были выдѣлены изъ «Русскаго Вѣстника». Завѣдываніе этимъ новымъ изданіемъ принялъ на себя однако не Катковъ, а Леонтьевъ. Изъ этого видно, что Катковъ въ то время либо не признавалъ себя компетентнымъ въ обсужденіи политическихъ вопросовъ, требующихъ болѣе или менѣе спеціальной подготовки, либо не интересовался ими. Но за то онъ съ конца 50-хъ годовъ рѣшительно начинаетъ признавать свою спеціальностью обсужденіе вопросовъ такъ называемой высшей политики, которая у насъ въ значительной степени отождествляется съ борьбою противъ отрицательныхъ теченій нашей общественной мысли. Полемика Каткова съ Герценомъ и отчасти съ Чернышевскимъ (въ статьѣ о Пушкинѣ) была началомъ этой борьбы, къ которой онъ такъ часто возвращался впослѣдствіи.

Но нашъ очеркъ дѣятельности Каткова въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ былъ бы не полонъ, если бы мы не коснулись одной стороны ея—стороны, которая въ то время была извѣстна не многимъ и только теперь постепенно выясняется. Мы видѣли уже, что Катковъ успѣлъ съ первыхъ же шаговъ на жизненномъ своемъ поприщѣ заручиться покровительствомъ высокопоставленныхъ лицъ, въ томъ числѣ графовъ Блудова и Строгонова и князя Вяземскаго. Только благодаря этому покровительству, онъ добился разрѣшенія издавать самостоятельный журналъ, между тѣмъ какъ другимъ литераторамъ въ этомъ отказывали (напр. Тургеневу, В. Боткину и князю Черкасскому, ходатайствовавшимъ въ 1857 г. о разрѣшеніи имъ журнала для оказанія правительству содѣйствія въ вопросѣ объ эмансипаціи крестьянъ). Благодаря поддержкѣ, которою пользовался Катковъ въ высшихъ правительственныхъ

сферахъ, онъ могъ въ своемъ журналѣ выступать очень рѣшительно. Пользуясь этою поддержкою, онъ старался ограждать свободу печати въ тогдашнее переходное время, когда голосъ ея не могъ раздаваться авторитетно, вслѣдствіе установившихся цензурныхъ традицій, еще не поколебленныхъ вѣяніями новой эпохи. Достаточно замѣтить, что въ то время сколько нибудь свободное обсужденіе вопросовъ внѣшней и внутренней политики составляло запретный плодъ. «Отечественнымъ Запискамъ» и «Русскому Вѣстнику» разрѣшалось, какъ мы уже указывали, только перепечатывать политическія извѣстія изъ «Русскаго Инвалида». Печать сама завоевала себѣ право обсужденія внутреннихъ и внѣшнихъ событій, и въ этомъ дѣлѣ Каткову, несомнѣнно, принадлежитъ заслуга инициатора. Какъ мы видѣли, Катковъ въ отвѣтъ на приглашеніе Я. И. Ростовцева оказать правительству содѣйствіе въ вопросѣ объ эмансипаціи крестьянъ, отвѣтилъ письмомъ, что при существующихъ цензурныхъ условіяхъ содѣйствіе печати невозможно. Цензора дѣйствительно были тогда поставлены въ весьма затруднительное положеніе. Какъ извѣстно, разъ установленныя административныя приемы сохраняются иногда еще долго послѣ того, какъ они признаны высшимъ правительствомъ ненужными. Такъ было и въ данномъ случаѣ. Цензора не знали, что дозволено и что воспрещено. Катковъ старался выяснитъ этотъ вопросъ и, когда имѣлъ столкновеніе съ цензурою, посылалъ высшимъ властямъ длинныя объяснительныя записки, составленныя иногда весьма дѣльно и всегда направленные къ тому, чтобы расширить свободу обсужденія печатью разныхъ текущихъ политическихъ вопросовъ. Въ указанномъ уже нами трудѣ г. Любимовъ приводитъ двѣ записки подобнаго рода. Въ первой изъ нихъ онъ старается установить предѣлы духовной цензуры по отношенію къ свѣтскимъ органамъ; въ другой—разъясняетъ вредъ офиціозной печати. Въ первой онъ подробно мотивируетъ, что духовной цензурѣ подлежатъ лишь сочиненія, въ которыхъ излагаются догматы православной церкви. «Духовная цензура,—говоритъ Катковъ,—признаетъ или не признаетъ согласнымъ излагаемое ученіе съ уста-

новленнымъ ученіемъ православной церкви: вотъ ея назначеніе, а всякое дальнѣйшее расширеніе ея предѣловъ можетъ только обратиться во вредъ какъ литературы, такъ и самой церкви. Православная церковь по своей сущности должна быть чужда всякаго инквизиціоннаго начала и полицейскаго духа; прививать къ ней этотъ духъ значить низводить ее на арену человѣческихъ страстей и преходящихъ мнѣній, унижать ея достоинство, оскорблять ея характеръ, затемнять ея святую сущность и скоплять противъ нея напрасную горечь въ умахъ. Внутренняя сущность нашей церкви достаточно обозначилась тою первоначальною чертою, которая стала чертою раздѣленія между нею и римскою церковью. Въ то время какъ римская церковь укрывала смыслъ священнаго писанія въ формахъ мертваго и непонятнаго народу языка, православная церковь признала и благословила начала разумнѣнія, допустивъ всѣ языки къ прославленію Бога. Эта черта глубоко знаменательна».

Мы нарочно сдѣлали эту длинную выписку, чтобъ показать, въ какомъ духѣ и въ какихъ выраженіяхъ составлялись тогдашнія объяснительныя записки Каткова. Другая его записка, составляющая также цѣлое литературное произведеніе со множествомъ фактовъ, почерпнутыхъ изъ русской жизни и жизни другихъ государствъ, посвящена вопросу о роли офиціозной печати. Статья, вызвавшая столкновеніе съ цензурою, написана была въ чрезвычайно рѣзкихъ выраженіяхъ. Въ ней Катковъ самымъ рѣшительнымъ образомъ высказался противъ правительственнаго вмѣшательства въ журналистику путемъ субсидій, внушеній и тому подобныхъ средствъ. Статья эта не понравилась тогдашнему министру народнаго просвѣщенія Е. И. Ковалевскому, который въ предписаніи на имя исправлявшаго должность попечителя учебнаго округа, предлагалъ предостеречь редактора «Русскаго Вѣстника», что «если онъ не измѣнитъ своего направленія, то правительство вынуждено будетъ принять касательно его изданія рѣшительныя мѣры». Въ отвѣтъ на это и послана была Катковымъ упомянутая объяснительная записка, показавшаяся министру настолько убѣдительною, что всякія дальнѣйшія мѣры противъ Каткова были

признаны излишними. Во всѣхъ этихъ столкновѣнiяхъ съ цензурою высшее правительство постоянно оказывалось на сторонѣ Каткова и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ получалъ возможность все свободнѣе обсуждать разные государственные и общественные вопросы. Такъ, напримѣръ, одна изъ очень рѣзкихъ статей Каткова, обсуждавшая переустройство Россiи по англiйскому образцу, была доведена до свѣдѣнiя Государя, полюбопытствовавшаго узнать имя автора. Ему было доложено, что авторъ статьи—коллежскiй совѣтникъ Катковъ, «весьма близко извѣстный графу Сергѣю Григорьевичу Строгонову». Покойный Государь впервые тогда обратилъ вниманiе на Каткова. Вслѣдъ затѣмъ во время пребыванiя Государя въ Москвѣ (въ 1862 г.) Катковъ удостоился быть ему представленнымъ вмѣстѣ съ профессорами московскаго университета, и Государь, равно какъ и Государыня, обошлись съ нимъ весьма милостиво.

IV.

1863 годъ. — Общее положеніе дѣлъ. — Первоначальное молчаніе Каткова. — Ошибочная оцѣнка правительственныхъ мѣропріятій. — Аксаковъ и Катковъ. — Успѣхъ «Московскихъ Вѣдомостей». — Какъ отразился этотъ успѣхъ на всей дальнѣйшей дѣятельности Каткова?

Насталъ 1863 годъ, — годъ наибольшей славы Каткова, сразу доставившій ему извѣстность не только въ Россіи, но и на Западѣ, и въ то же время окончательно опредѣлившій характеръ его публицистической дѣятельности. 1-го января этого года, Катковъ, на 45 году жизни, вторично началъ редактировать «Московск. Вѣд.», а 10-го числа того-же мѣсяца, въ Польшѣ произошло вооруженное нападеніе на наши войска, послужившее сигналомъ къ общему возстанію *).

Въ 1862 году правительство рѣшило сдать частнымъ лицамъ въ аренду какъ «Петербургскія», такъ и «Московскія Вѣдомости». Графъ Блудовъ, тогдашній президентъ академіи наукъ, имѣлъ въ виду предоставить редактированіе «Петербургскихъ Вѣдомостей» Каткову; но послѣдній долго колебался. Тѣмъ временемъ переговоры

*) О силѣ впечатлѣнія, которое произвелъ Катковъ своими статьями по польскому вопросу, можно судить по тому факту, что число подписчиковъ «Московскихъ Вѣдомостей» втеченіе 1863 г. удвоилось и достигло громадной для того времени цифры въ 12.000. Отчасти конечно увеличеніе числа подписчиковъ объясняется тревожнымъ временемъ, пережитымъ тогда Россіей. Замѣтимъ еще, что, насколько извѣстно, съ тѣхъ поръ число подписчиковъ «Моск. Вѣд.» постоянно падало и подъ конецъ жизни Каткова было весьма незначительно.

съ Коршемъ, бывшимъ помощникомъ Каткова по редактированію «Московскихъ Вѣдомостей» въ первой половинѣ 50-хъ годовъ и редакторомъ этой газеты послѣ него,—настолько подвинулись впередъ, что вопросъ могъ считаться рѣшеннымъ. Однако Катковъ сильно дорожилъ полученіемъ права на изданіе ежедневной газеты, такъ какъ отдѣленная отъ «Русскаго Вѣстника» «Современная Лѣтопись» приносила ему большіе убытки. «Русскій же Вѣстникъ» шель хорошо и занималъ, по числу подписчиковъ, второе мѣсто послѣ «Современника» (имѣвшаго 7.000 подписчиковъ, въ то время, какъ «Русскій Вѣстникъ» насчитывалъ 5.700, а «Отечественныя Записки» и «Русское Слово» по 4.000). Катковъ выступилъ соискателемъ на полученіе аренды. Конкуррентами его были профессоръ Бабстъ и Капустинъ. Но Катковъ предложилъ самую значительную арендную плату (74.000 р.). Большинство университетскаго совѣта высказались за него, хотя и противниковъ у него оказалось не мало. Такой специалистъ по политическимъ наукамъ, какъ Чичеринъ, произнесъ въ совѣтѣ горячую рѣчь противъ Каткова, въ которой старался выяснитъ недостаточную подготовленность его къ редактированію серьезнаго политическаго органа. Но большинство совѣта соблазнилось значительностью арендной платы, предложенной Катковымъ, и газета осталась за нимъ. Разрѣшеніе изъ Петербурга послѣдовало немедленно. Такимъ образомъ Катковъ съ 1-го января 1863 г. вступилъ въ редактированіе «Моск. Вѣд.».

Чтобы должнымъ образомъ оцѣнить его публицистическую дѣятельность во время польскаго возстанія, мы должны остановиться въ краткихъ чертахъ на общемъ положеніи дѣлъ. Возстаніе 1863 г., какъ извѣстно, вовсе не было неожиданностью для лицъ, слѣдившихъ за ходомъ событій въ Польшѣ. Въ концѣ 50-хъ годовъ пишущему эти строки приходилось неоднократно путешествовать въ Польшѣ, и происходившее въ странѣ броженіе бросалось ему въ глаза. Незнакомые люди, случайно встрѣтившись въ общественныхъ мѣстахъ, тотчасъ же принимались толковать о наступающей новой эрѣ въ польской жизни и высказывали самыя радужныя надежды относительно возможности возстановленія стародавней Польши.

Тогдашнія высшія административныя сферы Варшавы тотчасъ же послѣ смерти Паскевича начали относиться съ большимъ недоувѣріемъ къ будущему и дѣятельно обсуждали вопросъ о цѣлесообразности болѣе рѣшительныхъ мѣръ. Въ 1861 г. броженіе уже совершенно ясно приняло революціонный характеръ; въ слѣдующемъ году въ самой Польшѣ никто уже не сомнѣвался, что страна находится наканунѣ возстанія. Въ высшихъ варшавскихъ административныхъ сферахъ, — какъ намъ неоднократно приходилось слышать, — съ горячностью разсуждали о политикѣ, которой слѣдуетъ придерживаться, причемъ одни высказывались за энергическія мѣропріятія, другіе защищали мѣры кротости и соглашенія съ поляками, наконецъ третьи предлагали рядъ законодательныхъ мѣръ, выразителями которыхъ явились впослѣдствіи Н. Милютинъ и кн. Черкасскій. Польское возстаніе готовилось очень долго, почти съ того момента, какъ въ страну вернулись, вслѣдствіе амнистіи, дарованной при коронаціи, 9.000 эмигрантовъ, и съ тѣхъ поръ, какъ слухи объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи заставили польскую шляхту опасаться, что однородная социальная реформа будетъ произведена и на ихъ родинѣ. Нельзя не отмѣтить факта, что Катковъ, выступившій такимъ горячимъ защитникомъ русскихъ государственныхъ интересовъ въ 1863 г., не обмолвился ни однимъ словомъ о грозившей опасности ни въ «Русскомъ Вѣстникѣ», ни въ «Современной Лѣтописи», а между тѣмъ по другимъ вопросамъ онъ высказывался уже тогда съ большою самостоятельностью. Пробѣгая его изданія тѣхъ годовъ, никому и въ голову не могло придти, что въ Польшѣ готовятся грозныя для Россіи событія. Правда, и въ петербургскихъ газетахъ того времени мало говорилось о Польшѣ, но онѣ до такой степени были поглощены обсужденіемъ чисто русскихъ злобъ и, при тогдашнемъ ихъ настроеніи, назрѣвавшій польскій вопросъ такъ мало гармонировалъ съ болѣе или менѣе свѣтлыми ихъ надеждами на будущее, что ихъ нерасположеніе обсуждать этотъ вопросъ вполне понятно. Катковъ же тогда велъ горячую полемику съ проживавшими въ Лондонѣ русскими эмигрантами, усматривая въ ихъ дѣятельности большую

опасность для Россіи, а о событіяхъ, подготовлявшихся въ Польшѣ, онъ ничего не подозрѣвалъ. Только когда 10-го января 1863 г. въ Польшѣ вспыхнулъ открытый мятежъ, Катковъ очнулся, но на первыхъ порахъ продолжалъ обсуждать польскій вопросъ еще довольно вяло, безъ всякаго опредѣленнаго плана. Только постепенно, по мѣрѣ того какъ появились Высочайшій манифестъ и указъ правительствующаго сената объ амнистіи, какъ съ разныхъ сторонъ посыпались всеподданнѣйшіе адреса и началась оживленная дипломатическая переписка, «Московскія Вѣдомости» все болѣе одушевляются и начинаютъ говорить рѣшительнымъ и страстнымъ языкомъ.

Голосъ Каткова тогда одинъ раздавался въ нашей печати. Другія газеты высказывались весьма неопредѣленно или совершенно безмолствовали. Даже славянофильскій «День» въ первое время не проронилъ ни слова; но онъ краснорѣчиво объяснилъ причину своего молчанія, помѣщая вмѣсто передовой статьи, во главѣ нумера, въ большомъ пустомъ квадратѣ, лаконическія слова: «Москва, такого-то числа». Мы указывали уже, что въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ, вслѣдствіе переходнаго времени, переживаемаго тогда Россіей, сама цензура, не будучи въ точности освѣдомлена о настроеніи высшихъ правительственныхъ сферъ, весьма часто при одобреніи тѣхъ или другихъ статей проявляла неувѣренность или робость, хотя бы эти статьи и были совершенно невинны и патріотичны. Особенно это замѣчалось при обсужденіи печатью животрепещущихъ злобъ дня, ближайшихъ политическихъ задачъ, государственныхъ или общественныхъ вопросовъ. Обсужденіе польскихъ событій считалось запретнымъ плодомъ. Но Катковъ, какъ мы выяснили, находился, благодаря покровительству видныхъ государственныхъ дѣятелей, въ совершенно исключительномъ положеніи. Онъ давно могъ говорить, но не говорилъ. Очевидно, онъ плохо понималъ истинное положеніе дѣлъ, и только когда опасность окончательно выяснилась, когда поляки произвели во всей Польшѣ, за исключеніемъ Варшавы, нападенія на наши войска, Катковъ началъ высказываться въ патріотическомъ духѣ, — въ духѣ

статьи о народных пѣсняхъ, составленной имъ въ молодости. Его голосъ, въ качествѣ голоса представителя независимой печати, вступившаго, какъ тогда казалось, съ необычайною смѣлостью въ обсужденіе вопроса первостепенной государственной важности, не могъ не произвести впечатлѣнія какъ въ самомъ обществѣ, такъ и въ правительственныхъ сферахъ. Онъ произвелъ впечатлѣніе и по другой причинѣ. Статья Каткова о народномъ пѣснотворествѣ была встрѣчена Бѣлинскимъ съ восторгомъ и вызвала общее сочувствіе, потому что она дышала вѣрою въ народныя силы, создавшія Россію. Но со времени появленія этой статьи между представителями русскаго независимаго слова произошелъ расколъ. Они распались на западниковъ и славянофиловъ и, какъ извѣстно, западничество стало преобладающимъ теченіемъ нашей общественной мысли. Взоры тогдашнихъ выдающихся писателей были направлены на Европу. Оттуда ожидалось обновленіе русской жизни; тамъ сосредоточивались симпатіи русскихъ интеллигентныхъ людей. Польша признавалась до нѣкоторой степени представительницею началъ западной жизни. При такомъ настроеніи общественнаго мнѣнія, польское возстаніе истолковывалось въ смыслѣ стремленія къ свободѣ, и Польша внушала къ себѣ сочувствіе. Не слѣдуетъ при этомъ упускать изъ виду, что и правительство колебалось въ своихъ рѣшеніяхъ и долгое время надѣялось побороть подготавливавшееся возстаніе мѣрами кротости, путемъ соглашенія. Въ этихъ видахъ состоялось назначеніе великаго князя Константина Николаевича памѣстникомъ Царства Польскаго, былъ восстановленъ польскій государственный совѣтъ и начальникомъ гражданскаго управленія былъ назначенъ маркизъ Велепольскій. Отъ всѣхъ этихъ мѣръ правительство и общество ожидали благихъ результатовъ. Но, какъ мы уже указывали, въ правительственной средѣ и особенно между администраторами, близко знакомыми съ тогдашнимъ настроеніемъ умовъ въ Польшѣ, существовали сильныя сомнѣнія относительно благотворнаго вліянія примирительныхъ мѣръ. Понятно, что, когда вспыхнулъ польскій мятежъ, когда поляки сдѣлали попытку обезоружить и вырѣзать наши войска, лица, на-

ставившія на необходимости крутыхъ мѣръ, приобрѣли вліяніе и силу. вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ всегда, когда нашему отечеству угрожаетъ внѣшняя опасность, патріотическое чувство пробудилось и въ самомъ обществѣ. Вотъ въ этотъ-то моментъ Катковъ, пользуясь своимъ благопріятнымъ положеніемъ, вдругъ возвысилъ голосъ и заговорилъ въ духѣ пробудившагося патріотизма. Онъ возсталъ противъ мечты поляковъ о восстановленіи прежней Польши. Онъ апеллировалъ къ патріотическимъ чувствамъ русскаго народа и рѣшительно примкнулъ къ лагерю людей, возставшихъ противъ дальнѣйшихъ уступокъ. Понятно, что его слово должно было обратить на себя вниманіе: въ немъ звучало нѣчто неслыханное до тѣхъ поръ, — вторженіе газеты въ рѣшеніе вопроса первостепенной государственной важности, повидимому совершенно изъятаго изъ области газетнаго обсужденія. Такимъ образомъ Каткову удалось сразу создать для печати благопріятное положеніе. Даже та часть общества, которая не сочувствовала его политикѣ въ польскомъ вопросѣ, не могла не признать, что ему принадлежитъ починъ въ дѣлѣ расширенія свободы печати.

Мы не станемъ здѣсь возвращаться къ вопросу объ обстоятельствахъ, облегчившихъ Каткову возможность рѣшительнаго почина въ этомъ дѣлѣ. Но необходимо выяснитъ, какъ онъ воспользовался своимъ вліятельнымъ положеніемъ.

Въ начинаніяхъ нашего правительства замѣчался примирительный духъ, склонность кончить полюбовно съ затрудненіями. Тотчасъ послѣ нападенія, совершеннаго на наши войска, императоръ Александръ II на воскресномъ разводѣ измайловскаго полка поспѣшилъ заявить, что онъ не обвиняетъ всего польскаго народа, а видитъ въ этихъ печальныхъ событіяхъ только работу революціонной партіи. 31-го марта, т. е. три мѣсяца послѣ того какъ вспыхнулъ мятежъ, былъ обнародованъ манифестъ, въ которомъ подтверждалась неприкосновенность уже дарованныхъ Польшѣ учреждений, равно какъ намѣреніе правительства приступить къ ихъ дальнѣйшему развитію. Тогда же Катковъ высказывается въ томъ смыслѣ, что «въ интересахъ Россіи, самой Польши и цѣлой Европы лежитъ

не подавлять польскую народность, а призвать ее къ новой, общей съ Россіею политической жизни».

Такъ разсуждалъ Катковъ въ концѣ марта и первой половинѣ апрѣля. Но затѣмъ въ его разсужденіяхъ вдругъ произошелъ переломъ; онъ начинаетъ высказываться за крутыя репрессивныя мѣры. Съ виду ничто не могло его къ этому побуждать. Сторонникъ западно-европейскихъ порядковъ, восторженный англоманъ вдругъ превращается въ проповѣдника диктатуры. Еще вчера онъ высказывался, правда, за сохраненіе національныхъ правъ, но совѣтовалъ относиться по возможности снисходительно къ родственному народу, вовлеченному въ мятежъ революціонными элементами; сегодня онъ вдругъ измѣняетъ тонъ и требуетъ самыхъ крутыхъ мѣръ по отношенію къ тому же родственному народу. Такая перемѣна въ настроеніи могла казаться загадочною. Но теперь мы знаемъ, что 17-го апрѣля въ первый разъ выяснилось, что Муравьевъ будетъ назначенъ на важный постъ въ возставшихъ губерніяхъ. Дѣйствительно, уже 1-го мая состоялось назначеніе Муравьева виленскимъ генераль-губернаторомъ, — и вотъ Катковъ становится горячимъ сторонникомъ подавленія возстанія желѣзною рукою.

Но еще интереснѣе слѣдующій фактъ. Назначеніе Муравьева виленскимъ генераль-губернаторомъ ознаменовало собою коренную перемѣну въ правительственной системѣ. Но оно было только частнымъ выраженіемъ этой перемѣны. Уже лѣтомъ 1863 г. окончательно созрѣлъ въ правительственныхъ сферахъ цѣлый планъ коренныхъ законодательныхъ и административныхъ реформъ по отношенію къ Польшѣ. Замѣтимъ теперь же, что этотъ планъ, если имѣть въ виду не временныя репрессивныя мѣры, носителемъ которыхъ былъ Муравьевъ, а основной характеръ политики Россіи, — находился въ самой тѣсной связи съ историческимъ развитіемъ русско-польскихъ отношеній. Крутыя мѣры, принятые въ сѣверо и юго-западномъ краѣ, составляли только частное проявленіе задуманнаго общаго плана. Главное же вниманіе было направлено къ установленію въ Польшѣ такого политическаго и социальнаго строя, который въ будущемъ предотвращалъ бы возможность новыхъ по-

трясеній. Чтобы оцѣнить значеніе этого плана, необходимо вспомнить, что со времени присоединенія Царства Польскаго къ Россіи вплоть до лѣта 1863 г. наше правительство придерживалось такой системы управленія, которая по существу своему была основана на единеніи съ польскими правящими классами въ ущербъ народной массѣ. Правда, русское правительство сознавало ненормальность этого положенія дѣлъ и сознавало тѣмъ яснѣе, чѣмъ болѣе назрѣвалъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ въ самой Россіи. Уже при Николаѣ I неоднократно заходила рѣчь объ облегченіи тяжелой участи польскихъ крестьянъ, находившихся въ качествѣ бездомныхъ батраковъ или работниковъ въ полной власти у магнатовъ и шляхты. Съ этою цѣлью еще въ 1846 г. послѣдовалъ по личной инициативѣ императора и во время его пребыванія въ Варшавѣ законъ, въ силу котораго всѣмъ крестьянамъ, обрабатывавшимъ не менѣе трехъ морговъ земли, даровано было неотъемлемое право на тѣ участки и строенія, которыми они пользовались до обнародованія закона, а помѣщикамъ строго воспрещалось лишать исправныхъ крестьянъ земельныхъ участковъ. Кромѣ того въ законѣ содержались и многія другія постановленія, облегчавшія участь крестьянъ. Двѣнадцать лѣтъ спустя, въ 1858 году, послѣдовалъ новый законъ, въ силу котораго устранялись злоупотребленія, вызванныя закономъ 1846 г., и устанавливались условія болѣе благопріятныя для полюбовнаго соглашенія въ выкупной операціи. Но оба эти закона остались болѣе или менѣе мертвою буквою: польскіе помѣщики ихъ обходили, а правительство не настаивало на полномъ ихъ исполненіи. Надо-ли указывать на причину такой снисходительности? Она вызывалась желаніемъ правительства поддерживать хорошія отношенія съ польской шляхтою и этимъ путемъ обезпечить себя противъ революціоннаго движенія съ ея стороны.

Политика, которой придерживалось наше правительство по отношенію къ Польшѣ съ 1858 г. по 1863 г., также объясняется въ значительной степени этими соображеніями, хотя съ другой стороны, на примирительный ея характеръ вліяло и общее настроеніе правящихъ сферъ, полагавшихъ, что либеральныя ре-

формы лучше всего обезпечиваютъ какъ мирное теченіе дѣлъ, такъ и народное благосостояніе. Только при такихъ условіяхъ правительство могло въ моментъ уже рѣзко обозначившагося революціоннаго движенія довѣрить управленіе Польшею поляку, предоставивъ ему самыя широкія полномочія. Маркизь Велепольскій однако потерпѣлъ полное крушеніе. Замѣтимъ, что и онъ не рѣшился приступить къ эмансипаціи крестьянъ отъ безусловной почти власти помѣщиковъ, зная, что этимъ онъ вооружитъ противъ себя тотъ классъ населенія, поддержка котораго была ему необходима для осуществленія его трудной миссіи. Но несмотря на эту поблажку, и онъ ничего не достигъ. Польская шляхта, возставшая противъ русскаго правительства, отвергла и Велепольскаго, спасаюся отъ смерти только какимъ-то чудомъ.

И вотъ, когда полюбовное соглашеніе оказалось неосуществимымъ, русское правительство рѣшилось отказаться отъ несостоятельнаго союза съ польскимъ дворянствомъ и опереться на широкія народныя массы. Это рѣшеніе выразилось въ законѣ 19 февраля 1864 г., предоставлявшемъ польскимъ крестьянамъ поземельную собственность и положившемъ основаніе ихъ независимому социальному и экономическому существованію. Это былъ рѣшительный и коренной поворотъ въ системѣ управленія Польшею, и послѣдствія этого поворота рельефно выразились въ томъ обще-извѣстномъ фактѣ, что польскіе крестьяне, занимавшіе въ началѣ мятежа, если можно такъ выразиться, нейтральное положеніе между русскимъ правительствомъ и повстанцами, затѣмъ, по мѣрѣ того какъ намѣренія русскаго правительства стали все болѣе выясняться, начали оказывать русскимъ властямъ энергическое содѣйствіе въ дѣлѣ подавленія мятежа. Можемъ засвидѣтельствовать, что еще въ концѣ пятидесятихъ годовъ нѣкоторые русскіе администраторы въ Варшавѣ съ увѣренностью заявляли, что если бы наше правительство не отложило въ угоду шляхтѣ вопроса о надѣлѣ польскихъ крестьянъ землею и рѣшило бы этотъ вопросъ одновременно съ освобожденіемъ крестьянъ въ Россіи, то все разгорѣвшееся тогда возстаніе сразу бы улеглось. Содѣйствіе, оказанное польскими крестьянами

русскимъ властямъ въ дѣлѣ подавленія мятежа въ 1863 г. и въ началѣ 1864 г., подтверждаютъ эту точку зрѣнія. Кромѣ того надѣлавшее намъ столько хлопотъ и угрожавшее намъ серьезною опасностью вмѣшательство иностранныхъ державъ было бы въ такомъ случаѣ избѣгнуто, потому что ни одно цивилизованное правительство не рѣшилось бы дискредитировать себя въ глазахъ собственнаго населенія, принимая сторону польской революціи, вспыхнувшей въ такой именно моментъ, когда русское правительство приступило къ гуманной и благодѣтельной реформѣ, — къ обезпеченію экономическаго и соціальнаго быта сельскаго пролетаріата въ нѣсколько милліоновъ душъ.

Какъ бы то ни было, правительство наконецъ приступило къ этой реформѣ. Но Катковъ, принявшій на себя роль горячаго защитника національнаго развитія, долгое время не проронилъ ни одного слова по поводу этого цѣлесообразнаго рѣшенія вопроса. Первый указалъ въ печати на необходимость крестьянской реформы Ив. Аксаковъ въ своемъ «Днѣ». Но Катковъ обрушился на него за это всѣмъ своимъ гнѣвомъ. Онъ доказывалъ, что такая коренная реформа немыслима, что она потребуетъ цѣлаго ряда подготовительныхъ мѣръ, что она можетъ осуществиться лишь въ отдаленномъ будущемъ. Все это писалось Катковымъ въ сентябрѣ 1863 г., а 19-го февраля 1864 года реформа уже осуществилась. Не поразительно-ли, что именно въ тотъ моментъ, когда наше правительство уже задумало коренные реформы въ духѣ улучшенія участи польскихъ народныхъ массъ, когда въ Петербургѣ уже разрабатывался планъ этихъ реформъ во всѣхъ частностяхъ, когда даже были намѣчены лица, на которыхъ будетъ возложено его осуществленіе, Катковъ безмолвствовалъ относительно этой самой существенной стороны улаженія польскаго вопроса и писалъ только статьи въ защиту строгихъ репрессивныхъ мѣръ, принятыхъ Муравьевымъ. Только, когда послѣдовалъ рѣшительный приступъ къ осуществленію этихъ реформъ, когда оно было возложено на Н. Милютина и князя Черкаскаго, Катковъ вспомнилъ, что нельзя ограничиться одними репрессивными мѣрами. Но и тогда онъ защищалъ

Милютинское дѣло далеко не такъ страстно, какъ защищалъ Муравьева или въ послѣдствіи нападалъ на Потапова. Такимъ образомъ, знакомясь съ статьями «Московскихъ Вѣдомостей» по польскому вопросу, мы должны признать, что Катковъ въ рѣшеніи этого вопроса проявилъ большую недальновидность и, энергически защищая національный принципъ, почти совершенно упустилъ изъ виду положительное законодательство, отъ успѣха котораго зависѣла не только въ то время, но и въ отдаленномъ будущемъ возможность рѣшенія польскаго вопроса на здравыхъ историческихъ соціальныхъ и экономическихъ основаніяхъ.

Мы такъ подробно остановились на дѣятельности Каткова во время польскаго мятежа отчасти потому, что какъ самъ Катковъ, такъ и его сторонники придавали и придаютъ ей громадное значеніе, отчасти же и потому, что она самымъ рѣшительнымъ образомъ повліяла на все его дальнѣйшее настроеніе. Дѣйствительно, только уяснивъ себѣ значеніе тогдашнихъ статей Каткова, обстоятельствъ, которыми онѣ были вызваны, и успѣхъ, который онѣ имѣли, мы поймемъ характеръ всей послѣдующей его публицистической дѣятельности. Потерпѣвъ разочарованіе въ своихъ юношескихъ литературныхъ работахъ, испытывъ большія лишенія во время своего пребывания за-границей и по возвращеніи оттуда, онъ сталъ успѣшно устанавливать связи съ высокопоставленными лицами и повидимому совершенно отказался отъ литературнаго труда, промѣнявъ журналъ и газету на кафедру. Затѣмъ, когда кафедра, которую онъ занималъ, была упразднена, онъ, благодаря своимъ связямъ, одновременно назначается чиновникомъ особыхъ порученій при министрѣ народнаго просвѣщенія и редакторомъ полуказеннаго изданія. Къ своей редакторской дѣятельности онъ однако относится довольно безучастно, видя въ ней болѣе средство къ существованію, чѣмъ удовлетвореніе внутренней потребности. Положеніе его остается весьма скромнымъ, и онъ мечтаетъ о томъ, какъ бы расширить свою дѣятельность. Литературныя знакомства съ одной стороны, связи въ высшихъ административныхъ сферахъ—съ другой, позволяютъ ему приступить къ изданію самостоятельнаго журнала,

который, благодаря участию въ немъ первоклассныхъ литературныхъ силъ, имѣеть значительный успѣхъ. Сперва робко, затѣмъ все увѣреннѣе Катковъ самъ начинаетъ писать въ этомъ журналѣ, вступая въ полемику съ своими тогдашними конкуррентами. Его дѣятельность въ «Русскомъ Вѣстникѣ» совпадаетъ съ возрастомъ, когда человѣкъ гораздо менѣе склоненъ увлекаться разными утопіями или радикальными теоріями. Общеніе съ правительственными дѣятелями къ тому же предохраняетъ его отъ всякихъ опасныхъ порывовъ. Продолжительный ученый трудъ въ значительной степени содѣйствовалъ уравниванію его духовныхъ силъ; знакомство съ строемъ англійской государственной жизни вызываетъ въ немъ симпатіи къ медленному, но вѣрному развитію политическихъ учреждений. Онъ начинаетъ возставать противъ революціонеровъ, добивающихся внезапнаго прогресса путемъ насильственныхъ переворотовъ. Совокупность всѣхъ этихъ причинъ приводитъ его къ борьбѣ съ Герценомъ и другими радикальными умами. Его связи съ административными дѣятелями даютъ ему возможность выступить рѣшительно въ этомъ направленіи. Но онъ сохраняетъ за собою характеръ полной независимости, тщательно оберегая себя противъ всякаго подозрѣнія въ оффиціозности. Полученіе «Московскихъ Вѣдомостей» въ аренду расширяетъ поле его дѣятельности и совпадаетъ съ сильнымъ возбужденіемъ русской общественной мысли, влѣдствіе вспыхнувшего польскаго мятежа. Воспоминаніе литературныхъ успѣховъ, достигнутыхъ въ молодости статьею о силахъ, таящихся въ русскомъ народѣ, побуждаютъ его высказаться въ польскомъ вопросѣ въ національномъ духѣ. Его слово совпало, какъ мы говорили, съ возбужденнымъ настроеніемъ общества. Нашему отечеству не только угрожала Польша, но почти вся Европа, за исключеніемъ одной Пруссіи. Произошелъ, какъ можно было предвидѣть, взрывъ патріотическаго чувства. Въ Москвѣ и другихъ мѣстахъ крестьяне и рабочіе собирались въ церквахъ, чтобы служить панихиды по убитымъ русскимъ воинамъ и молебны за побѣду русскаго оружія. Разныя сословія обращались къ правительству съ адресами, въ которыхъ выражалась готовность нести всевозмож-

ныя жертвы для огражденія интересовъ отечества. Катковъ одинъ въ независимой русской печати высказывался въ томъ же духѣ. Поэтому читателямъ газетъ могло казаться, что все это общественное движеніе какъ бы вызвано Катковымъ, и онъ самъ впослѣдствіи этому повѣрилъ. На самомъ же дѣлѣ, понятно, подъемъ патріотическаго чувства вызывался гораздо болѣе могущественными факторами, чѣмъ статьи тогдашняго редактора «Московскихъ Вѣдомостей». Во всѣ эпохи тяжелыхъ внѣшнихъ испытаній, когда правительственная власть обращалась къ народу съ указаніемъ на опасности, угрожающія Россіи, у насъ всегда бывали въ ходу патріотическія изъявленія. Къ тому же первый адресъ исходилъ отъ петербургскаго дворянства, за нимъ слѣдовалъ адресъ петербургскаго городского общества. Починъ въ этомъ дѣлѣ исходилъ слѣдовательно не отъ Москвы, а отъ Петербурга, и только его примѣру послѣдовали другія мѣстности. Но Катковъ примкнулъ къ этому движенію и въ концѣ концовъ, кажется, увѣровалъ самъ и убѣдилъ другихъ, что именно онъ спасъ въ эти дни Россію.

Любопытенъ фактъ, рассказываемый по этому поводу г. Любимовымъ. Черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ того, какъ вспыхнуло возстаніе (19-го іюля 1863 г.), Катковъ получилъ отъ саратовскаго дворянства телеграмму съ изъявленіемъ сочувствія его мнѣніямъ. «Краска бросилась въ его лицо,—говоритъ г. Любимовъ, когда онъ прочелъ *бывшія неожиданностью для него строки*», и затѣмъ г. Любимовъ съ Леонтьевымъ еще долго бесѣдовали о томъ значеніи, какое столь неожиданно пріобрѣла дѣятельность Каткова. Очевидно, самъ Катковъ и его ближайшіе помощники далеки были въ первые мѣсяцы возстанія отъ мысли о государственномъ значеніи дѣятельности Каткова. Но постепенно они втянулись въ эту мысль, потому что въ концѣ 1864 г., втеченіе 1865 и особенно въ 1866 году Катковъ въ своихъ такъ называемыхъ «горячихъ» статьяхъ уже прямо выступаетъ защитникомъ Россіи противъ разныхъ анти-государственныхъ тенденцій не только въ самомъ обществѣ, но и въ правительственныхъ сферахъ, и приписываетъ этимъ анти-государственнымъ тенденціямъ значеніе интриги, направлен-

ной не только противъ благополучія Россіи, но и лично противъ него. Именно въ этомъ обстоятельствѣ слѣдуетъ искать корень его убѣжденія, что онъ призванъ стоять на стражѣ русскихъ государственныхъ интересовъ и что всѣ лица, не сочувствующія его возрѣніямъ, являются врагами отечества. Отсюда вытекала далѣе его нетерпимость къ чужимъ мнѣніямъ и его заносчивость.

Но его статьи по польскому вопросу еще и въ другомъ отношеніи самымъ рѣшительнымъ образомъ отпечатались на всей дальнѣйшей его публицистической дѣятельности. Входя въ роль единственного компетентнаго охранителя русскихъ государственныхъ интересовъ, онъ, какъ мы указывали, началъ выступать обличителемъ анти-государственныхъ тенденцій не только въ обществѣ но и въ правительственныхъ сферахъ. Ему мерещилось, что нѣкоторые государственные дѣятели замышляютъ измѣну противъ Россіи и его, Каткова. Онъ не допускалъ, чтобы столкновеніе вызывалось простымъ различіемъ во взглядахъ на цѣлесообразность тѣхъ или другихъ административныхъ и законодательныхъ мѣропріятій. Успѣхъ его статей по польскому вопросу вскружилъ ему голову. Всякое противорѣчіе представлялось ему послѣдствіемъ измѣнической интриги. Только тѣ государственные и общественные дѣятели, которые дѣйствовали въ духѣ его статей, признавались имъ патріотами и благонамѣренными людьми, и такъ какъ его идеи въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи не соответствовали ни настроенію общества, ни видамъ правительства, то онъ всюду видѣлъ враговъ и вступалъ съ ними въ ожесточенную борьбу. Его личные враги казались ему въ то же время и врагами Россіи. Поэтому Катковъ признавалъ своею обязанностью не давать имъ пощады. На общественное мнѣніе онъ уже обращалъ мало вниманія. Свои громаы онъ направлялъ преимущественно противъ враждебныхъ ему органовъ печати и правительственныхъ лицъ, будто бы ихъ вдохновляющихъ. Онъ началъ возставать противъ офиціозныхъ органовъ и обвинялъ ихъ въ томъ, что они подкуплены враждебными ему правительственными дѣятелями. До чего онъ зарвался въ этомъ отношеніи, показываетъ напримѣръ тотъ общезвѣстный фактъ,

что когда въ іюнѣ 1865 г. покойный Государь, принимая польскую депутацію, заявилъ ей, что онъ одинаково любить всѣхъ своихъ вѣрныхъ подданныхъ: «русскихъ, поляковъ, финляндцевъ, лифляндцевъ», Катковъ, усмотрѣвъ въ этихъ словахъ неодобреніе его національной политики, временно прекратилъ помѣщеніе передовыхъ статей въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ».

V.

Столкновенія съ администраціею.—Борьба съ А. В. Головиннымъ.—Увлеченіе классическою системою.—Національная политика.—Предостереженіе.—Аудіенція въ Ильинскомъ.—Новое предостереженіе и долготѣнее молчаніе Каткова въ національномъ вопросѣ.

Борьба Каткова съ различными правительственными дѣятелями все обострялась. Онъ продолжалъ рѣшительно высказываться въ томъ смыслѣ, что если его совѣты не принимаются во вниманіе, если въ правительственныхъ сферахъ существуютъ дѣятели, не выполнѣ сочувствующіе его національной политикѣ, то это объясняется не различіемъ во взглядахъ на цѣлесообразность той или другой системы управленія, а всеобъемлющею интригою, въ которой участвуютъ на ряду съ поляками, заграничными революціонными элементами и русскими общественными дѣятелями, и нѣкоторые государственные люди. Ему казалось, что польскій мятежъ раскрылъ ему глаза на сокровеннѣйшія пружины государственной политики, и онъ съ горячностью неофита обрушился всѣмъ своимъ гнѣвомъ на людей, которыхъ считалъ причастными къ обнаруженной имъ интригѣ. Не довольствуясь второстепенными дѣятелями, борьбою съ такими людьми, какъ извѣстный баронъ Фирксъ (Шедо-Ферроти), указывавшій на крайности Катковского національнаго направленія, и съ «Голосомъ»,—по его мнѣнію, выразителемъ тѣхъ же антигосударственныхъ тенденцій,—онъ искалъ лицъ, вдохновлявшихъ его открытыхъ враговъ и въ своихъ розыскахъ забиралъ все выше и выше. Въ этой полемикѣ онъ началъ договариваться до такихъ рѣзкостей, которыя очевидно не могли быть

терпимы. Онъ говорилъ, что Россію хотять «уподобить Австріи введеніемъ въ ея государственный организмъ принципа національнаго раздѣленія», онъ упоминалъ о существованіи «внутреннихъ воровъ, въ которыхъ и заключается вся бѣда». «Въ порядкѣ ли вещей—спрашивалъ онъ,—что планы національнаго обособленія встрѣчаютъ поддержку и сочувствіе въ нѣкоторыхъ правительственныхъ сферахъ? Не странное ли дѣло, что мысль о государственномъ единствѣ Россіи должна себѣ прокладывать путь съ тяжкими усиліями, подвергаться всевозможнымъ поруганіямъ, какъ галлюцинація, какъ бредъ безумія, какъ злой умыселъ, какъ демократическая революція, и встрѣчать себѣ неумолимыхъ и ожесточенныхъ противниковъ въ сферахъ вліятельныхъ,—противниковъ, не отступающихъ ни передъ какими средствами?»

Къ этому времени относится громкое столкновение Каткова съ тогдашнимъ министромъ народнаго просвѣщенія А. В. Головнинымъ, совпавшее съ началомъ страстнаго похода Каткова въ пользу классической системы образованія. До второй половины 1864 г. Катковъ очень мало интересовался вопросомъ о будущей организаціи нашихъ гимназій. Несмотря на то, что правительственныя сферы были дѣятельно заняты его обсужденіемъ, Катковъ относился къ нему совершенно безучастно, и статьи по этому вопросу писались въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» г. Любимовымъ безъ всякаго содѣйствія со стороны Каткова. Новый гимназическій уставъ былъ встрѣченъ «Московскими Вѣдомостями» не только сочувственно, но прямо восторженно. «Мы смѣло можемъ сказать,—писали «Моск. Вѣд.» въ концѣ 1864 г. по поводу обнародованія новаго устава,—что эта огромная по своимъ размѣрамъ реформа, не громкая и малозамѣтная, окажется въ своихъ послѣдствіяхъ однимъ изъ плодотворѣйшихъ дѣлъ нынѣшняго царствованія и будетъ его славою». Но вслѣдъ затѣмъ отношенія между Катковымъ и А. В. Головнинымъ, отличавшіяся раньше большимъ дружелюбіемъ, приобрѣтаютъ непріязненный характеръ. Выѣстѣ съ тѣмъ Катковъ начинаетъ сильно интересоваться положеніемъ гимназическаго образованія и самъ пишетъ «горячія» статьи по этому вопросу. Восторженное отношеніе къ уставу 1864 г.

сбѣняется явнымъ недружелюбіемъ къ нему. Въ 1865 г. Катковъ уже находитъ, что новый уставъ, хотя и «заслуживаетъ полнаго сочувствія въ своихъ началахъ», но «неудовлетворителенъ въ подробностяхъ своей программы, и что этими подробностями обезсиливаются и роняются его начала». Черезъ два года, когда министромъ народного просвѣщенія состоялъ уже не А. В. Головнинъ, а графъ Д. А. Толстой, и въ административныхъ сферахъ разрабатывается новый гимназическій уставъ, Катковъ полагаетъ, что въ уставѣ 1864 г. «все дѣло реформы виситъ какъ бы на волоскѣ» и что «нѣтъ ничего легче, какъ направить его при исполненіи въ противоположную сторону». Отсюда видно, какъ взгляды Каткова колебались и въ оцѣнкѣ законодательныхъ мѣропріятій педагогическаго свойства и всецѣло зависѣли отъ тѣхъ или другихъ вѣяній въ административныхъ сферахъ. Полное осужденіе устава 1864 г. совпало съ намѣреніемъ Каткова основать лицей Цесаревича Николая, которое и осуществилось въ 1868 г. Но и тутъ Катковъ проявилъ большую непоследовательность. Все время онъ ратовалъ за *солидное* образованіе, а между тѣмъ въ своемъ лицейѣ установилъ сокращенный, т. е. трехъ-лѣтній университетскій курсъ! Кромѣ того можно было бы думать, что онъ, какъ страстный сторонникъ классической системы и какъ бывшій профессоръ и педагогъ, лично будетъ руководить лицеемъ. Но на самомъ дѣлѣ онъ возложилъ педагогическую часть на Леонтьева, а самъ принялъ на себя только хлопоты (весьма успѣшныя, — замѣтимъ мимоходомъ) по пріисканію денежныхъ средствъ для лицея, который безъ добродѣтельныхъ пожертвованій со стороны, по свидѣтельству г. Любимова, — не могъ бы существовать.

Изъ этого всего видно, что классическая система въ сущности вовсе не была основною причиною столкновенія между Катковымъ и А. В. Головнинымъ. Столкновеніе это было только отголоскомъ другой болѣе широкой и значительной борьбы, происходившей въ правительственныхъ сферахъ, къ которой Катковъ ловко применилъ и которую онъ первый рѣшился довести до свѣдѣнія общества. Въ этомъ смыслѣ соотвѣтственные статьи Каткова не были лишены

значенія, но видѣть въ нихъ проявленіе самостоятельнаго взгляда Каткова по меньшей мѣрѣ наивно. Самостоятельностью и послѣдовательностью въ своихъ взглядахъ Катковъ никогда не отличался: онъ почти всегда пѣлъ съ чужого голоса. Въ началѣ своей публицистической карьеры онъ пользовался покровительствомъ графа Строгонова, князя Вяземскаго, графа Блудова; потомъ его покровителями были Н. А. Милютинъ, князь Горчаковъ и Д. А. Милютинъ (впослѣдствіи графъ). Однако всѣ эти государственные дѣятели постепенно отъ него отрекались. Наиболѣе продолжительнымъ покровительствомъ онъ пользовался со стороны графа Д. А. Толстого, горячаго сторонника классической системы образованія. Вступленіе послѣдняго въ должность министра народнаго просвѣщенія (въ 1866 г.) и послужило для Каткова, какъ мы видѣли, сигналомъ къ окончательному осужденію устава 1864 г. Графъ Д. Толстой, какъ только былъ назначенъ министромъ вслѣдъ за Каракозовскимъ покушеніемъ, приступилъ къ энергическимъ работамъ по изученію гимназической системы и пользовался въ этомъ дѣлѣ преимущественно содѣйствіемъ покойнаго профессора греческой словесности при петербургскомъ университетѣ И. Б. Штейнмана (директора Петропавловской школы, а впослѣдствіи историко-филологическаго института). Новый гимназическій уставъ 1871 г. и является дѣломъ его рукъ, любимымъ его дѣтищемъ; онъ постоянно работалъ надъ нимъ съ графомъ Толстымъ, ѣздилъ за-границу для точнаго ознакомленія съ гимназическимъ образованіемъ въ другихъ странахъ, защищалъ вмѣстѣ съ гр. Толстымъ новый уставъ въ государственномъ совѣтѣ. Мы упоминаемъ обо всемъ этомъ, чтобы выяснить, до какой степени несостоятельна легенда, будто бы Россія обязана Каткову системою классическаго образованія. Катковъ и тутъ, какъ и во всѣхъ другихъ вопросахъ, вторилъ только лицамъ, покровительствовавшимъ ему,—и вторилъ подчасъ очень неумѣло.

Такъ и въ борьбѣ, возгорѣвшейся изъ-за польскаго вопроса и вскорѣ принявшей болѣе общій характеръ, Катковъ не счумѣлъ быть выразителемъ идей тѣхъ элементовъ, которые для успѣшной борьбы съ Польшею и съ западными державами настаивали на на-

ціональной политикѣ. Онъ и тутъ хватилъ черезъ край, обобщая Польшу съ Россіей, или точнѣе говоря, разочарованія реформами въ польскомъ вопросѣ съ разочарованіемъ реформами вообще. А. В. Головининъ и графъ Валуевъ оказались противъ него; князь Горчаковъ и графъ Милютинъ защищали его вяло. Поэтому неудивительно, что Каткова начали подвергать штрафамъ и внушеніямъ. Это выводило его изъ себя. Онъ мечталъ о роли «спасителя отечества»,— и вдругъ такая проза! Одно время онъ даже какъ будто рѣшился бросить «Моск. Вѣд.». Но, понятно, это была только уловка. За него однако вступился университетъ, который, по предложенію профессоровъ Любимова и Соловьева, ходатайствовалъ о подчиненіи «Моск. Вѣд.» университетской цензурѣ. Это ходатайство не было уважено; но при этомъ оказалось, что Катковъ находитъ себѣ еще поддержку со стороны графа Милютина и князя Горчакова. Это его опять ободрило, и онъ снова далъ полную волю своимъ нападкамъ на другихъ правительственныхъ лицъ. Его расчетъ однако на этотъ разъ не оправдался. Онъ получилъ предостереженіе, въ мотивахъ котораго прямо говорилось, что оно вызвано статьею, въ которой «правительственнымъ лицамъ приписываются стремленія, свойственныя врагамъ Россіи, и мысль о государственномъ единствѣ выставляется какъ бы мыслью *новой*, будто бы встрѣчающею въ средѣ правительства предосудительное противодѣйствіе». Предостереженіе впрочемъ не испугало Каткова. Онъ въ то время до такой степени преисполнился сознанія своей миссіи «спасителя отечества» и такъ былъ еще увѣренъ въ поддержкѣ покровительствовавшихъ ему лицъ, что наотрѣзъ отказался помѣстить предостереженіе, сдѣланное ему черезъ полицію. Онъ заявилъ въ своей газетѣ, что не напечатаетъ его, воспользуется предоставленнымъ ему закономъ правомъ не принимать предостереженія втеченіи трехъ мѣсяцевъ и будетъ платить установленный закономъ штрафъ въ размѣрѣ 25 руб. за каждый нумеръ, а затѣмъ прекратитъ свою дѣятельность по изданію «Моск. Вѣдом.». Кромѣ того онъ выразилъ надежду, что «правительство возвратится на собственное рѣшеніе». Происшедшее въ это время покушеніе Каракозова подлило

масла въ огонь. Раскрывая причины этого покушенія, Катковъ заговорилъ уже о польскомъ патриотизмѣ въ Россіи, о томъ, что нигилисты «являются только его жертвами». Далѣе онъ уже прямо спрашиваетъ: «Гдѣ былъ истинный корень мятежа, — въ Парижѣ, Варшавѣ, Вильнѣ? Нѣтъ, — отвѣчаетъ онъ: — въ Петербургѣ», и какъ бы опасаясь, что мысль его недостаточно ясна, прибавляетъ въ другомъ номерѣ своей газеты, что «колеблютъ довѣріе къ правительству не нигилисты, а тѣ, которые протестуютъ противъ сильныхъ вліяній, способствующихъ злу». Словомъ, Катковъ уже смѣшиваетъ полонизмъ, нигилизмъ и несочувственное отношеніе къ себѣ нѣкоторыхъ государственныхъ дѣятелей, и все это объединяетъ въ одну грозную интригу, направленную столько же противъ благоденствія Россіи, сколько и лично противъ него. Кончилось дѣло тѣмъ, что Катковъ получилъ 6-го мая 1866 г. второе предостереженіе, а на слѣдующій день третье, и его издательская дѣятельность была приостановлена на два мѣсяца. Объ этомъ событіи Катковъ оповѣстилъ своихъ читателей въ слѣдующихъ торжественныхъ выраженіяхъ: «До сихъ поръ, — писалъ онъ, — въ исторіи этого столѣтняго изданія («Моск. Вѣд.») были только два случая прерыва: одинъ — въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія во время чумы, другой — въ двѣнадцатомъ году, при нашествіи французовъ; третьему случаю суждено было осуществиться въ настоящее время по нашей винѣ».

Но молчаніе Каткова продолжалось не долго. Черезъ мѣсяць съ небольшимъ покойный Государь посѣтилъ Москву. Каткову послѣ долгихъ усилій удалось наконецъ испросить себѣ аудіенцію*), и ему было разрѣшено возобновить свою прежнюю дѣятельность. Черезъ мѣсяць Катковъ снова выступилъ съ рядомъ «горячихъ» статей, которыя началъ съ заявленія, что онъ «преисполнился новой бодрости, переживъ минуты, которыя бросили радостный отблескъ на его прошедшее и въ которыхъ онъ находитъ благодатное

*) Чрезвычайно интересное описаніе этой аудіенціи читатель найдетъ у г. Любимова (см. «Русскій Вѣстникъ», мартъ 1889 г.).

возбужденіе для будущаго». Но съ этого момента Катковъ пересталъ уже нападать на представителей центральной администраціи. Въ концѣ 60-хъ годовъ онъ уже довольствуется рѣзкими нападками на мѣстную администрацію сѣверо-западнаго края. Мишенью для своихъ выстрѣловъ онъ избралъ виленскаго генералъ-губернатора Потапова. Но онъ скоро убѣдился, что и этого рода нападки на правительственныхъ лицъ не остаются для него безнаказанными. Катковъ снова получилъ предостереженіе за «изображеніе многихъ сторонъ правительственной дѣятельности въ превратномъ видѣ», и дѣло кончилось тѣмъ, что онъ призналъ болѣе благоразумнымъ воздерживаться впредь отъ крайностей въ защитѣ національной политики. Прежніе его покровители, Милютинъ и князь Горчаковъ, какъ мы уже упоминали, не могли да и не хотѣли оказывать ему поддержку въ его очевидныхъ увлеченіяхъ, и Катковъ умолкъ въ національномъ вопросѣ болѣе, чѣмъ на десять лѣтъ, вплоть до новаго царствованія, предпочитая довольствоваться прежними лаврами, чѣмъ заслужить новые съ явнымъ рискомъ для своей публицистической дѣятельности и связаннаго съ нею выгоднаго положенія.

VI.

Мнимая страстность Каткова.—Польская интрига.—Первоначальное отношеніе Каткова къ реформамъ прошлаго царствованія.—Оцѣнка имъ важнѣйшихъ событій шестидесятихъ годовъ.

Такимъ образомъ уже тогда вполне опредѣлилась одна изъ основныхъ чертъ публицистической дѣятельности Каткова. Если онъ съ такою рѣшительностью выдвинулъ національный принципъ, то это объясняется въ значительной степени желаніемъ найти своеобразный и твердый базисъ для своей дѣятельности въ качествѣ редактора «Моск. Вѣдомостей». Онъ вспомнилъ свои первые успѣшные шаги на литературномъ поприщѣ и, прислушиваясь къ настроенію москвичей, пришелъ къ заключенію, что новая ссылка на силы, таящіяся въ русскомъ народѣ, можетъ сослужить ему и въ данномъ случаѣ не маловажную службу. Полная непоследовательность, которую онъ проявлялъ въ этомъ отношеніи, его нисколько не смущала. Горячій приверженецъ западной культуры и западныхъ порядковъ, какимъ онъ выступилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», вдругъ превратился въ ярого сторонника того направленія, которое онъ въ своихъ письмахъ къ Краевскому клеймилъ кличкою «руссопетскаго». Бывшій рьяный антагонистъ Погодина и Шевырева протягиваетъ имъ теперь руку и говоритъ и дѣйствуетъ именно въ ихъ духѣ. Достигнутый имъ успѣхъ окончательно опредѣляетъ характеръ его послѣдующей дѣятельности. Если онъ въ началѣ польскаго мятежа говорилъ, что Россія вовсе не заинтересована въ томъ, чтобы подавлять польскую народность, то со времени назначенія Муравьева виленскимъ генералъ-губернаторомъ

онъ уже довольно рѣшительно начинаетъ высказываться за обрусеніе не только западныхъ губерній, но и Царства Польскаго, затѣмъ распространяетъ эту систему на остзейскія губерніи и вообще выступаетъ страстнымъ ея глашатаемъ.

Однако, несмотря на эту кажущуюся страстность, онъ, какъ показываютъ факты, хорошо владѣлъ собою, когда нужно было, или, говоря иначе, когда превышающія его силы обстоятельства того требовали. Въ этомъ отношеніи достаточно сопоставить его съ родственнымъ ему публицистомъ Иваномъ Сергѣевичемъ Аксаковымъ, чтобы понять, какъ расчетливо дѣйствовалъ Катковъ и какъ онъ умѣлъ ограничивать себя въ оппозиціонной своей дѣятельности. И. С. Аксаковъ постоянно приводился независимыми обстоятельствами къ молчанію и къ прекращенію своей публицистической дѣятельности. Онъ не сообразовался съ тѣмъ, находятся-ли его покровители или, точнѣе говоря, лица, сочувствовавшія искреннимъ его убѣжденіямъ, во власти или нѣтъ; Катковъ же проявлялъ смѣлость, только чувствуя за собою силу. Когда его покровители находились во власти, онъ говорилъ громко, увѣренно, даже дерзко. Но когда эти покровители сходили со сцены или отрекались отъ него, онъ тотчасъ же сдерживалъ свои порывы и, если не измѣнялъ своихъ убѣжденій, то благоразумно умалчивалъ о нихъ. Въ 1866 г., когда ему еще оказываютъ поддержку графъ Милютинъ и князь Горчаковъ, онъ отвергаетъ данное ему предостереженіе и продолжаетъ высказываться въ прежнемъ тонѣ; но въ 1870 г., когда, вслѣдствіе своихъ чрезмѣрныхъ излишествъ, онъ не можетъ уже рассчитывать на сильныхъ покровителей, онъ смиренно принимаетъ предостереженіе, публично сознается въ своей ошибкѣ и болѣе десяти лѣтъ не возбуждаетъ вопроса, вызвавшего неудовольствіе въ правительственныхъ сферахъ. Поэтому въ отличіе отъ Аксакова, Каткова можно назвать публицистомъ, соединявшимъ въ своей дѣятельности безумную на видъ отвагу съ предусмотрительною осторожностью.

Отмѣтимъ наконецъ еще одну характеристическую черту его дѣятельности, находящуюся въ самой тѣсной связи съ его статьями

по польскому вопросу. Мы видѣли, что Катковъ началъ свою публицистическую дѣятельность полемикою съ Герценомъ и Чернышевскимъ. На этой почвѣ онъ заслужилъ первые свои публицистическіе лавры. Затѣмъ наиболѣе блестящаго успѣха онъ достигъ во время польской смуты. Въ его дальнѣйшей полемикѣ противъ не-симпатичныхъ ему теченій русской общественной мысли нигилизмъ и полонизмъ сливаются у него почти въ одно общее представленіе. Отрицательное теченіе русской общественной мысли приписывается имъ почти исключительно польской интригѣ. Происходитъ Каракозовское покушеніе, и Катковъ торжественно заявляетъ, что преступникъ не можетъ быть русскій, что онъ непременно полякъ. Когда же онъ на самомъ дѣлѣ оказался русскимъ, Катковъ началъ утверждать, что онъ орудіе польскихъ рукъ. Слѣдственная комиссія однако выяснила, что польская интрига тутъ ни при чемъ. Тогда Катковъ начинаетъ высказывать неодобреніе предсѣдателью этой комиссіи, т. е. Муравьеву, котораго онъ такъ недавно еще превозносилъ. Затѣмъ слѣдуетъ покушеніе Березовскаго. Тутъ Катковъ уже прямо заявляетъ, что «помѣшанный мальчишка, совершившій покушеніе 4-го апрѣля, былъ орудіемъ того же самаго дѣла, которое въ Парижѣ нашло себѣ прямого исполнителя». Студентскіе безпорядки также постоянно объяснялись имъ польскою интригою. Появленіе такъ называемаго интернаціональнаго общества приписывалось имъ также польской интригѣ, и когда для всѣхъ стало уже совершенно очевиднымъ, что приписывать всѣ эти явленія польской интригѣ значитъ противорѣчить и истинѣ, и здравому смыслу, Катковъ начинаетъ приискивать новую интригу, находящуюся въ связи съ польскою. Онъ начинаетъ толковать то объ интригѣ враждебныхъ намъ западныхъ правительствъ, то о всеобщей революціи, вербующей себѣ жертвы среди нашей молодежи, и только уже въ концѣ своей публицистической дѣятельности въ 80-хъ годахъ направляетъ свои удары противъ русской интеллигенціи вообще, хотя и тутъ, вторя князю Бисмарку, сражаетъ своихъ противниковъ громогласнымъ обвиненіемъ въ томъ, что они—поляки или жертва польской интриги. Правительственныя

сферы уже со времени Каракозовскаго покушенія нисколько не сомнѣвались, что обвинять во всемъ польскую интригу не имѣетъ смысла, и указывали на необходимость болѣе рациональнаго воспитанія юношества, призывая родителей къ содѣйствію въ этомъ дѣлѣ. Послѣдовало увольненіе министра народнаго просвѣщенія Головинна, пересмотръ гимназическаго устава. Изъ всѣхъ этихъ мѣропріятій было видно, что правительство ставитъ этотъ вопросъ гораздо шире, но Катковъ продолжалъ настаивать на польской интригѣ, какъ на главной причинѣ зла.

Мы отмѣтили основныя черты публицистической дѣятельности Каткова въ 60-хъ годахъ, находящіяся въ связи съ успѣхомъ его статей по польскому вопросу. Но этотъ успѣхъ отразился еще и въ другомъ отношеніи на его дѣятельности. Какъ уже сказано, Катковъ въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ былъ горячимъ приверженцемъ реформъ прошлаго царствованія. Съ 1863 г. онъ, правда, не охлаждаетъ къ этимъ реформамъ и относится къ нимъ съ прежнимъ сочувствіемъ, но какъ бы не находитъ времени заниматься ими обстоятельно. Его отвлекаютъ національный вопросъ и борьба съ отрицательными теченіями. Свою задачу стоять на стражѣ русскихъ государственныхъ интересовъ онъ какъ бы не распространяетъ на предпріятыя правительствомъ коренныя реформы. Появленіе судебныхъ уставовъ въ 1864 г., котораго онъ ожидалъ съ большимъ нетерпѣніемъ, проходитъ имъ почти безусловнымъ молчаніемъ втеченіе трехъ мѣсяцевъ. Вообще его отношеніе къ кореннымъ реформамъ 60-хъ годовъ представляется болѣе вялымъ, чѣмъ можно было ожидать въ виду горячности, съ какою онъ относился къ этимъ реформамъ до польскаго мятежа. Тѣмъ не менѣе онъ остается ихъ сторонникомъ и въ многочисленныхъ статьяхъ доказываетъ ихъ цѣлесообразность и пользу. Особенно сочувственно онъ отнесся къ судебной реформѣ, когда наконецъ заговорилъ о ней. «Судъ независимый и самостоятельный, не подлежащій административному контролю,—говорилъ въ то время Катковъ,—высится и облагородитъ общественную среду, ибо черезъ него этотъ характеръ независимости и самостоятельности мало по малу сооб-

щается и всѣмъ проявленіямъ народной жизни». Съ особеннымъ усердіемъ онъ защищалъ принципъ несмѣняемости судей и возставалъ противъ бюрократическаго духа въ судебныхъ учрежденіяхъ, полагая, что бюрократія весьма склонна «дружиться съ революціей, демократизмомъ и социализмомъ». Очевидно, высказываясь въ этомъ смыслѣ, Катковъ имѣлъ въ виду Францію и распространенность въ ней революціонныхъ идей въ отличіе отъ консервативнаго духа англійскихъ учреждений, приверженцемъ которыхъ Катковъ оставался по-прежнему. Онъ продолжаетъ очень энергически защищать судъ присяжныхъ. «Когда же прекратятся наконецъ,—спрашиваетъ онъ еще въ 1868 г.,—эти вѣчные пересуды по поводу того или другого приговора присяжныхъ... Не Сидоръ, Карпъ и другіе судятъ и приговариваютъ на судѣ присяжныхъ, а великій анонимъ, взятый по указанію жребія изъ всѣхъ слоевъ общества». Широкой гласности онъ придавалъ громадное значеніе. Вотъ что онъ напримѣръ писалъ по поводу опубликованнаго въ 1867 году закона о запрещеніи печатать безъ разрѣшенія правительства постановленія земскихъ, дворянскихъ и другихъ собраній. «Публичность безъ печати есть мѣръ сплетенъ и интригъ». Въ слѣдующемъ году онъ говорилъ: «Неблагопріятное для земскихъ учреждений направленіе правительственныхъ мѣръ и въ особенности ограниченіе гласности, которая есть для нихъ то же самое, что воздухъ для организма, подѣйствовали на нихъ мертвящимъ образомъ и имъ пришлось влечить свое существованіе безъ силы, безъ одушевленія, безъ сочувствія». Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ онъ привѣтствовалъ однако не особенно восторженно, заявивъ, что «обсуждать его теперь было бы и неумѣстно и бесплодно». Но эта холодность отчасти объяснялась тѣмъ, что земскія учрежденія по сферѣ своей компетенціи не соотвѣтствовали идеаламъ Каткова, почерпнутымъ изъ системы англійскаго самоуправленія. Какъ мы уже указывали, его прельщала дѣятельность англійской джентри. Впрочемъ передъ самымъ польскимъ мятежемъ онъ какъ будто охладѣлъ къ дворянству. «Пусть дворянство спроситъ себя,—писалъ онъ въ 1862 г. — отчего втеченіи почти ста лѣтъ пользованія

правомъ съѣздовъ до сихъ поръ не установился надлежащимъ образомъ даже внѣшній порядокъ на выборахъ. Когда есть о чемъ совѣщаться, можно-ли превращать засѣданія въ шумный раутъ; можно-ли терять нѣсколько дней на прогулки по залѣ и по буфетамъ? Неужели нужно десять дней на сборы, чтобы уѣхать по мѣстамъ и открыть общее совѣщаніе? Гдѣ причина такой медлительности, такой стыдливости громко сказать свое слово, такой нерѣшимости приступить къ занятіямъ, какъ не въ равнодушіи, и гдѣ корень равнодушія, какъ не въ разобщенности съ земскимъ дѣломъ?» Но 1863 годъ измѣняетъ отношеніе Каткова къ дворянству. Совпаденіе его національной политики съ содержаніемъ тѣхъ адресовъ, которые дворянство посылало въ Петербургъ по поводу угрожавшей Россіи внѣшней опасности, возродило прежнее сочувствіе Каткова къ нему, и всякій разъ, когда Каткову приходилось писать объ этомъ сословіи, онъ указывалъ на то, что оно «непрерывно стоитъ на стражѣ общихъ интересовъ, и что достоинство его состоитъ въ чуткомъ, неослабномъ, разумномъ патріотизмѣ». Но вообще онъ тогда стоялъ за тотъ принципъ, что не государство существуетъ для дворянства, а дворянство для государства, не пропускалъ случая, чтобы высказаться противъ бюрократіи и за широкое приложеніе общественныхъ силъ къ уврачеванію нашихъ внутреннихъ недуговъ. Причина многочисленныхъ злоупотребленій заключается—говорилъ онъ—не въ избыткѣ самостоятельныхъ силъ жизни, а напротивъ въ поглощеніи и подавленіи ихъ... Законная безспорная власть, сильная всею силою своего народа и единая съ нимъ не имѣетъ повода бояться никакой свободы. Напротивъ, свобода есть вѣрная союзница и опора такой власти.

Въ такомъ духѣ высказывался Катковъ въ 60-хъ годахъ, и этимъ принципамъ, постепенно однако ослабляя ихъ, онъ оставался вѣренъ и въ первой половинѣ 70-хъ годовъ. Но объ этомъ ниже. Теперь же мы остановимся, для полноты картины, еще на сужденіяхъ Каткова по вопросамъ внѣшней политики въ этотъ періодъ его дѣятельности.

Надо сказать, что въ этихъ сужденіяхъ онъ проявлялъ мало

самостоятельности. Самымъ крупнымъ событіемъ 60-хъ годовъ была австро-прусская война 1866 г. Тогда уже не могло подлежать сомнѣнію, что въ Европѣ народилась новая грозная сила, съ которою придется имѣть дѣло и Россіи. Въ нѣкоторыхъ статьяхъ Каткова замѣчается, что онъ это отчасти понималъ. Такъ, онъ тогда говорилъ, что вытѣсненіе Австріи изъ германскаго союза заставитъ ее обратить свои взоры на Балканскій полуостровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Катковъ начинаетъ усиленно интересоваться австрійскими дѣлами, преимущественно-же положеніемъ австрійскихъ славянъ. Вступивъ въ 1863 г. на путь національной политики, онъ постепенно приходитъ къ тому выводу, что какъ Франціи принадлежит покровительство надъ романскими народами, а Пруссіи надъ германскими, такъ Россія призвана защищать интересы славянъ. Сообразно съ этимъ Катковъ горячо вступаетъ за австрійскихъ славянъ, особенно же за галицкихъ русскихъ. Но онъ еще мало занимается вопросомъ о взаимномъ отношеніи между главными представительницами романскаго, германскаго и славянскаго міра. Къ Австріи онъ относится враждебно, потому что она притѣсняетъ славянъ; но его симпатіи къ Пруссіи и къ Франціи постоянно колеблются. Онъ никакой самостоятельной политики въ этомъ отношеніи не придерживается и только какъ-бы оцупью комментируетъ шаги нашей дипломатіи. Такъ, напримѣръ, во время польскаго возстанія онъ рѣшительно высказывается противъ Франціи, находя, что наше сближеніе съ нею «можетъ насъ только ронять и ослаблять». Но посѣщеніе императоромъ Александромъ II парижской выставки 1867 г. совершенно измѣняетъ его точку зрѣнія, и послѣ свиданія двухъ императоровъ онъ уже находитъ, что «истинные хорошо понятыя интересы Россіи и Франціи не противорѣчатъ другъ другу ни въ чемъ, и нѣтъ на земномъ шарѣ ни одного пункта, гдѣ бы они не могли быть согласованы, и гдѣ бы Россія и Франція не могли оказывать другъ другу содѣйствія». Враждебныя Россіи демонстраціи во время процесса Березовскаго снова измѣняютъ взглядъ Каткова на пользу союза съ Франціей. Мы указываемъ на это обстоятельство, потому что уже тутъ вполне выяснилось основное настроеніе

Каткова, давшее ложное направленіе всей его внѣшней политикѣ, именно, его склонность подчинять внѣшніе интересы Россіи внутренней ея политикѣ или, точнѣе говоря, его неумѣнье различать эти двѣ категоріи часто совершенно расходящихся интересовъ. Когда въ самомъ концѣ 60-хъ годовъ послѣдовало назначеніе генерала Флери французскимъ посланникомъ въ Петербургъ, Катковъ снова рѣшительно высказывается за союзъ съ Франціей и находитъ, что «сближеніе Россіи и Франціи неотразимо вызывается силою вещей, что бы ни говорили органы и глашатаи берлинской политики, и что оно не требуетъ дипломатическихъ соглашеній и не нуждается въ трактатахъ». Этой точки зрѣнія Катковъ остается вѣренъ и въ 1870 г. Но, какъ мы увидимъ, два года спустя онъ снова отрывается отъ Франціи и высказывается за Германію.

VI.

Семидесятыя годы.—Вѣчныя колебанія Каткова въ вопросахъ внѣшней политики.—Разочарованіе реформами.—Походъ противъ интеллигенціи.—Увлеченія Бисмаркомъ.

Семидесятыя годы ознаменовались во внутренней жизни реформою городского управленія, новымъ гимназическимъ уставомъ, введеніемъ общей воинской повинности, наконецъ, цѣлымъ рядомъ политическихъ безпорядковъ, процессовъ и покушеній, во внѣшней—франко-прусской войною, съ ея мировыми послѣдствіями, и русско-турецкою войною.

Какъ же отнесся Катковъ ко всѣмъ этимъ событіямъ? Начнемъ съ внѣшнихъ. Мы только что указывали, что въ концѣ 60-хъ годовъ «Московскія Вѣдомости» ратовали за союзъ съ Франціею. Вспыхнувшая франко-прусская война не измѣнила настроенія Каткова. Вопреки официальной политикѣ, явно-сочувственной Пруссіи, онъ высказывался за полный нейтралитетъ Россіи въ надеждѣ, что Австрія вступится за Францію, и такимъ образомъ шансы окажутся не на сторонѣ Пруссіи. Въ этомъ отношеніи Катковъ шелъ рука объ руку съ остальною русскою печатью и съ общественнымъ мнѣніемъ, относившимся къ Франціи съ полнѣйшимъ сочувствіемъ. Когда война кончилась разгромомъ Франціи, Катковъ требовалъ энергическаго вмѣшательства державъ.

Но это совпаденіе взглядовъ Каткова съ настроеніемъ русскаго общества скоро опять прекратилось. Въ 1872 г. Катковъ уже является сторонникомъ трехъ-императорскаго союза и утверждаетъ, что усиленіе Германіи нисколько для насъ не опасно. Какъ плохо Катковъ

былъ информированъ на счетъ внѣшнихъ событій, видно изъ того факта, что въ 1875 г., когда Германія собиралась снова напасть на Францію и отказалась отъ этого намѣренія лишь вслѣдствіе энергическаго протеста Россіи, вызвавшаго вражду между княземъ Бисмаркомъ и покойнымъ государственнымъ канцлеромъ княземъ Горчаковымъ, Катковъ рѣшительно отрицалъ это намѣреніе и усматривалъ во всѣхъ слухахъ о немъ «только интригу англійской печати», стремящейся-де «подорвать довѣріе къ трехъ-императорскому союзу». Но еще сильнѣе неподготовленность Каткова къ обсужденію вопросовъ внѣшней политики проявилась во время русско-турецкой войны. Катковъ увлекся этою войною. Уже во время предшествовавшей ей сербско-турецкой войны онъ горячо поддерживалъ генерала Черняева, поощрялъ добровольцевъ, собиралъ пожертвованія. Тутъ онъ дѣйствовалъ въ духѣ высказаннаго имъ тотчасъ послѣ польскаго возстанія принципа, что Россія должна оказывать покровительство всѣмъ славянскимъ племенамъ. Затѣмъ Катковъ торопилъ объявленіемъ войны. Онъ утверждалъ, что «мы и безъ войны уже воюемъ болѣе года, и что необходимо выйти во что бы то ни стало изъ этого безотраднaго положенія». Когда наконецъ наши войска оказались передъ Константинополемъ, онъ требовалъ вступленія ихъ въ Царьградъ и даже сообщалъ, что занятіе нами турецкой столицы—вопросъ рѣшенный. На самомъ дѣлѣ, какъ извѣстно, никакого рѣшенія въ этомъ смыслѣ не могло быть принято, потому что Россія еще до войны обязалась не вступать въ Константинополь и только подъ этимъ условіемъ и за приличное вознагражденіе (Боснія и Герцеговина) Австрія согласилась соблюдать нейтралитетъ. Очевидно, Катковъ обо всемъ этомъ не имѣлъ вѣдѣній. Онъ подчинился исключительно своему настроенію, т. е. желанію увѣнчать достойнымъ образомъ тяжелую и кровопролитную войну. На компетентнаго человѣка его тогдашнія статьи производили очень странное впечатлѣніе, такъ какъ исполненіе его совѣта могло бы повести къ грозному обще-европейскому столкновенію: и Англія и Австрія уже приступили къ мобилизаціи своихъ вооруженныхъ силъ. Наконецъ во время берлинскаго конгресса Катковъ

вполнѣ раздѣлялъ точку зрѣнія Аксакова, полагавшаго, что главнымъ виновникомъ нашего дипломатическаго пораженія былъ князь Бисмаркъ. Съ тѣхъ поръ онъ питалъ явное несочувствіе къ германскому канцлеру, и это настроеніе продолжалось вплоть до конца 1882 г., т. е. до того времени, когда для всѣхъ проникательныхъ публицистовъ сталъ уже совершенно очевиднымъ фактъ народженія тройственнаго союза, направленнаго въ равной мѣрѣ противъ Франціи и Россіи. Но Катковъ именно въ этотъ моментъ, какъ мы ниже увидимъ, сталъ ревностнѣйшимъ защитникомъ князя Бисмарка и обрушивался своимъ гнѣвомъ на тѣ органы русской печати, которые предостерегали противъ цѣлей, преслѣдуемыхъ желѣзнымъ канцлеромъ.

Если при обсужденіи вопросовъ внѣшней политики Катковъ въ 70-хъ годахъ проявилъ большую неустойчивость, то и по внутреннимъ вопросамъ статьи его служатъ нагляднымъ доказательствомъ его постоянныхъ колебаній. Въ началѣ 70-хъ годовъ онъ еще видимо сочувствуетъ коренному обновленію нашей государственной и общественной жизни. Такъ онъ горячо высказывается за реформу городского управленія. Его видимо радуетъ состоявшееся въ 1874 г. введеніе общей воинской повинности. Выступая горячимъ сторонникомъ всевозможнаго распространенія образованія, онъ приводитъ эту реформу въ связь съ послѣднимъ, настойчиво рекомендуетъ установленіе сокращенныхъ сроковъ службы для лицъ образованныхъ и выражаетъ полное сочувствіе всѣмъ соотвѣстственнымъ мѣропріятіямъ. Когда при упраздненіи института мировыхъ посредниковъ возникъ вопросъ о передачѣ надзора за крестьянскимъ управленіемъ либо полиціи, либо мировымъ судьямъ, онъ рѣшительно высказывается за передачу его послѣднимъ. Но въ то же время въ его статьяхъ замѣтно вѣкоторое разочарованіе совершенными уже реформами. Такъ, уже въ 1870 г. онъ находитъ, что дѣятельность земства представляетъ во многихъ отношеніяхъ картину безотрадную, хотя и объясняетъ еще это явленіе «глухимъ нерасположеніемъ правительственной власти къ земскимъ учрежденіямъ». Почти одновременно онъ начинаетъ заниматься вопросомъ, — поставленъ-ли

у насъ институтъ присяжныхъ исполнѣ правильно. Затѣмъ черезъ нѣсколько лѣтъ онъ предлагаетъ замѣнить приговоръ присяжныхъ по большинству единогласнымъ постановленіемъ. Проявляетъ онъ и нѣкоторый скептицизмъ въ вопросѣ о широкомъ участіи всѣхъ образованныхъ людей въ общественномъ управленіи. Симпатіи его все болѣе и болѣе склоняются въ пользу предоставленія дворянству особенно видной роли въ этомъ дѣлѣ. Какъ извѣстно, покойный Государь въ концѣ 1872 г. пригласилъ дворянство стать на стражѣ народной школы и въ слѣдующемъ году выразилъ желаніе болѣе энергическаго участія въ народной жизни. Катковъ воспользовался этимъ поводомъ, чтобы въ энергическихъ выраженіяхъ указать на государственное значеніе дворянства. Мы уже отмѣтили, почему онъ отводилъ дворянству такую видную роль. Ознакомленіе съ строемъ англійской государственной жизни (Катковъ съ этою цѣлью даже спеціально ѣздилъ въ Англію) положило основаніе его симпатіямъ къ сословному началу, а сочувствіе, выраженное его статьямъ по польскому вопросу нѣкоторыми дворянскими собраніями, окончательно упрочило его въ этихъ симпатіяхъ. При такихъ условіяхъ обращеніе правительственной власти къ дворянству за содѣйствіемъ въ рѣшенія существенныхъ государственныхъ задачъ было имъ встрѣчено съ восторгомъ, тѣмъ болѣе, что онъ, какъ мы видѣли, постепенно разочаровался въ дѣятельности органовъ самоуправленія, основанныхъ на привлеченіи всѣхъ сословій къ этому дѣлу. Но особенно сильно разочарованіе его реформами проявилось въ университетскомъ вопросѣ. Мысль о пересмотрѣ университетскаго устава 1863 г. возникла уже одиннадцать лѣтъ послѣ его изданія, т. е. въ 1874 г. Возбужденіе этого вопроса совпало съ забаллотированіемъ совѣтомъ московскаго университета неразлучнаго товарища Каткова, Леонтьева. Другой товарищъ Каткова, г. Любимовъ, высказался при обсужденіи этого вопроса въ совѣтѣ за пересмотръ устава въ духѣ ограниченія правъ университетскихъ корпорацій. Къ его мнѣнію однако никто не присоединился и съ тѣхъ поръ между московскимъ университетомъ и издателями «Московскихъ Вѣдомостей» установились самыя недружелюбныя отношенія. Всѣ эти признаки совер-

шающагося перелома во взглядахъ Каткова уже давно бросались въ глаза болѣе дальновиднымъ людямъ. Такъ, Тургеневъ еще въ 1867 г. прервалъ сношенія съ Катковымъ, т. е. пересталъ печатать свои повѣсти въ «Русскомъ Вѣстникѣ», а въ 1872 г. онъ писалъ Я. П. Полонскому по поводу слуховъ о болѣзни Каткова, что московскій публицистъ «давно сдѣлалъ свое дѣло и давно уже болѣе ничего не дѣлаетъ, какъ вредить». Замѣтимъ кстати, что въ этой размолвкѣ съ Тургеневымъ наглядно выразилась безпощадность Каткова къ своимъ противникамъ. Въ 1879 г. Тургеневъ пишетъ Л. Н. Толстому: «Когда я отошелъ отъ «Русскаго Вѣстника», Катковъ велѣлъ меня предупредить, что я, дескать, не знаю, что значить имѣть его врагомъ». И дѣйствительно Катковъ съ 1867 г. былъ неумолимъ къ Тургеневу и всѣми средствами старался вредить ему. Но окончательный поворотъ во взглядахъ Каткова произошелъ лишь въ исходѣ 70-хъ годовъ. Во время процесса девяностотрехъ онъ, согласно съ своими прежними взглядами, еще склоненъ видѣть причину подобныхъ явленій въ польской или заграничной интригѣ. Но процессъ Вѣры Засуличъ ему какъ бы раскрываетъ глаза на истинный источникъ зла. Съ этого момента онъ временно забываетъ о польской интригѣ и обрушивается своимъ гнѣвомъ на русскую интеллигенцію вообще и на «чиновничью» въ особенности. «Есть очевидно,—пишетъ онъ тогда,—какое то роковое несогласіе между нашей интеллигенціей и дѣйствительностью. Гдѣ въ нашей народной жизни выступаютъ ея живыя силы, тамъ творятся чудеса, тамъ чувствуется благодать Божія. Но какъ только заговорить и начать дѣйствовать наша интеллигенція, мы падаемъ». Вотъ тема, на которую съ тѣхъ поръ Катковъ пишетъ безчисленное множество статей. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ начинаетъ высказываться самымъ рѣшительнымъ образомъ противъ всего, къ чему только прикосновена интеллигенція. И земскія учрежденія, и судъ, и печать,—все подвергается самому рѣшительному осужденію съ его стороны. Но во всей силѣ походъ Каткова противъ интеллигенціи проявился только въ слѣдующемъ десятилѣтіи. И тутъ Катковъ обнаружилъ нетерпимость неопита. Очевидно, отрицательныя явленія въ нашей

общественной жизни имѣли болѣе или менѣе одинъ и тотъ же источникъ въ 60-хъ, какъ и въ 70-хъ годахъ. Но до второй половины 70-хъ годовъ Катковъ придерживается убѣжденія, что корень зла заключается въ западно-европейскихъ революціонныхъ элементахъ или въ интригѣ враждебныхъ намъ державъ. Съ 1878 г. онъ забываетъ и о польской интригѣ, и о западно-европейскихъ революціонныхъ элементахъ, и о возняхъ враждебныхъ намъ державъ. Все зло заключается, по мнѣнію Каткова, въ русской интеллигенціи «партикулярной и чиновной»,—и вотъ онъ создаетъ себѣ новый фантомъ, противъ котораго выступаетъ во всеоружіи своихъ политическихъ средствъ. Надо притомъ замѣтить, что и въ данномъ вопросѣ Катковъ не проявилъ самостоятельности мысли: нападки на интеллигенцію раздались первоначально въ Берлинѣ, какъ одно изъ средствъ, которыми бывший германскій канцлеръ думалъ побѣдить парламентскую оппозицію, состоявшую изъ видныхъ представителей интеллигентной Германіи. Катковъ началъ теперь увлекаться княземъ Бисмаркомъ такъ-же сильно, какъ онъ прежде увлекался строемъ англійской государственной жизни. Мы указываемъ на это обстоятельство, потому что оно разъяснитъ намъ крупный промахъ, совершенный Катковымъ въ обсужденіи вопросовъ внѣшней политики въ первой половинѣ 80-хъ годовъ, когда онъ проявлялъ необыкновенное пристрастіе къ Германіи, несмотря на то, что это государство кореннымъ образомъ нарушало въ то время наши политическіе и экономическіе интересы и вообще придерживалось по отношенію къ Россіи крайне враждебной политики.

VIII.

«Диктатура сердца». — Пушкинский праздник. — Самовольное присвоение доходов московского университета. — Катастрофа 1-го марта. — Еврейские погромы. — Новый промах во внешней политике. — Столкновение с министрами финансов и иностранных дел. — Смерть Каткова.

Восьмидесятые годы открываются новым политическим преступлением, — взрывом в подвалах Зимнего Дворца. Катков немедленно высказывается за установление диктатуры и с большим сочувствием встрѣчает назначеніе графа Лорисъ-Меликова начальникомъ верховной распорядительной комиссіи. Самъ покойный графъ въ своихъ бесѣдахъ съ лечившимъ его докторомъ Бѣлоголовымъ высказывался въ послѣдствіи въ томъ смыслѣ, что онъ тогда стоялъ за «возможно широкое распространеніе народнаго образованія, за нестѣсняемость науки, за расширеніе и большую самостоятельность самоуправленія» и т. д. Это настроеніе графа Лорисъ-Меликова проявилось и въ его дѣятельности, и мы видимъ, что сочувствіе къ нему Каткова быстро охладѣло. Пользуясь предоставленною печатію болѣе значительною свободою, Катковъ осмѣливалъ покойнаго графа и иронически называлъ его систему «диктатурою сердца». И онъ имѣлъ возможность высказываться съ полною свободою: какъ въ 1865 — 66 г. министр народнаго просвѣщенія А. В. Головнинъ не стѣснялъ злобныхъ выходокъ Каткова противъ него, такъ и теперь графъ Лорисъ-Меликовъ относился съ большимъ благодушіемъ и незлобивою къ нападкамъ «Московскихъ Вѣдомостей». «Далась-же имъ эта диктатура сердца! — говаривалъ онъ въ послѣдствіи: — И неужели Катковъ серьезно думалъ меня

уязвить такой лестной кличкой, которой на самомъ дѣлѣ я могу лишь гордиться, особенно въ такое жестокое и злобствующее время, какъ наше? Да вѣдь я почелъ-бы для себя самой величайшею почестью и наградою, еслибъ на моемъ могильномъ памятникѣ, вмѣсто всякихъ эпитафій, помѣстили одну только эту кличку».

Однако, чувствуя, что сила не на его сторонѣ, Катковъ, какъ всегда съ нимъ бывало въ подобныхъ случаяхъ, видимо склоненъ былъ пойти на компромисъ. Осенью 1880 г. онъ уже пишетъ: «Исторіи предстоитъ доказать, что при данныхъ обстоятельствахъ, быть можетъ, ничего иного не оставалось дѣлать. Пусть же новые люди войдутъ въ государственное дѣло и примутъ на себя долю отвѣтственности въ немъ; пусть они обновятъ собою старые порядки. Мы первые порадовались бы, еслибъ опытъ удался!» Эти слова были написаны послѣ того, какъ состоялось увольненіе министра народнаго просвѣщенія, графа Толстого. Каткову пришлось изъ наступательнаго положенія, которое онъ любилъ занимать, перейти въ оборонительное и доказывать, что классическая система неповинна въ постоянно возобновлявшихся политическихъ преступленіяхъ. Насколько онъ въ данномъ случаѣ плылъ по теченію, показываетъ и роль, разыгранная имъ на Пушкинскомъ праздникѣ. Катковъ тутъ вдругъ вспомнилъ о давно минувшемъ времени, когда онъ на литературномъ обѣдѣ, устроенномъ по случаю предстоявшаго освобожденія крестьянъ, прославлялъ Кавелина и восторгался мыслию о примиреніи и соединеніи всѣхъ литературныхъ партій. И теперь, двадцать четыре года спустя, онъ произнесъ на литературномъ обѣдѣ по поводу открытія памятника Пушкину рѣчь, въ которой сказалъ: «Кто бы мы ни были, и откуда бы мы ни пришли, и какъ бы мы ни разнились во всемъ прочемъ, но въ этотъ день на этомъ торжествѣ мы всѣ,—я надѣюсь,—единомышленники. И кто знаетъ! Быть можетъ, это минутное сближеніе послужитъ для многихъ залогомъ болѣе прочнаго сближенія въ будущемъ и поведетъ къ замиренію, по крайней мѣрѣ къ смягченію борьбы между враждующими. Буду еще смѣлѣе. На русской почвѣ люди, такъ же искренно желающіе добра, какъ искренно сошлись мы всѣ на праздникъ Пуш-

кина, могутъ сталкиваться и враждовать между собою въ общемъ дѣлѣ только по недоразумѣнію». Но на этотъ разъ рѣчь Каткова не вызвала уже сочувствія. Напротивъ, она была встрѣчена съ ледяною холодною, и маститый нашъ писатель Тургеневъ даже счелъ нужнымъ отвернуться отъ протянутого къ нему бокала. Затѣмъ на торжество, устроенное обществомъ любителей русскаго словесности по тому же поводу, редакторъ «Моск. Вѣдомостей» не былъ приглашенъ, и съ этого момента начинается окончательное озлобленіе Каткова противъ интеллигенціи, противъ суда, «находящагося какъ бы въ оппозиціи къ правительству», противъ земскихъ учрежденій, «представляющихъ собою какъ бы намекъ на что-то, какъ бы начало неизвѣстно чего-то, какъ бы гримасу человѣка, который хочетъ чихнуть и не можетъ». Правда, онъ еще одобряетъ послѣдовавшее въ то время упраздненіе III-го отдѣленія, но когда возникаютъ студенческія волненія, уже прямо отвѣчаетъ на вопросъ объ истинныхъ виновникахъ этихъ печальныхъ событій, что виновна «не молодежь, а люди, возбуждавшіе и обольщавшіе ее, дѣлавшіе ее орудіемъ своихъ интригъ, игравшіе ею и губящіе ее». Но не смотря на эти рѣзкія выходки противъ интеллигенціи, въ тонѣ его статей уже не чувствуется прежней самоувѣренности: видно большое озлобленіе, но въ то же время замѣчается и недостатокъ вѣры въ успѣхъ своего дѣла. Въ этотъ именно моментъ разыгрался всѣмъ памятный скандалъ,—обвиненіе Каткова совѣтомъ московскаго университета въ томъ, что онъ эксплуатировалъ въ свою пользу доходы, причитавшіеся университету. Каткову пришлось оправдываться, и онъ представилъ длинную объяснительную записку, въ которой ссылается на «личную свою извѣстность Государю», на «одобрительный отзывъ комитета министровъ» и доказываетъ, что онъ не пользовался благорасположеніемъ бывшаго министра народнаго просвѣщенія графа Толстого для присвоенія себѣ доходовъ университетской корпораціи. Скандалъ этотъ набросилъ тѣнь на нравственность Каткова, какъ частнаго лица, и могъ бы сильно повредить ему въ глазахъ общества, но почти одновременно разразилась катастрофа 1-го марта,—и о Катковѣ забыли подъ впечатлѣніемъ этого потрясающаго событія.

Отношенія московскаго публициста къ этому событію было двойственное: съ одной стороны онъ доказывалъ, что это дѣло «польской справы», но съ другой—усматривалъ причину этого глубоко печальнаго событія въ дѣятельности лицъ, поддерживавшихъ реформы прошлаго царствованія. Вскорѣ однако выяснилось, что обвиненіе поляковъ было такъ сказать только проявленіемъ безсознательнаго атавизма *), но что въ сущности, по мнѣнію Каткова, причина зла—шатаніе мысли въ средѣ интеллигенціи и либеральныя реформы. Манифестъ 29-го апрѣля 1881 г. поддержалъ Катковъ въ этой мысли, хотя въ немъ и подтверждалась рѣшимость управлять Россіею въ духѣ учреждений, дарованныхъ императоромъ Александромъ II. Московскій публицистъ началъ доказывать, что «еще нѣсколько мѣсяцевъ, быть можетъ, недѣль прежняго режима,—и крушеніе было бы неизбѣжно», и съ небывалымъ ожесточеніемъ обрушился на суды и земскія учрежденія, увѣряя, что они руководствуются въ своихъ дѣйствіяхъ оппозиціей противъ администраціи и тѣхъ воззрѣній, которыя защищалъ онъ самъ. Въ такомъ духѣ онъ писалъ вплоть до своей смерти. Но, какъ мы сейчасъ увидимъ, онъ не ограничился нападками на суды и земскія учрежденія. Какъ и въ 1863 г., въ дни наибольшей своей славы, онъ, руководствуясь отмѣченною уже выше тактикою, началъ и теперь вести ожесточенную компанію противъ нѣкоторыхъ министровъ, противъ сената и государственнаго совѣта.

Но не будемъ отступать отъ хронологическаго порядка, котораго мы до сихъ поръ придерживались, изучая дѣятельность Каткова. Въ 1881 г. вспыхнули еврейскіе погромы. Надо замѣтить, что еврейскій вопросъ принадлежитъ къ числу тѣхъ весьма немногихъ вопросовъ, въ которыхъ Катковъ оставался себѣ вѣренъ съ начала своей публицистической дѣятельности до самой своей смерти. Еще когда у насъ очень мало говорили объ еврейскомъ во-

*) По этому поводу возникла очень интересная полемика между Катковымъ и маринистомъ Сигизмундомъ Велепольскимъ. (См. Р. Сементковскій „Польская Библіотека“ Спб. 1882, стр. 392 и слѣд.).

просѣ, т. е. въ началѣ 60-хъ годовъ, Катковъ очень рѣшительно высказывался за расширеніе правъ евреевъ, въ особенности за отмѣну пресловутой черты осѣдлости, доказывая весь ея вредъ въ экономическомъ отношеніи и несостоятельность съ точки зрѣнія русскихъ государственныхъ интересовъ, требующихъ сліянія инородцевъ съ кореннымъ населеніемъ, а не искусственного разобщенія ихъ. Мы не станемъ здѣсь повторять аргументовъ Каткова въ пользу этихъ основныхъ положеній, потому что они всѣмъ слишкомъ хорошо извѣстны. Но надо замѣтить, что Катковъ, не смотря на свою непоследовательность почти во всѣхъ вопросахъ и на свою склонность подчиняться временнымъ вліяніямъ и настроеніямъ, въ данномъ вопросѣ втеченіе всей своей публицистической дѣятельности ни отступилъ ни на шагъ отъ первоначальной своей точки зрѣнія. Можно было думать, что, выступивъ во время польскаго мятежа горячимъ сторонникомъ національнаго принципа, онъ и въ еврейскомъ вопросѣ перейдетъ къ проповѣди узкаго націонализма. Но это ожиданіе не оправдалось. Онъ нападалъ на поляковъ, остзейцевъ, финляндцевъ, грузинъ, армянъ, но евреевъ оставлялъ въ покоѣ и ни во время польскаго возстанія, ни впослѣдствіи не обвинялъ евреевъ въ поощреніи разныхъ смуть. Напротивъ, онъ постоянно высказывался въ совершенно томъ же духѣ, какъ и въ началѣ 60-хъ годовъ. Правда, еврейскій вопросъ долгое время не занималъ ни правительства, ни общества. Приобрѣлъ онъ характеръ злобы дня уже значительно позже, когда Катковъ, какъ носились слухи, имѣлъ личные интересы воздерживаться отъ возбужденія общественнаго мнѣнія противъ евреевъ. Во всякомъ случаѣ въ 1881 г., во время такъ называемыхъ еврейскихъ погромовъ, онъ въ весьма рѣшительныхъ выраженіяхъ осуждалъ это движеніе. Приписывалъ онъ его революціонной агитаціи, энергически отрицая экономическія, религіозныя или племенные причины. «Откуда теперь, именно теперь,—спрашивалъ онъ:—это странное возбужденіе, которое ни къ чему доброму привести не можетъ, а выражается только въ народныхъ смятеніяхъ, въ буйствахъ толпы»? Онъ указывалъ, что главная причина раззоренія нашего народа

заклѣчается въ кабаки и иронизировалъ надъ тѣми, которые относятся къ кабаку равнодушно и негодуютъ на шинкаря-жида «до готовности избить и сжить со свѣта все еврейское населеніе».

Но если въ этомъ вопросѣ Катковъ оставался послѣдовательнымъ, то въ возникшемъ почти одновременно вопросѣ о нашихъ отношеніяхъ къ Германіи онъ проявилъ почти невѣроятную непослѣдовательность. Мы видѣли уже, что во время берлинскаго конгресса онъ горюю стоялъ за князя Горчакова и прямо обвинялъ князя Бисмарка въ томъ, что вслѣдствіе его козней, русскія требованія на берлинскомъ конгрессѣ подверглись сильнымъ урѣзкамъ. Однако, когда князь Горчаковъ умеръ и министромъ иностранныхъ дѣлъ былъ назначенъ Н. К. Гирсъ, взгляды Каткова во внѣшней политикѣ внезапно измѣняются. Поѣздка нашего новаго министра за границу, чрезвычайно сочувственный пріемъ, оказанный ему въ Берлинѣ и Варцѣнѣ, служатъ Каткову поводомъ къ помѣщенію въ «Моск. Вѣдомостяхъ» статей весьма сочувственныхъ Германіи. Въ нихъ Катковъ до такой степени увлекается германскою дружбою, что сравниваетъ «недавнія недоразумѣнія» между Россіею и Германіею съ «ссорою любовниковъ въ водевилѣ», которые капризничая, избѣгаютъ объясненій. Во время войны 1877—78 г. Катковъ доказывалъ, что истиннымъ виновникомъ этой войны является князь Бисмаркъ, и приписывалъ ему всѣ наши дипломатическія неудачи. Теперь же онъ утверждаетъ, что если князь Бисмаркъ не оказалъ намъ должнаго содѣйствія, то только потому, что «наша дипломатія по своей близорукости сама избѣгала откровеннаго объясненія съ нимъ». Катковъ все болѣе и болѣе увлекается мыслию о русско-германской дружбѣ. Онъ уже утверждаетъ, что наши неудачи на берлинскомъ конгрессѣ были чисто мнимыя, что за уступку Босніи и Герцеговины Австріи слѣдуетъ винить не германскую, а нашу дипломатію, и вскорѣ доходить до торжественнаго заявленія, что «ни съ Германіей, ни съ ея политикой у насъ нѣтъ никакихъ счетовъ», и что намъ слѣдуетъ не только не ссориться съ княземъ Бисмаркомъ, а напротивъ, поучаться у него, «ибо онъ оказывался иногда болѣе русскимъ, чѣмъ наша дипломатія, не имѣвшая подъ собою національной почвы».

Всѣ эти «горячія» статьи Каткова въ пользу князя Бисмарка, порожденныя ошибочною оцѣнкою его дѣятельности и намѣреній, могутъ представляться тѣмъ болѣе странными, что во время ихъ появленія другіе органы русской печати очень рѣшительно высказывались въ противоположномъ смыслѣ и, на основаніи безспорныхъ фактовъ, выясняли существованіе направленного противъ Россіи союза, во главѣ котораго стояла Германія. Кромѣ того, и наша дипломатія, какъ видно изъ ея тогдашнихъ дѣйствій, была далека отъ заблужденія, будто бы Германія дружественно расположена къ Россіи. Но Катковъ всего этого не замѣчалъ. Онъ какъ бы обрадовался случаю оправдать князя Бисмарка передъ Россіей, повторялъ безъ умолку, что онъ—нашъ преданнѣйшій другъ, ставилъ его въ примѣръ нашимъ государственнымъ людямъ, восторгался его парламентскими рѣчами, настраивалъ всѣ свои статьи по берлинскому камертону, доказывалъ, что никакой опасности со стороны Германіи намъ не угрожаетъ и, по примѣру князя Бисмарка, обвинялъ несочувствовавшихъ ему русскихъ публицистовъ въ принадлежности къ «польской справѣ». Очевидно, соображенія внутренней политики и проявившееся въ это время съ особенною силою недружелюбіе къ русской интеллигенціи лишали Каткова возможности объективно оцѣнивать международныя отношенія. Онъ до такой степени былъ ослѣпленъ, что въ 1885 г., когда произошло столкновение между Россіей и Англіей изъ-за афганскаго вопроса, рѣшительно совѣтовалъ Россіи начать въ Средней Азіи войну съ Англією, угрожалъ послѣдней завоеваніемъ Индіи,—словомъ, вторилъ германскимъ оффиціознымъ газетамъ, доказывавшимъ на всѣ лады, что Россіи ничего не стоитъ справиться съ Англією, и что война съ нею сулитъ Россіи огромныя выгоды. Онъ, очевидно, и не подозревалъ, что Россія имѣетъ очень серьезныя основанія избѣгать войны въ Азіи въ такой именно моментъ, когда ея интересы въ Европѣ подвергались большой опасности. Болгарскія дѣла и образъ дѣйствій Германіи въ 1887 и началѣ 1888 г., вспыхнувшій въ то время острый кризисъ, отразившійся такъ печально на нашихъ финансахъ и чуть было не обострившійся до вооруженнаго стол-

кновенія, вполне выяснили всю недалковидность Каткова. Онъ спохватился только во второй половинѣ 1885 г. послѣ болгарскаго переворота и вдругъ изъ горячаго сторонника князя Бисмарка превратился въ яраго его антагониста. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ополчился и противъ нашей дипломатіи, очевидно сваливая вину съ больной головы на здоровую, т. е. приписывая ей собственное заблужденіе. Въ ея виды, по понятнымъ причинамъ, вовсе не входило обострять запальчивою полемикою международный кризисъ, тѣмъ болѣе что она ясно сознавала, какой опасный характеръ онъ принялъ. Появились даже правительственныя сообщенія, въ которыхъ доказывалось, что мы не имѣемъ основанія ссориться съ Германіей. Но Катковъ, — этотъ недавній горячій защитникъ князя Бисмарка теперь отзывался объ этихъ сообщеніяхъ, какъ о «статяхъ узурпаторски названныхъ правительственными сообщеніями». Въ то же время Катковъ, забывъ все, что онъ писалъ еще вчера, началъ плыть въ фарватерѣ тѣхъ публицистовъ, которыхъ онъ такъ недавно обвинялъ въ принадлежности къ «польской справѣ», повторялъ буквально всѣ ихъ разсужденія, выступилъ горячимъ защитникомъ союза съ Франціей, но и тутъ вполне проявилъ свою политическую недалковидность, держа сторону разныхъ весьма сомнительныхъ личностей среди французскихъ политическихъ дѣятелей, подкрѣпляя свои разсужденія выдержками изъ статей гг. Деруледа, Мильвуа и другихъ сторонниковъ генерала Буланже, замышлявшаго тогда государственный переворотъ. Эти господа отблагодарили Каткова тѣмъ, что украсили его гробъ многочисленными вѣнками.

Ярныя нападки Каткова на нашу дипломатію совпали съ не менѣе рѣзкими выходками его противъ финансоваго вѣдомства. И съ экономическими воззрѣніями московскаго публициста произошла полная метаморфоза. Будучи въ 60-хъ и 70-хъ годахъ сторонникомъ началъ свободы торговли и восстановленія цѣнности нашей денежной единицы путемъ сокращенія чрезмѣрнаго количества бумажныхъ денегъ, онъ въ 80-хъ годахъ превратился въ протекціониста à outrance и въ сторонника почти неограниченнаго выпуска

бумажныхъ денегъ. Въ 60-хъ и 70-хъ годахъ у него сотрудничали такіе экономисты, какъ Молинали, Безобразовъ и др. Въ 80-хъ годахъ Катковъ выбросилъ экономическую теорію за бортъ и сталъ вдохновляться въ своихъ экономическихъ статьяхъ указаніями и совѣтами такихъ дѣятелей, какъ Бокоревъ и представители московскаго торговаго міра. Онъ защищалъ ихъ интересы съ необычайнымъ усердіемъ. Хотя наше финансовое вѣдомство нисколько не придерживалось ни началъ свободной торговли, ни стремленія сократить излишекъ бумажныхъ денегъ и только отказывалось прибѣгать къ новымъ ихъ выпускамъ и доводить протекціонизмъ до послѣдней его крайности, но Катковъ до того дорожилъ полнымъ осуществленіемъ своей экономической и финансовой программы, что всякое противорѣчіе выводило его изъ себя. Онъ чувствовалъ себя теперь опять сильнымъ, вспомнилъ 1863 годъ, доставившій ему успѣхъ и извѣстность, и вновь съ особенной рѣшительностью пустилъ въ ходъ тѣ приемы и средства, которыми онъ пользовался тогда въ борьбѣ съ мнимыми или дѣйствительными противниками. Мы видѣли уже, что онъ отвергалъ правительственныя сообщенія, признавая ихъ «статейками неизвѣстныхъ авторовъ», точь въ точь какъ въ 60-хъ годахъ онъ отвергалъ данное ему предостереженіе. Кромѣ того, онъ всякаго своего противника немедленно производилъ въ государственнаго вора, предателя, измѣнника, нигилиста. Въ 60-хъ годахъ его гнѣву подверглись всѣ тѣ, кто рекомендовалъ примирительныя мѣры по отношенію къ Польшѣ. Теперь-же онъ признавалъ неблагонамѣреннымъ или даже измѣнникомъ всякаго, кто ему противорѣчилъ. Дѣло дошло до того, что онъ пустился въ самыя злобныя и несправедливыя нападки на финансовое вѣдомство, обвиняя его въ томъ, что оно состоитъ изъ анти-правительственныхъ дѣятелей; въ томъ-же онъ обвинялъ и министерство юстиціи послѣ того, какъ министръ въ публичной рѣчи счелъ нужнымъ опровергнуть нападки и общія нареканія на судебное вѣдомство. Но, не ограничиваясь министерствами, онъ сталъ заподозривать въ неблагонамѣренности даже правительствующій сенатъ, «чувствующій,—какъ онъ выразился,—особую нѣжность ко вся-

кимъ прерогативамъ земскаго самоуправства и высказывающій свою строгость лишь въ наблюденіи за тѣмъ, чтобы къ этой святынѣ не прикоснулся какой-нибудь первый встрѣчный профанъ, на примѣръ губернаторъ». Но не довольствуясь и этимъ, онъ возставалъ и противъ государственнаго совѣта, упрекая его за «игру въ парламентъ», подъ которой онъ разумѣлъ рѣшеніе вопросовъ по большинству и формулированіе меньшинствомъ отдѣльныхъ мнѣній. И тутъ Катковъ проявилъ свойственную ему непослѣдовательность: защищая сильную центральную власть, онъ дискредитировалъ непосредственные органы этой власти. Въ самый разгаръ этихъ нападокъ, вызвавшихъ сильное неудовольствіе въ правительственныхъ сферахъ, Катковъ послѣ неуспѣшной побѣдки въ Петербургъ для представленія необходимыхъ объясненій, занемогъ и скоропъ умеръ.

Мы охарактеризовали въ главныхъ чертахъ жизнь и дѣятельность Каткова. Изъ сообщенныхъ нами данныхъ (все сомнительное мы тщательно устранили) не трудно сдѣлать общій выводъ. Въ отличіе отъ И. С. Аксакова, публицистическая дѣятельность котораго представляется и послѣдовательною, и стройною, Катковъ постоянно самъ себя противорѣчилъ, восхваляя сегодня то, что онъ порицалъ вчера, или въ частностяхъ противорѣча тому, что въ общемъ признавалось имъ вѣрнымъ. Только въ двухъ вопросахъ онъ остался себя вѣренъ: въ еврейскомъ и отчасти въ вопросѣ о пользѣ классицизма. Во всѣхъ остальныхъ онъ до того измѣнялъ самому себя на каждомъ шагѣ, такъ часто высказывалъ взгляды, находившіеся въ полномъ разногласіи съ началами науки и съ опытомъ всѣхъ временъ и народовъ, что его публицистическая дѣятельность не можетъ представлять никакого интереса ни съ научной точки зрѣнія, ни въ смыслѣ развитія и расширенія вынесеннаго нами государственнаго опыта. По существу, она не имѣетъ для потомства никакого значенія. Ни одинъ серьезный изслѣдователь русской государственной жизни не можетъ искать для себя ни поученія, ни указанія въ статьяхъ Каткова, тѣмъ болѣе что онъ, возставая противъ доктринеровъ, самъ былъ ярый доктринеръ и отличался отъ другихъ док-

тринеровъ не столько сущностью своего политическаго ученія, сколько тѣмъ, что поминутно мѣнялъ свои доктрины. Практическія потребности нашей народной жизни принимались имъ мало во вниманіе. Онъ, за рѣдкими исключеніями, касался въ своихъ статьяхъ только вопросовъ такъ называемой высшей политики и никогда не интересовался какимъ-либо частнымъ вопросомъ въ смыслѣ удовлетворенія настоятельныхъ народныхъ потребностей, а немедленно приводилъ его въ связь съ усвоенною себѣ общою доктриною, создавалъ себѣ на этой почвѣ противниковъ и громилъ ихъ впредь до пріисканія новой доктрины, согласной съ вѣяніями минуты и личнымъ настроеніемъ. Но и въ этихъ доктринахъ онъ не проявилъ самостоятельности. Онъ примыкалъ только къ какому либо изъ государственныхъ дѣятелей и, пользуясь его поддержкою, выступалъ съ рѣзкими статьями, въ которыхъ онъ съ напускною страстностью боролся будто бы за свои идеи. Это давало ему возможность говорить очень громко и смѣло, чѣмъ онъ и обращалъ на себя общее вниманіе. Но при недостаткѣ самостоятельности, при неподготовленности къ публицистической дѣятельности, при измѣчивости его настроенія и воззрѣній, онъ не могъ имѣть вліянія на законодательную и административную дѣятельность. Онъ не указывалъ новыхъ путей; онъ только слѣпо слѣдовалъ указаніямъ энергическихъ и самостоятельныхъ дѣятелей въ средѣ самой администраціи (Милютиныхъ, князя Горчакова, графа Толстого). Примыкая къ тому или другому теченію въ руководящихъ сферахъ, онъ доводилъ его до абсурда неумѣренностью своихъ требованій. Государственная жизнь развивалась сама по себѣ, подчиняясь болѣе или менѣе рѣшительнымъ событіямъ и вліянію объективныхъ и послѣдовательныхъ умовъ, къ числу которыхъ Катковъ никогда не принадлежалъ. Было-бы столь-же несправедливо упрекать Каткова за излишній либерализмъ въ прежнее время, какъ и за неумѣренный консерватизмъ въ концѣ его публицистической карьеры: и въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ пѣлъ только съ чужого голоса. Представитель опредѣленнаго и послѣдовательнаго ученія является цѣльною личностью, надъ которою возможенъ судъ съ точки зрѣ-

нія науки и государственнаго опыта. Такая мѣрка не можетъ быть приложена къ крайне измѣнчивому и противорѣчивому ученію Каткова, вытекавшему изъ соображеній личнаго свойства или подчинявшемуся постороннимъ вліяніямъ.

Но, благодаря впервые примѣненной имъ въ нашей печати тактикѣ искать себѣ, — какъ выражаются американцы, — «платформы» въ программѣ тѣхъ или другихъ государственныхъ дѣятелей, часто могло казаться, будто Катковъ вліяетъ на общество и даже правительство. Этимъ путемъ онъ обезпечилъ за собою громкую извѣстность и во многихъ отношеніяхъ очень видный личный успѣхъ. Однимъ изъ послѣдствій этой тактики было нѣкоторое расширение свободы печатнаго слова въ дѣлѣ обсужденія государственныхъ вопросовъ, и въ этомъ отношеніи дѣятельность Каткова прошла не безслѣдно. Именно на этой почвѣ онъ стяжалъ публицистическіе лавры, добился громкой извѣстности не только въ Россіи, но и въ другихъ странахъ. Всѣ его измѣнчивыя политическія доктрины будутъ скоро забыты, но фактъ, что его слово въ сферѣ обсужденія важнѣйшихъ государственныхъ вопросовъ раздавалось громко и внушительно, что, благодаря ему, газета стала какъ-бы однимъ изъ факторовъ рѣшенія этихъ вопросовъ, — останется навсегда памятнымъ. Мы имѣли-бы тутъ дѣло съ несомнѣнною заслугою Каткова, если-бы онъ только проявилъ больше разборчивости въ средствахъ, направленныхъ къ достиженію этой цѣли.

— о к о н е ц ъ . о —

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БЮГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Евгенія Соловьева

Съ портретомъ Л. Толстого, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ

.....
ЦѢНА 25 коп.
.....

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ОБЕРТКА ПЕЧАТАНА ВЪ ТИП. ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖД. ТОВАРИЩ. «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»,
Большая Подъячская, № 39

1894

Digitized by Google

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Литература, история, публицистика и законодѣніе.

Сочиненія Чарльза Диккенса. Полное собраніе.

Цѣна каждого тома (равнаго 75 журна. листамъ)—1 р. 50 к.—До 1 апрѣля 1894 г. вышли первые семь томовъ: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Холодный домъ и Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошша Дорритъ и Большия надежды, 5) Намъ общій другъ и Оливеръ Твистъ, 6) Записки Пиквикскаго клуба и Тажелія времена, 7) Николай Никльби и Рождественскіе рассказы. Томъ 8 печатается.

Сочиненія Пушкина. Съ портретами, биографіей и 500 письмами. Полное собраніе въ 1-мъ и въ 10 томахъ. Цѣна 1-томнаго и 10-томнаго издамъ одна и та же: безъ карт.—1 р. 50 к. Съ 44 карти.—2 р. 50 к. На лучшей бумагѣ—на 50 к. дорож. За переплетъ: для 1-томн. изд.—40 к. и 1 р. Для 10-томнаго (въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.

Сочиненія Лермонтова (въ одномъ томѣ). Полное собраніе. Съ портретами, биографіей и 115 рисунками. Ц. 1 р. Въ простомъ перепл.—1 р. 40 к., въ коленкоромъ съ золотомъ—2 р.

Сочиненія Лермонтова (въ четырехъ томахъ). Полное собраніе. Съ портретами, биографіей и 115 рисунками. Цѣна за всѣ 4 тома 1 р., въ простыхъ переплеткахъ—1 р. 50 к., въ роскошныхъ 2 р.

Сочиненія Н. В. Шелгунова. Въ двухъ томахъ. Съ портретами автора и вступительной статьей *И. Михайловскаго*. Ц. 3 р., въ перепл.—4 р. Повѣсти и рассказы *И. Потапенко*. 8 томовъ, Ц. каждого—1 р. Перепл.—въ 50 к. и по 75 к. **Сочиненія Глѣба Успенскаго**. 3 изд., въ 2 том. Съ портретами автора и статьей *И. К. Михайловскаго*. Ц. за два тома—3 р. Переплетъ въ 50 к. и въ 1 р.

Сочиненія Гл. Успенскаго. Томъ 3-й. Ц. 1 р. 50 к. **Сочиненія Ф. М. Рѣшеткина.** Въ двухъ томахъ, съ портр. автора и статьей *М. Протопопова*. Ц. за все собраніе—2 р. 50 к. Переплетъ въ 50 к. и 1 р.

Сочиненія А. М. Снабичева. Бритическіе этюды, публицистическіе очерки, литерат. характеристики. Съ портретами автора. Цѣна за все собраніе въ двухъ больш. томахъ (до 1700 стр.) 3 р. Перепл.—въ 50 к. и по 1 р. Большой альбомъ въ „Сочиненіяхъ Пушкина“ 44 иллюстраціи съ подписями, портретомъ и снимкомъ съ почерка. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к. Малый альбомъ въ „Сочиненіяхъ Пушкина“ 74 же иллюстраціи, но меньшаго формата. Ц. въ коленкоромъ перепл.—1 р. 25 к. 120 рисунковъ къ Лермонтову. Художественный альбомъ *М. Е. Малышева*. Цѣна въ папкѣ въ 50 к.

Капитанская дочка. А. Пушкина. Съ 188 рисун. Ц. 60 к., въ пап. 75 к., въ пер. 1 р. **Вырожденіе.** Психологическія явленія въ области современной литературы и искусства. *Макса Нордау.* Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей и съ предисловіемъ *Р. Семитовскаго*. Большой томъ, 885 столб. Ц. 1 р. 50 к. **Исторія французской революціи. Ж. Карно.** Переводъ съ франц. Около 400 стр. Ц. 1 р.

Герои и героическое въ исторіи. Томъ Карлейля. Перев. *В. Яковенко*. Ц. 1 р. 50 к.

Матери великихъ людей Влока. Переводъ *З. Горской*. Со многими рисунками. Ц. 50 к. **Европейскіе монархи и ихъ дворы. Politiques.** Переводъ *В. Ранцова*. Съ 16 портрет. Ц. 1 р. **Исторія новѣйшихъ русси.** литературы (1843—1892 гг.). *А. Скабичевскаго*. 2-е изд. Ц. 2 р. **Исторія рус. цензуры.** *А. Скабичевскаго*. Ц. 2 р. **Исторія книги на Руси.** *А. Вахтарева*. Со многими рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р. 50 к. **Исторія культуры.** *Линкерт.* Перев. съ нѣмецкаго, съ 85 рис. Ц. 1 р. 60 к.

Литература и жизнь. Письма о разныхъ вопросахъ. *Н. К. Михайловскаго*. Ц. 1 р. **Новѣйшіе русскіе писатели.** *А. Цетковскаго*. Съ 72 портр. Ц. 3 р.

Грядущая раса. Фантастическій романъ. *Эд. Бульвер.* Перев. съ англ. *Каменскаго*. Ц. 50 к. **Черезъ сто лѣтъ.** Соц. романъ *Э. Веллами*. 3-е изд., дополненное научно-предсказательными очерками Ринне: „Куда мы идемъ?“ Ц. 1 р.

Голодъ. Ром. *К. Гамсуна*. Съ норвежск. Ц. 60 к. **Въ трущобахъ Англіи.** Соціал. борьба съ экономич. явленіями соврем. общества. *Бутса.* Ц. 1 р. **Забота.** Ром. *Зудермана*. Съ 14 нѣм. изд. Ц. 60 к. **До потопу.** Романъ изъ жизни первобытныхъ людей. *Рени.* Ц. 16 рис. Ц. 50 к.

Въ небесахъ (Uranie). Астрономическій романъ *К. Фламмаріона*. Съ 89 рис. 2-е изд. Ц. 75 к. **По волнамъ безконечности.** Астрономическая фантазія *К. Фламмаріона*. 2 изд. Ц. 80 к. **Долой оружіе!** Анти-военный романъ *В. Зутнера*. Компактное изданіе. Цѣна 80 к.

Подъ маской благочестія. (Проступленія и оргіи папъ.) Романъ *Э. Пестери*. Ц. 1 р. **Большая любовь.** Гигіеническ. романъ *Мантегацца*. Ц. 50 к.

Въ раздумьи. Очерки изъ жизни русскаго интеллигенціи. *Е. А. Соловьева*. Ц. 75 к.

Тургеневъ о русонохъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портрет. *И. С. Тургенева*. Ц. 15 к. **Въ поискахъ заистиной.** *Макса Нордау.* Перев. съ 4-го нѣм. изд. *Э. Зауера*. 3-е изд. Ц. 1 р. **Счастье и трудъ.** *П. Мантегацца*. 2-е изд. Ц. 75 к.

Бесѣды о законахъ и порядкахъ С. Горанскаго, похр. ред. *Л. Абрамова*. 2-е изд. Цѣна 15 к. **Законы о гражданскихъ договорахъ.** Общепонятно изложенные и объясненные. Составилъ *В. Фармаковский*. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 25 к.

Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Профес. *Галлендорфа*. Ц. 75 к. **Очерки самоуправления** (земскаго, городскаго и сельскаго). *С. Приклонскаго*. Ц. 2 р. **Борьба съ земельнымъ хищничествомъ.** Бытовые очерки *И. Тимошенкова*. Ц. 1 р.

Брюхо Петербурга. Общественно-физиологическіе очерки *А. Вахтарева*. Ц. 1 р. 50 к. **Русскіе фланеры въ Парижѣ.** *Поноса*. Ц. 1 р. **По градамъ и веснямъ.** Ром. *Володина* (И. Засодимскаго). Ц. 1 р. 50 к. **Обломки разбитаго норвежскаго** Сценны у мировъхъ чужей. Составилъ *В. Никитина*. Ц. 1 р.

Сочиненія Д. И. ПИСАРЕВА. Полное собраніе въ 6 томахъ. Спб. 1894 г. Цѣна кажлаго тома 1 руб.



ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БЮГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Л. Н. Толстой

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Евгенія Соловьева.

Съ портретомъ Толстого, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ.

.....
ЦѢНА 25 КОП.
.....

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

„Банковская скоропечатня“ инж. И. Г. Гершуна, Мѣшанская, 5.

1894

Digitized by Google

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
I. Дѣтство, отрочество и юность	5
II. Руссо и Нехлюдовщина	35
III. На Кавказѣ	43
IV. Подъ Севастополемъ	50
V. Въ Петербургѣ	60
VI. Въ Ясной Полянѣ и заграничѣй	66
VII. Вторая поѣздка за границу	70
VIII. Писательская драма	78
IX. Семейная жизнь	84
X. Большіе романы	91
XI. О пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого . . .	108
XII. Кризисъ	116
XIII. Ученіе Толстого	124
XIV. На вершинѣ славы	143
XV. Заключеніе	148

ИСТОЧНИКИ.

- 1) Полное собраніе сочиненій Льва Толстого, изд. 9-ое.
 - 2) Исповѣдь.—Въ чемъ моя вѣра.
 - 3) „Leo Tolstoj“, von Löwenfeld 1. Band.
 - 4) Gespräche mit und über Tolstoj, von R. Löwenfeld.
 - 5) Берсъ.—Воспоминанія.
 - 6) Проф. Загоскинъ. Студенческіе годы графа Льва Николаевича Толстого. Истор. Вѣстникъ, Январь 94 г.
 - 7) Статьи: Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, Д. И. Писарева, Н. М. Страхова, С. А. Андреевскаго, Вогюэ, Брандеса, Цюна.
-

I.

Дѣтство, отрочество и юность.

Втеченіи XIX-го вѣка нѣсколько лицъ занимали первое мѣсто въ европейской литературѣ и являлись общепризнанными главарями умственного движенія. Сначала такое мѣсто принадлежало Гётте, къ каждому слову котораго жадно прислушивался весь образованный читающій міръ; послѣ Гётте долгое время литературный престолъ оставался незанятымъ, пока среди общихъ рукоплесканій на него не возсѣлъ блестящій и нервный Викторъ Гюго. По смерти Виктора Гюго самымъ виднымъ представителемъ и главаремъ является безъ всякаго сомнѣнія «великій писатель земли русской», гр. Левъ Николаевичъ Толстой.

Гр. Толстого знаетъ теперь весь читающій міръ на любой параллели и на любомъ меридіанѣ. Иностранная критика въ лицѣ самыхъ блестящихъ своихъ представителей, какъ Вогюэ, Цабель, Брандесъ, удѣляетъ ему гораздо больше вниманія, чѣмъ критика русская. Но я не знаю, есть ли въ Россіи человѣкъ, такъ или иначе причастный къ литературной или философской критикѣ, который не обострилъ бы своего пера о произведенія графа Толстого. Не могу припомнить всѣхъ, кто писалъ

на эту тему, но если назвать Д. Писарева, Анненкова, Григорьева, Михайловскаго, Скабичевскаго, Протопопова, проф. Козлова, Н. Страхова и т. д.,—то и этихъ имѣть будетъ достаточно. Есть люди, избравшіе своею спеціальностью пропаганду идей гр. Толстого; есть другіе, преслѣдующіе эти идеи съ ожесточеніемъ и, такъ сказать, по пятамъ, напр. проф. казанскаго университета г. Гусевъ. Въ періодъ 1886—1889 г., и даже позже, нельзя было взять въ руки номера газеты или журнала, чтобы не натолкнуться на сужденія о Толстомъ. Стоитъ припомнить, какой шумъ произвела «Крейцера Соната»,—шумъ на столько всеобщій, что даже музыкальные издатели поторопились выпустить въ свѣтъ эту забытую сонату Бетховена, хотя ни малѣйшаго отношенія ни къ музыкѣ, ни къ Бетховену произведеніе Толстого не имѣло. Все выходящее изъ подъ пера Толстого вы можете встрѣтить въ самыхъ разнообразныхъ слояхъ общества: его пьесы даюся при дворцѣ, его сказки, азбука и христоматія читаются въ деревняхъ. Теперь мнѣ приходится пользоваться 9-мъ полнымъ собраніемъ сочиненій Толстого. Это небывалый въ Россіи фактъ: Пушкинъ при жизни видѣлъ одно полное изданіе своихъ созданій, Тургеневъ—три, Достоевскій вышелъ въ «посмертномъ».

Не менѣ имени графа Толстого извѣстно и прозвище его родового помѣстья «Ясной Поляны». Кто не былъ, или кому по крайней мѣрѣ не хотѣлось бы тамъ побывать? Заглянемъ и мы туда...

Расположенная въ Брасовскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи, въ пятнадцати верстахъ отъ города Тулы, имѣніе Ясная Поляна является мѣстомъ, куда постоянно стекаются безчисленные посѣтители и поклонники Л. Н. Толстого.

Ясная Поляна—родовое имѣніе князей Волконскихъ, перешедшее теперь въ родъ графовъ Толстыхъ,—внѣшнимъ своимъ видомъ ничѣмъ не отличается отъ обыкновенныхъ барскихъ помѣстій средней полосы Россіи, и если имя его стало общеизвѣстнымъ, то лишь потому, что здѣсь родился, провель свое дѣтство и почти безвыѣздно всю вторую половину своей жизни Левъ Николаевичъ Толстой. «Война и Миръ», «Анна Каренина», и всѣ многочисленныя произведенія послѣднихъ лѣтъ: «Исповѣдь», «Въ чемъ моя вѣра», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната» и т. д. были созданы въ Ясной Полянѣ. Какъ Ферней Вольтера или Копне m-me Сталь или Мекка Магомета, оно извѣстно всему міру.

Ясная Поляна, ея веселое и живописное положеніе, окружающій ее огромный казенный лѣсъ «Засѣка», самая усадьба съ вѣковыми липовыми аллеями, посаженными прадедомъ княземъ Волконскимъ, четыре пруда и вѣчно запущенный барскій садъ, обнесенный валомъ, описывались десятки разъ, какъ русскими, такъ и иностранцами. Про двѣ круглыя кирпичныя башни, стоящія въ замкѣ вала, возлѣ которыхъ когда-то, въ началѣ вѣка, постоянно дежурилъ часовой, свидѣтельствуя своимъ присутствіемъ о знатности помѣщика, генерала временъ Павла I-го—знають одинаково и у насъ, и въ Европѣ, и въ Америкѣ. Теперь эти старыя кирпичныя башни полуразрушены, обросли мохомъ, а наследникъ гордаго генерала и князя Волконскаго, въ простой рабочей блузѣ синяго цвѣта и высокихъ сапогахъ, бесѣдуетъ съ своими почитателями и поклонниками о жизни по ученію Христа и тайнѣ смерти, «отстранить которую отъ себя не можетъ человекъ никакими грозными каменными башнями, никакими вѣчно дежурящими часовыми».

Въ Ясной Полянѣ возвышался когда-то почтенный барскій домъ съ безконечной амфиладою залъ и комнатъ, гдѣ старое барство, окруженное покорною толпой холоповъ, питало свою гордость громадными доходами и безмѣрною властью надъ крѣпостными подданными. Почтенный барскій домъ сгорѣлъ уже давно, и вся усадьба состоитъ теперь изъ двухъ флигелей—изъ которыхъ въ одномъ живетъ гр. Толстой съ своимъ семействомъ, очень многочисленнымъ, а другой предназначенъ для паломниковъ Ясной Поляны и гостей.

Флигель, занятый семействомъ графа Толстого и имъ самимъ,—двухъ-этажный, очень простой архитектуры и безъ вся-

кихъ украшеній снаружи. Внизу находятся кабинетъ графа, его библіотека и спальня. Нигдѣ и ни въ чемъ незамѣтно даже слѣдовъ роскоши и того огромнаго миллионнаго состоянія, которымъ обладаетъ хозяинъ. Напротивъ, обстановка помещенія поражаетъ своей простотою, и лишь портреты предковъ, развѣшенные въ залѣ верхняго этажа, говорятъ еще, что посѣтитель находится въ гнѣздѣ стариннаго барства.

Кабинетъ самого Л. Н. Толстого напоминаетъ комнату прилежнаго и небогатаго студента. Столъ, нѣсколько стульевъ, диванъ, этажерка,—составляютъ всю мебель. Въ углу стоитъ бюстъ давно умершаго старшаго брата Льва Николаевича, Николая Толстого; по стѣнамъ развѣшано нѣсколько картинъ. Между этими послѣдними есть портретъ Шопенгауэра и фотографически снятая въ 1856 году группа русскихъ писателей: Толстого, Григоровича, Гончарова, Тургенева, Дружинина и Островскаго. На этой группѣ Л. Н. Толстой изображенъ въ военномъ мундирѣ съ скрещенными на груди руками; въ выраженіи всей его гордо выпрямившейся фигуры, а особенно въ небрежномъ взглядѣ вдумчивыхъ глазъ есть, какъ намъ показалось, что-то Лермонтовское. Группа любопытна: писатели земли русской не часто бываютъ вмѣстѣ, еще рѣже живутъ дружно между собой; и правда—черезъ немного лѣтъ послѣ 56-го года Гончаровъ разсорился съ Тургеневымъ, Тургеневъ хотѣлъ драться на дуэли съ Толстымъ... Но тогда еще все обстояло мирно и дружелюбно.

Библіотека графа богата и заключаетъ въ себѣ сочиненія на 6-ти или 7-ми языкахъ, которыми Л. Толстой свободно владѣетъ. Здѣсь можно найти всѣхъ классиковъ русской литературы и массу сочиненій по богословію. Наперекоръ духу конца нашего вѣка, Тертуліанъ и Василій Великій замѣняютъ собой Дарвина и Маркса, а холодныя, огромныя книги Спенсера уступили свое мѣсто толкованіямъ Евангелія.

Самъ хозяинъ и кабинета, и библіотеки, графъ Толстой, свободно допускаетъ къ себѣ каждого, кто вздумаетъ придти или пріѣхать къ нему. Онъ никогда не отказывается отъ разговора и поученія, и для всякаго у него есть, если не ласковое слово утѣшенія, то по крайней мѣрѣ всегда искреннее и правдивое слово. Слишкомъ многочисленныя посѣтители быть можетъ и утомляютъ его, но графъ не жалуется. Не жалуется онъ и на то, что многіе изъ этихъ посѣтителей вкривъ и вкось рассказываютъ о своихъ съ нимъ бесѣдахъ

въ различныхъ журналахъ и газетахъ. И назойливость, и ложь исчезаютъ какъ незамѣтная мутная струя въ морѣ обожанія и восторга, окружающемъ графа Толстого. Это обожаніе и восторгъ растутъ изо дня въ день и наперекоръ общему правилу растутъ по мѣрѣ того, какъ мы ближе знакомимся съ жизнью писателя и даже семейной его обстановкой. Въ этой жизни, какъ кажется, нѣтъ уже болѣе тайнъ: самъ графъ Толстой не считаетъ нужнымъ скрывать ничего, что касается его лично. Увлеченія и ошибки своей молодости, свои душевные муки, едва не доведшія его до самоубійства, онъ подробно и страстно описалъ самъ въ своихъ произведеніяхъ. Его поклонники, какъ Левенфельдъ, родственники, какъ Берсъ, рассказываютъ намъ объ обстановкѣ его жизни, которую видѣли собственными глазами. «У меня ни отъ кого на свѣтѣ нѣтъ никакихъ тайнъ! пусть всѣ знаютъ, что я дѣлаю, если хотятъ» — часто говорилъ Л. Толстой.

Эти его слова между прочимъ и позволяютъ намъ приступить къ его біографіи.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой родился 28-го августа 1828 года, слѣдовательно теперь онъ перешелъ уже предѣльный возрастъ, до котораго доживали русскіе писатели, за исключеніемъ очень немногихъ, напр. Державина, и однако ни его физическія силы, ни творческій геній не ослабли замѣтно: достаточно вспомнить, что всего 5 лѣтъ тому назадъ была создана «Крейцерова Соната», многія сцены которой могутъ идти вровень съ лучшими сценами «Войны и Мира».

Родоначальникомъ Л. Н. Толстого былъ современникъ и другъ Петра I-го, пожалованный за свои заслуги и между прочимъ за измѣну царевнѣ Софіи — Петръ Андреевичъ Толстой, потомокъ выходца изъ Пруссіи, носившаго прозваніе Dick, что по русски и значить «толстый». Отсюда и фамилія — Толстые. Графъ Петръ Андреевичъ занималъ важный дипломатическій постъ — былъ посломъ въ Константинополь, не разъ сиживалъ въ Семпашенномъ замкѣ въ случаѣ разногласія султана и императора, и по смерти завѣщалъ своему роду хорошее состояніе и легкую карьеру при дворѣ.

Браки Толстыхъ всегда были аристократическіе, безъ малѣйшаго признака *mésaillance*'а. Напр. мать Льва Николаевича — княжна Волхонская, бабушка — княжна Горчакова; бабушка по матери — княжна Трубецкая и т. д. Волхонскіе, Горчаковы, —

прямые потомки Рюрика и владѣтельныхъ рюриковичей. Самъ графъ Левъ Николаевичъ внѣшностью своей сильно напоминаетъ своего дѣда князя Николая Андреевича Волконскаго— (въ «Войнѣ и Мирѣ» Болконскаго) хотя значительно крупнѣе его фигурой. «У обоихъ открытый и высокій лобъ съ творческими шишками; музыкальныя шишки, далеко выдающіяся впередъ, покрыты густыми отвисшими бровями, изъ подъ которыхъ точно пропикають въ чужую душу небольшіе и глубокосидящіе сѣрые глаза». Значить вполне правъ былъ графъ Толстой, когда въ послѣдствіи, до вѣроученія впрочемъ, онъ находилъ источникъ гордости своей въ томъ, что онъ «чистый аристократъ». Кровь Толстыхъ на самомъ дѣлѣ втеченіи почти двухъ столѣтій была чиста отъ всякой примѣси какихъ нибудь различннхъ элементовъ. Портреты, украшающіе залу яснополянскаго дома, принадлежать всѣ безъ исключенія титулованнымъ особамъ, князьямъ и графамъ, въ звѣздахъ и лентахъ, генераламъ и тайнымъ совѣтникамъ. Родовое дерево князя Волконскаго поддерживаетъ святой Михаилъ, князь Черниговскій, погибшій когда-то смертью мученика въ ордѣ. Традиціи, унаслѣдованныя Толстымъ, — это традиціи стараго русскаго барства — обстоятельство, какъ мы это ниже увидимъ, далеко не лишнее интереса и своеобразнаго значенія. Это «старое барство» при Петрѣ Великомъ, переименованное изъ бояръ, стольниковъ, окольничихъ и т. д. въ совѣтники различныхъ категорій, стригло себѣ волосы, брило бороды, одѣвалось въ нѣмецкое платье, ѣздило въ заморскія страны, — мечтало объ «огражденіи правъ своихъ» и быть можетъ о чемъ нибудь даже большемъ при Петрѣ II и Іоаннѣ VI, — вынесло жестокую ферулу Бирона при Аннѣ Іовановнѣ, расплатившись полностью за свои конституціонныя мечтанія, — достигло небывалаго расцвѣта при дворѣ Екатерины, гордо замкнулось въ своихъ усадьбахъ при Павлѣ Петровичѣ, — стояло впереди русскаго общества при Александрѣ I, впервые проникшись тутъ духомъ народолюбія и западными просвѣтительными идеями, и оказалось почти не у дѣлъ въ царствованіе императора Николая. Умственный расцвѣтъ этого стараго барства — первая четверть нашего вѣка, — эпоха, къ которой всегда съ особенной любовью обращался графъ Толстой, почерпнувъ изъ нея содержаніе своей гениальной эпопеи «Война и Миръ» и начатыхъ, но неоконченныхъ «Декабристовъ». Старое барство безпокойно волновалось тогда, искало правды и обновленія въ

массонствѣ, мистицизмѣ «дѣятельной добродѣтели»; составляло глухую оппозицію Аракчееву, Магницкому и Рунпчамъ, и послѣ безумныхъ по полному отсутствію какой-бы то ни было программы декабрьскихъ дней опять затолкалось и заинтриговало на дорожкахъ военной или придворной карьеры. Своеобразная сословная гордость отличала это старое русское барство, и для лучшихъ его представителей мужикъ и народъ были несомнѣнно всегда ближе, родственнѣе и понятнѣе, чѣмъ разночинецъ, торгошъ или иной какой нибудь представитель третьяго сословія. Свою антипатію къ этимъ новымъ элементамъ русскаго общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и народолубіе, старое барство стало высказывать уже со временъ Радищева, и не разъ высказывалъ ее, какъ мы увидимъ ниже, и графъ Л. Н. Толстой.

Отецъ графа Л. Н. Толстого, подполковникъ Павлоградскаго гусарскаго полка, Николай Ильичъ Толстой участвовалъ въ кампаніи 12-го и 13-го годовъ. Видный, плѣнительный мужчина, пользовавшійся большимъ успѣхомъ въ свѣтѣ, онъ получилъ отъ отца своего, графа Ильи Андреевича, совершенно разоренное состояніе. Чтобы не положить тѣни на память отца, онъ, какъ Николай Ростовъ въ «Войнѣ и Мирѣ», удовлетворилъ всѣхъ кредиторовъ и остался совершенно не причемъ. На рукахъ его была старая мать, урожденная княжна Горчакова, привыкшая, разумѣется, къ роскошной и не думающей о завтрашнемъ днѣ жизни, и родственница Т. А. Ергольская, впоследствии воспитавшая Льва Николаевича и жившая съ нимъ до самой своей смерти. На скромное жалованье офицера Николай Ильичъ существовать не могъ, и родственники его для поправленія обстоятельствъ прибѣгли къ обычному средству стараго барства и женили его на немолодой, некрасивой княжнѣ Марьѣ Ивановнѣ Волконской, единственной наслѣдницѣ одного изъ богатѣйшихъ русскихъ вельможъ. Эта семейная исторія послужила впоследствии канвой для другой исторіи, съ такой поэтической прелестью рассказанной въ «Войнѣ и Мирѣ». Разореніе семейства Ростовыхъ, расчетъ съ кредиторами, выходъ Николая Ростова въ отставку, его женитьба на некрасивой княжнѣ Волконской извѣстны всякому русскому читателю. Но дѣйствительность преломилась сквозь призму поэзіи, и идеализируя преданія своей семьи и стараго барства вообще, графъ Толстой ввелъ цѣлую любовную эпопею между Николаемъ Ростовымъ и Марьей Волконской, почему на страницахъ романа бракъ является устроеннымъ по любви, а не по расчету. Каковъ-бы

однако онъ ни былъ, бракъ оказался вполне пристойнымъ. Родители Льва Николаевича жили преимущественно въ Ясной Полянѣ, и семейная жизнь ихъ протекала счастливо и безмятежно. Графиня Толстая, мать Льва Николаевича, умерла въ 1831 г., когда ей сыну было всего три года съ небольшимъ. 6 лѣтъ спустя сошелъ въ могилу и графъ Николай Ильичъ, и будущій великій писатель 9-ти лѣтъ отъ роду остался круглымъ сиротой.

Что были за люди родители графа Толстого, мы знаемъ очень мало. Портреты ихъ въ «Войнѣ и Мирѣ» (Николай Ростовъ и Марія Волконская) очевидно идеализированы, чтобы можно было положиться на нихъ, какъ на документъ. Въ романѣ Николай Ростовъ прекрасный хозяинъ, влюбленный въ свою жену, духовность и нѣжность ея натуры, — человекъ недалекий, недолгобливающийъ разсужденій и неумѣющийъ разсуждать, — прекрасный офицеръ и завидный служака, успокоившійся на томъ, что для разсужденій поставлены другіе, высшіе его, — и вмѣстѣ съ тѣмъ честная, открытая, непосредственная натура, обаяніе которой въ ея правдивости, хотя и узкой. Такой-же характеръ и у Вронскаго. Въ этихъ натурахъ нѣтъ разума, но есть разсудительность; нѣтъ героизма, но есть мужество; нѣтъ справедливости, но есть честь и честность. Они — исполнители, и мѣсто самостоятельнаго мышленія для нихъ замѣняютъ приказанія и указанія. Что именно такимъ не былъ отецъ Льва Николаевича, это можно утверждать навѣрное, и одинаково навѣрное можно утверждать, что во многомъ портретъ и подлинникъ схожи между собою. Графъ Николай Ильичъ во всякомъ случаѣ не былъ творческой натурой, что никакъ нельзя сказать о его женѣ. Про эту послѣднюю разсказываютъ, что «когда она, въ молодости, бывала на балахъ, то собирала вокругъ себя въ уборной молодыхъ дѣвушекъ и занимала ихъ ею же выдуманными сказками. Напрасно ждали кавалеры въ большой залѣ своихъ дамъ: тѣ не могли оторваться отъ сказокъ княжны Волконской». Въ «Войнѣ и Мирѣ» княжна Марья, некрасивая и слезливая, очерчена однако такими нѣжными штрихами, что вся ея фигура является сотканной изъ тончайшихъ нитей и производитъ впечатлѣніе чего-то неземного, высокаго и истинно-христіанскаго, несмотря на суевѣріе и пристрастіе къ странницамъ и легендамъ. Болѣзненная даже духовность натуры, воображеніе мистически настроенное, жажда самоотреченія и самопожертвованія, чудная привѣтливость — мягкость характера, порывъ къ небу и вѣчное стремленіе

уходить со своими мечтами въ міръ, гдѣ нѣтъ болѣзни и печали—всѣмъ этимъ графъ Толстой надѣлалъ тотъ образъ, въ которомъ онъ хотѣлъ изобразить свою мать. И вообще всякая женщина, при созданіи которой графъ Толстой жилъ нѣжными воспоминаніями о своей безвременно умершей матери, является у него человѣкомъ не отъ міра сего, натурой мечтательной и съ экзальтированнымъ воображеніемъ, про какихъ говорятъ: не «умирають онѣ, а улетаютъ на небо».

По смерти матери, воспитаніемъ дѣтей — четырехъ мальчиковъ и одной дѣвочки, совсѣмъ крохотнаго ребенка,—занялась дальняя родственница Толстыхъ, Ергольская. Въ 1837 г. вся семья перѣехала изъ Ясной Поляны въ Москву, такъ какъ старшій братъ Льва Николаевича, Николай, долженъ былъ готовиться въ университетъ; но лѣтомъ того же года скоростижно умеръ графъ Николай Ильичъ, оставивъ послѣ себя пять человѣкъ дѣтей и очень разстроенное состояніе. Для сокращенія расходовъ часть семьи съ Ергольской вернулась опять въ Ясную Поляну. Дѣтей разумѣется учили, и учителями были и гувернеры-нѣмцы—одинъ изъ которыхъ достигъ безсмертія подъ именемъ Карла Ивановича въ «Отрочествѣ», — и русскіе семинаристы въ тиковыхъ сюртукахъ, съ удареніемъ на «о».

По свидѣтельству покойной тетки Льва Николаевича, П. И. Юшковой, «въ дѣтствѣ онъ былъ очень шаловливъ, а отрокомъ отличался *странностью*, а иногда *неожиданностью* поступковъ, живостью характера и прекраснымъ сердцемъ» (Берсъ).

П. И. Юшкова рассказывала Берсу, что «однажды въ пути на почтовыхъ лошадяхъ, когда всѣ уже усѣлись въ экипажи, стали искать Льва Николаевича, который былъ тогда мальчикомъ. Въ это время голова его высунулась въ окнѣ станціи со словами «*ma tante, я сейчасъ выхожу*»! Половина головы его была обстрижена. Фантазія обстричь голову во время короткой остановки повидимому не объяснялась никакою надобностью.

Самъ Левъ Николаевичъ рассказывалъ при Берсѣ въ семейномъ кругу, что въ дѣтствѣ, лѣтъ семи или восьми, онъ возымѣлъ страстное желаніе *полетать по воздуху*. Онъ вообразилъ, что это вполнѣ возможно, если сѣсть на корточки и обнять руками свои колѣна; при этомъ, чѣмъ сильнѣе сжимать колѣна, тѣмъ выше можно полетѣть. Мысль эта долго не давала ему покоя, и наконецъ онъ рѣшилъ привести ее въ исполненіе. Онъ заперся въ классную комнату, влѣзъ на окно и въ точ-

ности исполнилъ все задуманное. Онъ упалъ съ окна на землю съ высоты около двухъ съ половиной сажеей, отшибъ себѣ ноги и не могъ встать, чѣмъ не мало напугалъ домашнихъ. Таковы немногіе—(слишкомъ даже!)—подлинныя факты изъ дѣтства великаго писателя.

Это время уже послужило Толстому темой для его перваго произведенія «Дѣтства», напечатаннаго въ «Современникѣ» 1852 года. Разумѣется, какъ во всемъ, что вышло изъ подъ пера Толстого, такъ и здѣсь, правда и вымыселъ переплетаются; но можно замѣтить, что въ художественной фантазіи Толстого есть одна характерная черта: всѣ свои усилія она сосредоточиваетъ не на томъ, чтобы отдѣлаться отъ дѣйствительности, а напротивъ, чтобы освѣтить и одухотворить ее. Въ большинствѣ произведеній Толстого героемъ является онъ самъ, его собственное душевное настроеніе, несомнѣнно имъ пережитое и переживуемое. На эти произведенія мы смѣло можемъ положиться, какъ на автобіографическіе документы изъ области духовной жизни писателя.

Герой «Дѣтства», Николенька Иртеньевъ, въ разсказѣ, который ведется отъ его лица, знакомитъ насъ со всѣми своими дѣтскими впечатлѣніями и лицами его окружавшими. Мать и отецъ, нѣмецъ-гувернеръ Карлъ Ивановичъ Мауэръ, братъ Володя и сестра Любочка, нянька Наталья Савишна, кородивый Гриша—всѣ эти люди описаны съ удивительною художественностію, и ихъ разговоры, развлеченія, поступки переносятъ насъ въ давно минувшую эпоху стараго барства, его привольнаго, а подчасъ и разнузданнаго житья. Передъ нами семейная жизнь, гдѣ соблюдены всѣ приличія, гдѣ вышній лоскъ закрылъ ея зло и неправду,—страдалица мать, мистическая и экзальтированная натура,—принципы порядочнаго комилфотнаго существованія, безпечнаго и неодухотвореннаго ипчѣмъ высокимъ.

Самъ Николенька, наслѣдовавшій отъ матери свою впечатлительность, свою наклонность къ мечтанію, свою неуравновѣшанную талантливую натуру—полностью обрисованъ въ первыхъ же сценахъ.

Онъ просыпается съ «разстроенными нервами» и чувствуетъ себя до глубины души обиженнымъ тѣмъ обстоятельствомъ, что его добродушный гувернеръ Карлъ Ивановичъ неловко убилъ хлопнушкой муху надъ его кроватью. За чувствомъ обиды какъ-то сразу слѣдуетъ раскаяніе, а затѣмъ слезы.

На вопросъ, почему онъ плачетъ, мальчикъ сказалъ, что «плачетъ отъ того, что видѣлъ дурной сонъ: будто—татан умерла, и ее несутъ хоронить». Все это онъ выдумалъ, но когда Карлъ Ивановичъ, тронутый разсказомъ, сталъ утѣшать и успокаивать его, ему показалось, что онъ точно видѣлъ страшный сонъ, и «слезы поплились уже отъ другой причины». Но еще нѣсколько минутъ, и мрачное настроеніе смѣнилось безпричинной веселостью и шаловливостью. За какихъ-нибудь полчаса и гнѣвъ, и обиженность, и раскаяніе, и слезы, и веселье.

Мальчикъ въ классной. Отсюда изъ оконъ на право видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большіе до обѣда. Бывало покуда поправляетъ Карлъ Ивановичъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь черную головку матушки, чью нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ,—такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю? Досада перейдетъ въ грусть: Богъ знаетъ отъ чего и о чемъ такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Ивановичъ сердится за ошибки.

Уже по этимъ нѣмъ подобнымъ сценамъ вы видите передъ собой даровитую, неуравновѣшанную натуру, съ удивительно чуткими нервами, себялюбивую и увлекающуюся, не умѣющую ни на йоту владѣть собой и сосредоточиваться на томъ, что нужно и приказано. Неожиданные рѣзкіе переходы отъ одного къ другому, преобладаніе чувствительности, застѣнчивость съ одной стороны, желаніе всѣмъ нравиться и стать на первомъ планѣ съ другой—подготавливаютъ читателя къ будущему, гдѣ ребенка ждетъ столько ошибокъ, увлеченій, разочарованія, столько мучительныхъ минутъ раскаянія и сокрушенія о грѣхахъ своихъ.

Мучительный разладъ между мечтою и дѣйствительностью, т. е. тотъ самый, который впоследствии такъ тяжело далъ себя почувствовать Толстому—начался очень рано уже въ дѣтскіе годы: мальчику хочется сидѣть на балконѣ вмѣстѣ съ большими, а вмѣсто этого его заставляютъ въ классной заниматься діалогами и диктантами; онъ хочетъ всѣмъ нравиться, быть находчивымъ, выдержаннымъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ свою полную неприспособленность къ этому; его мучаетъ даже некрасивое лицо, непокорные вихристые волосы, широкій носъ, маленькіе сѣрые глаза. Спасеніе отъ всѣхъ этихъ бѣдствій онъ ищетъ въ мечтѣ, которой предается до одуренія, до полного умственного наркоза. Онъ еще не

знаетъ страданія, но слишкомъ уже хорошо знакомъ съ грустью и даже любить грустить, любить уходить въ созерцаніе и смакованіе собственнаго своего подчасъ выдуманнаго страданія, и вы чувствуете, какъ будущій князь Нехлюдовъ—этотъ ненужный и неумѣлый, хотя и порывисто благородный баричъ, готовится въ обстановкѣ, гдѣ родился и росъ Николинъка Иртеневъ.

Въ 1840 г. умерла опекушка сиротъ Толстыхъ, графиня Остенъ-Саксенъ, и опека перешла къ ихъ теткѣ П. И. Юшковой, жившей съ мужемъ въ Казани, куда и переѣхала вся семья Толстыхъ. Въ Казань же перешелъ изъ московскаго университета и старшій братъ Николай.

П. И. Юшкова, богатая знатная дама, принимала въ своей гостиной все «лучшее общество», и въ ея домѣ уже не было и помину о простой ясно-полянскій жизни; напротивъ, все отъ обихода до взглядовъ свидѣтельствовало о роловитости, богатствѣ, связяхъ. Здѣсь, какъ мы скоро увидимъ, полностью расцвѣли и распустились комилфотныя стремленія Льва Николаевича. Все этому способствовало, и самая атмосфера юшковскаго дома, казалось, была проникнута заботой о томъ, чтобы все было на лучшій ладъ. Сама Юшкова мечтала для своихъ титулованныхъ племянниковъ о карьерѣ дипломатовъ или флигель-адъютантовъ. Ни въ чемъ другомъ не видѣла она смысла и счастья, какъ въ густыхъ эполетахъ, большихъ доходахъ, полной независимости. Сохранилось и ея изреченіе: *rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme-il-faut*, т. е. ничто такъ не полезно для молодого человѣка, какъ связь съ порядочною женщиной. Этой связи она, разумѣется, желала и для Льва Николаевича.

Съ переѣздомъ въ Казань закончилось и дѣтство Толстого. Почти неувидимые и неопредѣлимые штрихи отдѣляютъ эту первую пору жизни человѣческой отъ второй—отрочества, и чтобы охарактеризовать эти штрихи, обратимся опять къ духовной автобіографіи нашего писателя.

«Случалось ли вамъ, читатель—спрашиваетъ онъ—въ извѣстную пору жизни вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ будто все предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстной еще стороною. Такого рода моральныя перемены произо-

шла во мнѣ въ первый разъ, во время нашего путешествія, съ котораго я и считаю начало моего отрочества.

«Мнѣ въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего общаго не имѣющихъ съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существовании. Безъ сомнѣнія, я и прежде зналъ все это, но зналъ не такъ, какъ я это узналъ теперь, не сознавалъ, не чувствовалъ.

«Когда я глядѣлъ на деревни и города, которые мы проѣзжали, въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило по крайней мѣрѣ такое-же семейство, какъ наше; на женщинъ, дѣтей, которые съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ; на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ, — мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ, что-же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? Изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дѣтей, учатъ-ли ихъ, пускаютъ-ли играть, какъ наказываютъ?..

«Между дѣвочками и нами появилась какая-то невидимая преграда: у нихъ и у насъ были уже свои секреты, какъ будто онѣ гордились передъ нами своими юбками, которые становились длиннѣе, а мы своими панталонами въ рейтузахъ».

Кончилось дѣтство—эта счастливая невозвратимая пора. Ребенокъ, все время жившій только собой и для себя, вдругъ неожиданно рассмотрѣлъ передъ глазами обширный Божій міръ, съ милліонами такихъ-же людей, какъ и онъ самъ,—людей, погруженныхъ въ собственныя думы, радости, печали. Онъ не созналъ, да и не могъ еще сознать, своего мѣста въ этомъ обширномъ Божіемъ мірѣ: онъ не сознавалъ, да и не могъ еще сознать, тѣхъ отношеній, въ которыя онъ вступить и долженъ будетъ вступить съ этими милліонами ему подобныхъ, но онъ въ минуту прозрѣнія почувствовалъ себя частицей чего-то огромнаго, сложнаго, необъятнаго. Рамки дѣтскаго эгоизма раздвинулись и кончилось дѣтство. А какъ жаль, что кончилось оно.

«Послѣ молитвы—пишетъ Толстой—завернешься бывало въ одѣяльце; на душѣ легко, свѣтло и отрадно; одни мечты гонять другія,—но о чемъ онѣ? Онѣ неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на свѣтлое счастье. Вспомнишь бывало о Карлѣ Ивановичѣ и его горькой участи—единственномъ человѣкѣ, котораго я зналъ несчастливимъ—и такъ жалко становъ, такъ полюбишь его, что слезы потекутъ изъ глазъ, и думаешь: дай Богъ ему счастье, дай мнѣ возможность помочь ему, облегчить его горе; я всѣмъ готовъ для него пожертвовать... Потомъ любимую фарфоровую игрушку—зайчика или собачку—уткнешь въ

угодь пуховой подушки и любуешься, какъ хорошо, тепло и уютно ей тамъ лежать. Еще помолишься о томъ, чтобы Богъ далъ счастья всѣмъ, чтобы всѣ были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бокъ, мысли и мечты перепутаются, смѣшаются и уснешь тихо, спокойно, еще съ морщью отъ слезъ лицомъ»...

Кончилось дѣтство.

«Вернутся-ли когда нибудь—продолжаетъ Толстой—та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели,—невинная веселость и непредѣльная потребность любви—были единственными побужденіями въ жизни?»

«Гдѣ тѣ горячія молитвы, гдѣ лучший даръ—тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангель-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и навѣвалъ сладкія грезы неспорченному дѣтекому воображенію.

«Неужели жизнь оставила такія тяжелыя слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались однѣ воспоминанія?»

Но и однѣ воспоминанія, особенно такія чистыя, свѣтлыя, святыя, которыя сохранилъ Толстой на всю жизнь — ужасно много значать. У многихъ-ли остались они? да и этихъ немногихъ съ каждымъ днемъ становятся все меньше и меньше!

Въ Казани у Льва Николаевича былъ учитель и гувернеръ «St. Thomas,» описанный имъ въ послѣдствіи подъ именемъ m-г Жерома. Этотъ-то «St. Thomas» и подготовилъ его къ поступленію въ университетъ.

Въ университетъ въ то время молодые баричи поступали очень рано, кто 14-ти, 15-ти, кто 16-ти лѣтъ,—поступали не изъ гимназій, какъ теперь, а прямо изъ классной помѣщичьяго дома, гдѣ большинство получало, разумѣется, подготовку очень сомнительную. Впрочемъ и въ стѣнахъ высшаго учебнаго заведенія наука не находилась въ особенной чести. и смѣло можно спросить себя: была ли она на самомъ дѣлѣ? Разумѣется, читались лекціи и внѣшній видъ научности соблюдался; но далѣе, глубже не забирались ни профессора, ни студенты. Громкія названія факультетовъ, вродѣ морально-политическаго, и предметовъ, какъ напр. эстетика, не должны смущать читателя: хорошихъ профессоровъ, особенно въ провинціи, или совсѣмъ не было, или они должны были молчать, ограничиваясь чтеніемъ записокъ, тщательно разсмотрѣнныхъ, проредактированныхъ, процензурованныхъ и прои-

изреченіе императора Николая Павловича: «и архіереямъ нельзя давать всякую книгу»; что же послѣ этого могли слышать студенты. Буря, пронесшаяся надъ русскими университетами во времена Магницкаго и Рунича, когда анатомію преподавали не по скелету, а по полотенцу, а въ карцерѣ для провинившихся слушателей морально-политическихъ и иныхъ наукъ висѣла картина Страшнаго суда—была еще въ памяти у всѣхъ; готовилась и новая буря, которой не много дѣтъ спустя предстояло разразиться надъ лучшимъ изъ университетовъ той эпохи—московскимъ. Наука, повторяю, въ чести не была, да, въ сущности, никто и не чувствовалъ въ ней ни малѣйшей надобности: государство поддерживало и содержало ее совсѣмъ не потому, что ему нужны были ученые юристы и знатоки римскихъ древностей, а просто, чтобы не ударить въ грязь лицомъ передъ Европой и не разрушать дѣла, начало которому было положено великой Екатериной. Интеллигенція только что возникала въ то время, а общества не было совершенно. Контингентъ студентовъ пополнялся главнымъ образомъ изъ дворянъ и помѣщичьихъ дѣтей. Странно даже спрашивать себя, зачѣмъ нужна была наука владѣльцу столькихъ-то и столькихъ-то душъ?.. Правда, университетскій дипломъ давалъ извѣстныя привилегіи по службѣ и право на штабъ-офицерскій чинъ, но кто же не знаетъ, что привилегіи университетскаго диплома ничто и даже меньше того сравнительно съ привилегіями рожденія, богатства, связей. Поэтому-то атмосфера ненужности, одинаково понятной и для профессоровъ и для студентовъ, наполняла собою университетскія аудиторіи и кабинеты; не слышалось живого слова, не видно было горячаго увлеченія, и чѣмъ-то затхлымъ и скучнымъ отзываются и наука, и лекціи того времени. Даже даровитые юноши, обладавшіе жаждой познанія и рвавшіеся къ источнику истины, быстро охладѣвали, переступивъ университетскій порогъ. Уже вступительный экзамень, на которомъ такъ много значила протекція, знакомство, взятка, нарушалъ невинность мечты, и нѣсколько выслушанныхъ лекцій вызывала сначала недоумѣніе, потомъ недовольство и наконецъ отвращеніе. Оставался, слѣдовательно, синій воротничекъ студенческаго сюртука, шпага гражданского вѣдомства и возможность считать себя большимъ. Большинство, разумеется, вполне этимъ удовлетворялось тогда, какъ удовлетворяется оно и въ настоящее время.

«Бурна была, говорить проф. Загоскинъ, жизнь казанскаго студенчества 40-хъ и 50-хъ годовъ. Хранящіяся въ архивѣ мѣстнаго университета дѣла по инспекціи и канцеляріи попечителя представляютъ собою цѣлые томы производства по поводу зазорнаго поведенія студентовъ и даютъ длинную хронику скандаловъ и безобразій болѣе или менѣе публичнаго характера, борются съ которыми были безсилны всѣ строгости университетской инспекціи того времени. О гомерическихкихъ кутежахъ и попойкахъ мы уже не говоримъ: они носили положительно хроническій характеръ; весь избытокъ жизни уходилъ на кутежи. Бывали конечно примѣры и студентовъ-аристократовъ, которые не чужды были безобразій, довольно таки колоссальнаго характера, какія учинялъ напр. симбирскій уроженецъ, князь Ч—евъ, развлекавшійся тѣмъ, что, вооружившись духовымъ ружьемъ, съ чердака обстрѣливалъ и держалъ въ постоянномъ осадномъ положеніи всю Поперечно-Красную улицу,—не говоря уже о цѣломъ рядѣ другихъ безобразій, которыми ознаменовалъ этотъ князекъ свое пребываніе въ университетѣ. Но говоря вообще, студенты-аристократы чуждались бурнаго разгула казанскихъ буршей стараго времени и образывали свою особую группу, впадая при этомъ въ другую крайность—увлеченіе свѣтскою жизнью, наслажденіями болѣе тонкаго и космофотнаго разврата... Балы, вечера, пикники, спектакли, живыя картины (въ которыхъ, кстати сказать, съ большимъ успѣхомъ принималъ участіе и Л. Н. Толстой), рысаки, женщины—составляли альфу и омегу этихъ самодозвонныхъ барчатъ, которые поступали въ университетъ, сами не зная для чего. Юридическій факультетъ особенно избивалъ юношами этой гослѣдней категоріи».

Лучшимъ изъ факультетовъ въ Казани былъ повидимому математическій, гдѣ подвизался въ то время Лобачевскій, но Л. Н. Толстой нѣсколько неожиданно поступилъ на факультетъ восточныхъ языковъ. Случилось это въ 1843 году, когда будущему писателю исполнилось всего 15 лѣтъ. Съ этого времени графъ Толстой считаетъ начало своей юности: гдѣ же *отрочество*?

Представивъ себѣ обстановку барскаго юшковскаго дома и плоскій идеалъ космофотнаго существованія, при которомъ связь съ порядочной женщиной считается лучшимъ средствомъ, чтобы «оформить» молодого человека, читатель легко пойметъ, какъ съ внѣшней стороны жилось графу Толстому, а эти

три года (1840—1843). Важныхъ опредѣляющихъ событій никакихъ; французъ - гувернеръ, смѣнившій нѣмца - дядьку, обучаетъ манерамъ и языкамъ; есть еще каждый день уроки русскаго языка, исторіи, математики, которые даются не-благодарными семинаристами, съ удареніемъ на «о»; есть балы, праздная прогулка и катанья.

«Весело, очень весело жили въ Казани въ ту дореформенную пору—продолжаетъ проф. Загоскинъ—конечно въ высшихъ сферахъ общества, дававшихъ главный колоритъ мѣстной общественности. Широкій размахъ казанской великосвѣтской жизни 40-хъ и 50-хъ годовъ носилъ характеръ послѣдней агоніи крѣпостного строя старой Россіи и давалъ себя особенно сильно чувствовать по зимамъ. Казань служила центромъ, къ которому тяготѣло все среднее Поволжье и Прикамье, являясь по отношенію къ нимъ маленькой столицей. Сюда съѣзжались на зиму богатые помѣщичьи семьи, съ тѣмъ, чтобы повеселиться здѣсь послѣ лѣтней деревенской жизни, сдѣлать заказы, обшиться и придѣться, отдать въ ученіе подроставшихъ ребятъ, а при случаѣ подыскать приличную партію и дочкамъ своимъ... Гостеприимство было широкое, барское, котораго теперь нѣтъ уже и въ поминѣ. Холодному человеку, напр., можно было вовсе не имѣть у себя стола, т.-е. существовало по крайней мѣрѣ 20—30 домовъ, куда ежедневно сходились обѣдать много лицъ безъ всякаго приглашенія. День распределялся такъ: скорѣй послѣ окончанія обѣда, выпивъ кофе и поболтавъ о всякой-всячинѣ, всѣ отправлялись по домамъ спать, что составляло общее обыкновеніе. Вечеромъ снова ѣхали куда-нибудь на раутъ или балъ, всегда заканчивавшійся лукулловскимъ ужиномъ; такія торжества затягивались далеко за полночь, и нерѣдко гостямъ приходилось возвращаться домой въ 5—6 часовъ утра. На слѣдующій день вставали часовъ въ 12, чтобы начать продѣлывать то же самое... Да, весело жили наши дѣды, но въ то же время и пусто до тошноты...»

По внѣшности, казанскій періодъ самый бѣдный, по внутреннему своему содержанію, — одинъ изъ самыхъ богатыхъ. Нечего и говорить, что излишняя восприимчивость и склонность къ анализу не только не исчезли, но теперь-то и распускаются полностью. Неожиданныя эмоціи, произвольная почти смѣна настроеній портятъ мальчику жизнь; наркозъ мечты является по прежнему главнымъ источникомъ болѣзненнаго наслажденія: этимъ ядомъ графъ Толстой (или Николинъ Иртеньевъ) продолжаетъ отравлять себя при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Безпричинныя слезы и безпричинное раздраженіе говорятъ о разстроенныхъ, слишкомъ чувствительныхъ нервахъ, созданныхъ нездоровой наслѣдственностью отъ утомленныхъ предковъ. Застѣнчивость заставляетъ запрягивать глубоко-глубоко въ душу и

свою доброту, и жажду любви, отчасти прежней чистой и свѣтлой, отчасти и новой, въ которой есть уже влеченіе къ женщинѣ.

Николинька Иртеневъ цѣлые часы проводить на площадкѣ:

«безъ всякой мысли, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваясь къ малѣйшимъ движеніямъ, происходящимъ наверху», или, «притаившись за дверью, съ тяжелымъ чувствомъ зависти и ревности слушаетъ возню въ дѣвичьей» и обсуждаетъ вопросъ: «каково было-бы его положеніе, ежели-бы онъ пришелъ наверхъ и такъ-же, какъ братъ, захотѣлъ-бы поцѣловать горничную Машу». Но рѣшиться на это онъ не смѣетъ и попадаетъ подчасъ въ довольно глупое положеніе, слыша, какъ Маша говоритъ брату: «вотъ наказаніе! что-же вы, въ самомъ дѣлѣ, пристали ко мнѣ... идите отсюда, шалунъ эдакій... Отчего Николай Петровичъ никогда не ходитъ сюда и не дурачится».. А бѣдный Николай Петровичъ сидитъ въ эту минуту подъ лѣстницей и все на свѣтѣ готовъ отдать, чтобы только быть на мѣстѣ шалуна брата.

Широкій носъ, некрасивое лицо мучаютъ по прежнему и даже сильнѣе прежняго.

«Я былъ стыдливъ отъ природы—разсказываетъ Толстой—но стыдливость моя еще увеличилась убѣжденіемъ въ моей уродливости. А я убѣжденъ, что ничто не имѣетъ такого разительнаго вліянія на направленіе человѣка, какъ наружность его, и не столько самая наружность, сколько убѣжденіе въ привлекательности или непривлекательности ея... Я былъ слишкомъ самолюбивъ, чтобы привыкнуть къ своему положенію, утѣшался какъ лисица, увѣряя себя, что виноградъ еще зеленъ, т. е. старался презирать все удовольствія, доставляемыя пріятной наружностью, которымъ я отъ души завидывалъ, и напрягалъ все силы своего ума и воображенія, чтобы находить наслажденіе въ гордомъ одинокствѣ»...

Передъ нами опять мотивы дѣтства, но обострившіеся, болѣе мучительные, оттого что болѣе себялюбивые... Громадный запасъ чувствительности, какъ жидкость изъ переполненной посуды, при малѣйшемъ толчкѣ выливается черезъ край. Настроеніе деспотически владѣетъ мальчикомъ, заставляя его продѣлывать самыя дикія и несообразныя вещи. Учитя онъ не то чтобы плохо, а безпорядочно, не зная середины, то увлекаясь, то чувствуя полнѣйшее отвращеніе. Онъ очевидно боленъ, и боленъ прежде всего богатствомъ своей неуравновѣшанной, слишкомъ нервной натуры.

На него находить порою странность:

«Вспоминая свое отрочество—пишетъ онъ—и особенно то состояніе духа, въ которомъ я находился въ одинъ несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самаго ужаснаго

преступления, безъ пѣли, безъ желанія вредить, но такъ... изъ любопытства, изъ безсознательной потребности дѣятельности... Бываютъ минуты, когда будущее представляется человѣку въ столь мрачномъ свѣтѣ, что онъ боится останавливать на немъ свои умственные взоры, прекращаетъ въ себѣ совершенно дѣятельность ума и старается убѣдить себя, что будущаго не будетъ и прошедшаго не было. *Въ такія минуты*, когда мысль не обживаетъ впередъ каждаго опредѣленія воли, а единственными пружинами жизни остаются плотскіе инстинкты, я понимаю, что, ребенокъ, по неопытности особенно склонный къ такому состоянію, безъ малѣйшаго колебанія и страха, съ улыбкой любопытства раскладываетъ и раздуваетъ огонь подъ собственнымъ домомъ, въ которомъ спать его братья, отецъ, мать, которыхъ онъ нѣжно любить»...

Въ такія минуты мальчикъ начинаетъ бить, что попало подъ руку, дерется съ своимъ гувернеромъ и совершаетъ одинъ дикій поступокъ за другимъ, въ состояніи полной невмѣняемости. Онъ и самъ не знаетъ, что, какъ и зачѣмъ, и чувствуетъ лишь обиду и страданіе.

— «Оставьте меня,—кричитъ онъ сквозь слезы—никто вы не любите меня, не понимаете, какъ я несчастливъ! Всѣ вы гадки, отвратительны»...

Матери, которая поняла бы ребенка въ эти минуты и одна могла бы успокоить его своимъ ласковымъ любящимъ словомъ — нѣтъ, и бѣдное обиженное маленькое сердце ищетъ утѣшенія или лучше забвенія въ фантастическихъ мечтахъ:

«То мнѣ приходитъ въ голову, что должна существовать какая нибудь неизвѣстная причина общей ко мнѣ нелюбви и даже ненависти. (Въ то время я былъ твердо убѣжденъ, что всѣ, начиная отъ бабушки и до Филиппа кучера, ненавидятъ меня и находятъ наслажденіе въ моихъ страданіяхъ). Я должно быть не сынъ моей матери и моего отца, а несчастный сирота, подкидышъ, взятый изъ милости, говорю я самъ себѣ; и нелѣпая мысль эта не только доставляетъ мнѣ какое-то *грустное утѣшеніе*, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мнѣ *отрадно* думать, что я несчастенъ не потому, что виноватъ, но потому, что такова моя судьба съ самаго моего рожденія, и что участь моя похожа на участь несчастнаго»...

Мечта работаетъ съ болѣзненной настойчивостью. Мальчикъ воображаетъ себя то подкидышемъ, то гусарскимъ генераломъ, то въ гробу, и живетъ своимъ воображеніемъ, совершенно забывая, гдѣ онъ и кто онъ.

«Послѣ сорока дней, думаетъ онъ напр.,—душа моя улетаетъ на небо; я вижу тамъ что-то удивительно прекрасное, *блѣднѣе*,

прозрачное, длинное, и чувствую, что это моя мать. Это что-то бѣлое окружаетъ, ласкаетъ меня, но я чувствую беспокойство и какъ будто не узнаю ея. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мнѣ лучше, чтобы я могъ обнять тебя. И мнѣ отвѣчаетъ ея голосъ: «здѣсь мы всѣ такіе, я не могу лучше обнять тебя. Развѣ тебѣ не хорошо такъ?»—Нѣтъ, мнѣ очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня и я не могу цѣловать твоихъ рукъ...—«Не надо этого, здѣсь и такъ прекрасно»—говоритъ она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вмѣстѣ съ ней летимъ все выше и выше»...

Мальчикъ упивается мечтами до одуренія и пресыщается ими. Онъ даже принуждаетъ себя мечтать, чтобы только забыть и вернуть блаженные минуты опьяненія. Какъ настоящий «алкоголикъ», онъ пьетъ мечту, когда она уже противна ему.

Здоровыя мысли и чувства не могутъ вырасти на этой почвѣ. Мы можемъ ожидать всего худшаго, и на самомъ дѣлѣ мальчикъ скоро начинаетъ ненавидѣть своего гувернера. «Да—разсказываетъ онъ,—это было настоящее чувство ненависти,—не той ненависти, про какую пишутъ только въ романахъ и въ какую я не вѣрю,—ненависти, которая будто бы находитъ наслажденіе въ дѣланіи зла человѣку,—внушаетъ вамъ непреодолимое отвращеніе къ человѣку, заслуживающему однако ваше уваженіе, дѣлаетъ для васъ противными его волосы, походку, шею, звукъ его голоса, всѣ его члены, всѣ его движенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ какою-то непонятною силою притягиваетъ васъ къ нему и съ беспокойнымъ вниманіемъ заставляетъ слѣдить за малѣйшими его поступками».

Но откуда все это? Откуда такая ожесточенная ненависть, откуда столько страданія? Казалось бы, мальчику живется хорошо. Его никто не обижаетъ и никто его не унижаетъ, никакихъ лишеній онъ не терпитъ; напротивъ, онъ окруженъ и лаской, и вниманіемъ. Вокругъ него семья, которую онъ любитъ и которая его любитъ. Почему же нѣтъ счастья и нѣтъ удовлетворенности, почему душа беспокойно мечется въ обстановкѣ, которая по всей истинѣ и справедливости можетъ удовлетворить любого смертнаго? Но капризное, неуравновѣшанное чувство, слишкомъ прихотливое и требовательное, ищетъ чего-то большаго, совершеннаго, и вмѣсто радости то и дѣло погружается въ тоску и мрачное уныніе. Причина такой странности заключается, кажется, въ томъ, что гениальныя натуры вообще плохо приспособляются къ какимъ бы то ни было условіямъ нашего земного существованія, или,

какъ краснорѣчиво выражается Брандесъ, носить «печать Кайна на челѣ». Онѣ слишкомъ нѣжны. Незамѣтный для обыкновеннаго смертнаго толчокъ вызываетъ въ нихъ боль и страданіе; та же чуткость дѣлаетъ ихъ непомерно требовательными и обидчивыми. Мало того, въ годы дѣтства и юности онѣ рѣдко бываютъ сами собой; минутное настроеніе такъ деспотически владѣетъ ими, что онѣ постоянно кого-то и что-то изображаютъ: то страдальца, то меланхолика, то человѣка, презирающаго все и вся. Вообразивъ себя тѣмъ или другимъ, онѣ поступаютъ по воображенію,—обстоятельство, которое и позволяетъ намъ понять общую характеристику, данную Толстымъ своему «отрочеству».

«По моему мнѣнію, говорить онѣ.—*несообразность* между положеніемъ человѣка и его моральной дѣятельностью есть *вѣрный признакъ истины*».

Какъ это такъ «несообразность» можетъ служить вѣрнымъ признакомъ истины? Это что-то вродѣ тертуліановскаго «вѣрю, потому что это безсмыслица». Однако Толстой правъ, но правъ не вообще, а лишь въ томъ случаѣ, когда имѣется въ виду болѣзненно-чуткая и напряженно-впечатлительная натура, такая т. е., которую Достоевскій мѣтко называлъ «фантастической».

Никакого противорѣчія въ такой психологической несообразности нѣтъ. Представьте себѣ на самомъ дѣлѣ, что вы идете ночью по незнакому лѣсу, идете въ одиночку и чего-то ежеминутно ожидаете. Страхъ и ожиданіе дѣлаютъ вашу впечатлительность значительно повышенною. Вы видите такъ, какъ никогда прежде не видѣли въ темнотѣ, слышите такъ, какъ не слышали никогда раньше; вы какъ будто различаете даже шумъ отъ упавшаго на землю древеснаго листа или шуршанье ползущаго насѣкомаго. Но эта-то чуткость, эта-то тонкость слуха и проницательность зрѣнія и обманываютъ васъ. Вы сознаете себя окруженнымъ всякими ужасами, которыхъ нѣтъ, потому что мозгъ вашъ ежеминутно получаетъ преувеличенныя представленія о внѣшнемъ мірѣ. Чтобы красивая рука не стала безобразной въ вашихъ глазахъ, не надо разсматривать ее въ лупу; чтобы жизнь не оттолкнула васъ отъ себя, не измучила бы васъ, не надо слишкомъ близко въ нее всматриваться. Такъ говорить благо-разуміе, т. е. послѣднее, чего слушаются выдающіяся натуры.

Та же болѣзненная чуткость вызываетъ и обуславливаетъ

нравственное одиночество, въ которомъ пребываютъ таланты и гении. На почвѣ этого одиночества вырастаютъ странныя мысли, странные вопросы.

«Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ моральную жизнь—разсказываетъ Толстой—всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ, и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему.

«Разъ мнѣ пришла мысль, что счастье не зависитъ отъ внѣшнихъ причинъ, а отъ нашего отношенія къ нимъ; что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ быть несчастливъ; и чтобы приучить себя къ труду, я, несмотря на страшную боль, держалъ по пяти минутъ въ вытянутыхъ рукахъ лексиконы Татищева или уходилъ въ чуланъ и веревкой стегалъ себя такъ больно по голой спинѣ, что слезы невольно выступали на глазахъ.

«Другой разъ, вспомнивъ вдругъ, что *смерть ожидаетъ меня каждый часъ*, каждую минуту, я рѣшилъ, не понимая, какъ не понимали того до сихъ поръ люди, что человѣкъ не можетъ быть иначе счастливъ, какъ пользуясь настоящимъ и не помышляя о будущемъ,—и я три дня подъ вліяніемъ этой мысли бросилъ уроки и занимался только тѣмъ, что лежа на постели наслаждался чтеніемъ какого нибудь романа и ѣдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые я покупалъ на послѣдніе деньги».

Мальчикъ умствуетъ въ своемъ произвольномъ одиночествѣ, мальчикъ чувствуетъ себя несчастнымъ и начинаетъ задумываться о смерти. Сколько отвлеченнаго въ направленіи его мысли и какъ мало связи между работой его мозга и впечатлѣніями окружающей дѣйствительности. Но мы уже видѣли, что въ дѣтствѣ Толстому очень хотѣлось полетать, и казалось, что это такъ просто: «стоитъ только обнять колѣнки покрѣпче руками»; и въ отрочествѣ у него та же жажда летанія, то же стремленіе непокорнаго духа отрѣшиться отъ земли и ея обыденныхъ, будничныхъ интересовъ. Мы уже предчувствуемъ, что онъ долженъ увлечься сомнѣніемъ, и долженъ увлечься имъ прежде всего потому, что жизнь не удовлетворяетъ его. Страданіе—же истинное или выдуманное—безразлично—ведетъ человѣка къ отрицанію. И самое полученное имъ воспитаніе не закрѣпило въ его головѣ ни одного твердаго правила: онъ и молился—то лишь по привычкѣ, исполняя какой-то обрядъ, а когда сверстникъ сказалъ ему, что не надо молиться, что смѣшно молиться,—онъ бросилъ это такъ легко, какъ будто сдуть пушинку со своей одежды.

«Я воображалъ—продолжаетъ онъ свой разсказъ—что кромѣ меня никого и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ, что предметы—не предметы, а образы, являющіеся только тогда, когда я на нихъ обращаю вниманіе, и что, какъ скоро я перестаю думать о нихъ, образы эти тотчасъ-же исчезаютъ. Были минуты, что я подъ влияніемъ этой постоянной идеи доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался въ противоположную сторону, надѣясь врасплохъ застать пустоту (néant) тамъ, гдѣ меня не было.

Изъ всего этого тяжелого моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабѣвшей во мнѣ силы воли и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтоживъ свѣжесть жизни и ясность разсудка».

Разумѣется, всѣ эти мысли и мыслишки кажутся мальчику въ высшей степени оригинальными и питаютъ его гордость. Съ сознаниемъ собственного достоинства и превосходства смотреть онъ на остальныхъ смертныхъ, но—

«странно—разсказываетъ онъ,—приходи въ столкновеніе съ этими смертными, я робѣлъ передъ каждымъ, и чѣмъ выше ставилъ себя въ собственномъ мнѣніи, тѣмъ менѣе былъ способенъ съ другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не могъ даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое слово и движеніе».

Съ такими-то задатками начались университетскіе годы, а вмѣстѣ съ ними и юность.

* * *

Какъ мы видѣли раньше, Толстой нѣсколько неожиданно поступилъ на факультетъ восточныхъ языковъ, что, повидимому, можно объяснить лишь его юношеской страстью оригинальничать и идти иной дорогой, чѣмъ идутъ другіе, не справляясь даже о томъ, насколько она хороша. Учился онъ очень неудачно, главнымъ образомъ потому, что перебрасывался съ предмета на предметъ, не зная на чемъ ему остановиться. Въ сорокъ четвертомъ году мы видимъ его уже юристомъ, но и здѣсь дѣло не пошло. Онъ заинтересовался лишь на нѣсколько мѣсяцевъ лекціями профессора Мейера по государственному праву и взялся даже за самостоятельную работу сравненія «Духа Законовъ» Монтескье съ «Наказомъ» императрицы Екатерины, увлекся этой работой, а потомъ вскорѣ остылъ и къ ней.

Проф. Загоскинъ, подробно изслѣдовавъ документы, относящіеся къ университетскому періоду жизни Толстого, нарисовала слѣдующую ея картину, которую мы и резюмируемъ:

«Графъ Л. Н. не послѣдовалъ математическимъ наклонностямъ своихъ братьевъ; онъ избираетъ факультетъ восточныхъ языковъ,

къ поступленію на который усиленно и готовился втеченіи 42—44 гг., а дѣло это было не совсѣмъ легкое, такъ какъ для вступительнаго экзамена нужно было имѣть подготовку въ арабскомъ и турецко-татарскомъ языкахъ. Приближалась весна 44 г.,—время вступительныхъ университетскихъ испытаній. Въ это доброе старое время для юношей изъ богатыхъ аристократическихъ семей практиковалось облегченное средство для вступленія подъ сѣнь университетскихъ аудиторій: среди профессоровъ всегда находились покровители родовитыхъ и состоятельныхъ аспирантовъ на студенчество, которые или поселялись у своихъ будущихъ экзаменаторовъ въ качествѣ учениковъ-пансіонеровъ, или же брали у нихъ по ихъ специальностямъ private уроки (разумѣется за приличное вознагражденіе). Толстому, на бѣду, пришлось однако держать экзаменъ въ такое время, когда только-что отъ попечителя округа графа Мусина-Пушкина было получено строжайшее предостереженіе: «малосвѣдущихъ не принимать». Несмотря на private уроки, онъ сбился и получить достаточное количество единицъ и двоекъ. Но ему разрѣшили дополнительные экзамены и онъ былъ принятъ «по разряду арабско-турецкой словесности». Что нашелъ онъ тутъ? Очень мало для ума, еще меньше для сердца. Но вѣроятно, что главная причина его хроническихъ университетскихъ неудачъ лежала не въ курьѣ преподаванія, не въ профессорахъ, а въ вліяніи той среды, среди которой онъ вращался. «Это, говорить Загоскинъ,—была среда, всецѣло проникнутая сословными предразсудками, пропитанная условными понятіями коммѣлотности и не находившая ничего лучшаго, какъ воскуриваніе фиміама ихъ высокопревосходительствамъ губернатору и губернаторшѣ и раздѣлять свое досужее время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя къ этимъ развлеченіямъ по истинѣ безпримѣрное чревоугодіе. Домъ тетки молодыхъ гр. Толстыхъ П. И. Юшковой, мужъ которой, кстати сказать, рекомендовалъ себя откровенно стихами: «графъ Толстой—человѣкъ пустой—выдалъ дочь Полину—за Юшкова-скотину»,—является однимъ изъ видныхъ аристократическихъ домовъ Казани. Очень естественно, что этотъ домъ совмѣщалъ въ себѣ всѣ условія пустой, безсодержательной провинціальной великосвѣтской жизни. Какъ тетюшка Полина Ильинишна, такъ и окружавшіе ее, систематически портили юношу, ломали его хорошую отъ рожденія натуру и развращали и его умъ, и его душу, и его сердце. Въ братьяхъ своихъ, кромѣ старшаго Николая, никакой нравственной поддержки онъ встрѣтить не могъ. Сергѣй Николаевичъ былъ яркимъ типомъ бонвивана, студента-франта, дамскаго поклонника и ловеласа, который никогда не прочь кутнуть и охотно беретъ отъ жизни все, что она способна дать ему; въ послѣдствіи онъ женился на цыганкѣ и въ хора. Дмитрій, напротивъ, былъ ханжа и мистикъ, избѣгавшій всякихъ удовольствій и развлеченій свѣта, ходилъ по всѣмъ церковнымъ службамъ, постился, велъ абсолютно чистую жизнь; даже попечитель округа Мусинъ-Пушкинъ вынужденъ былъ уговаривать его танцовать на вечерахъ тѣмъ аргументомъ, что царь Давидъ плясалъ передъ ковчегомъ.

Судя по нѣкоторымъ горькимъ строкамъ изъ «Исповѣди»,

Л. Н. Толстому чувствовалось нехорошо въ этой обстановкѣ, «Всякій разъ, говорить онъ напр.,—когда я пытался высказать то, что составляло самыя задушевныя мои желанія—то, что я хочу нравственно быть хорошимъ—и встрѣчать презрѣніе и насмѣшки, а какъ только я предавался гадкимъ страстямъ, меня хвалили и поощряли». «Добрая тетушка моя, съ ироніей продолжаятъ онъ, чистѣйшее существо, всегда говорила мнѣ, что она ничего не желала-бы такъ для меня, какъ того, чтобы я имѣлъ связь съ замужнею женщиной. Еще другого счастья она желала мнѣ, того, чтобы я былъ адъютантомъ и лучше всего—у государя, а самаго большаго счастья, того, чтобы я женился на богатой дѣвушкѣ и чтобы у меня было какъ можно больше рабовъ».

Примкнувши къ кружку студентовъ-аристократовъ, проводя все время на балахъ, вечерахъ и пикникахъ, гр. Толстой разумѣется занимался очень слабо и, не выдержавъ переходныхъ экзаменовъ на 2-й курсъ, перебрался попытать счастья на юридическій факультетъ, но встрѣтилъ здѣсь, по выраженію проф. Загоскина, «нѣчто невообразимое». «Факультетъ олицетворялся въ небольшой кучкѣ профессоровъ, съ преобладающимъ нѣмецкимъ элементомъ, которые служили предметомъ посмѣшища для студентовъ всѣхъ факультетовъ и всѣхъ курсовъ... Вотъ напримѣръ, полуюродивый профессоръ римскаго права Камбекъ, нѣмецъ, почти незнающій русскаго языка, который изъ года въ годъ начиналъ свой курсъ крикливымъ диктованьемъ: «Римское право! Р—большое, П—тоже большое и пунктумъ... Запишите это сѣзъ на бѣкѣ (т.-е. на поляхъ)». Диктованьемъ на ломаномъ русскомъ языкѣ передавалъ этотъ профессоръ и весь свой дальнѣйшій курсъ, въ которомъ встрѣчались напримѣръ такого рода перлы: «Рымлянэ нмзли своего орхіеррея, краго (профессоръ читалъ сокращенно *краю*, а не *котораю*: такъ для него были переписаны лекціи) называли верховный жэрэбѣцъ (т.-е. жрецъ)». Другой профессоръ той же эпохи, криминалистъ Густавъ Фогель, слѣдующимъ образомъ иллюстрировалъ, напримѣръ, несостоятельность суда присяжныхъ: «Когда-то и гдѣ-то одна молодая дѣвушка билла обвиняемая въ ужаснѣйшемъ преступленіи, самымъ сквернѣйшимъ образомъ учиненнаго... И сеудъ присяжныхъ оправдалъ ее!»

«Недуренъ былъ и профессоръ международнаго права Гельмутъ Винтеръ, совершенно не знавшій почти русскаго языка, и потому читавшій свои лекціи по какой-то ветхой тетрадкѣ по французски. Онъ скакалъ въ пафосѣ по аудиторіи, показывая наглядно картину вступленія въ 1813 году союзныхъ государей въ Парижъ, или картинно размахивалъ запачканнымъ въ табакъ носовымъ платкомъ, демонстрируя слушателямъ морские сигналы, а не то такъ изображалъ ртомъ, немилосердно надувая щеки, сапютаціонную канонаду»...

Лучше другихъ были проф. Мейеръ, Станиславскій, и др., но и у нихъ гр. Толстой мало чему научился, вѣрнѣе мало чему хотѣлъ научиться.

Разумѣется, и въ данномъ случаѣ говорить о неспособности къ труду Толстого, у котораго впоследствии хватило невѣроятнаго

терпѣнія семь разъ подрядъ передѣлать «Войну и миръ», а еще позже, уже подъ старость, изучить всѣхъ комментаторовъ къ Евангелію—смѣшно. Профессорскія двойки, единицы и нули говорятъ намъ лишь о томъ, что никогда настоящаго интереса къ университетской наукѣ Толстой не питалъ и что самолюбіе его въ это время было направлено совсѣмъ на другое, чѣмъ на академическіе лавры, полученіе которыхъ и теперь-то не представляетъ никакихъ особенныхъ трудностей для обезпеченнаго человѣка, а сорокъ лѣтъ тому назадъ было и еще того легче,

Самолюбіе графа Толстого въ періодъ 43—47 годовъ стремилось прежде всего къ тому, чтобы быть вполне приличнымъ, корректнымъ и даже свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ. Онъ не только самъ признается въ этомъ въ «Юности», но о томъ-же самомъ говорятъ и тѣ, кто сидѣлъ съ нимъ на одной скамейкѣ. Онъ принадлежалъ къ кружку «аристократовъ» и совершенно игнорировалъ сѣрую братію. Поза и движенія его были всегда вызывающія, выраженіе лица и глазъ презрительное, до разговора съ своими товарищами онъ не снисходилъ и держался даже обыкновенія не здороваться ни съ кѣмъ, приходя на лекціи, и не прощаться ни съ кѣмъ, уходя домой. У него была своя лошадь и свой кучеръ, шинель съ прекрасными бобрами и презрительный видъ, скрывавшій за собой огромное неудовлетворенное самолюбіе и болѣзненную застенчивость.

Симпатичнаго во всемъ этомъ мало, но я думаю, что за это время Толстой просто вообразилъ себя свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ (чѣмъ онъ никогда ни позже, ни раньше не былъ)—и поступалъ по воображенію. Обстановка кушковаго дома, многочисленные образцы для подражанія изъ казанской золотой молодежи, наставленія тетки и собственное неумѣніе быть простымъ и искреннимъ съ другими заставили его не только увлечься идеаломъ «comme il faut», но и утратить этотъ идеалъ. Аристократическая сдержанность и презрительность въ обхожденіи едва ли могли нравиться ему по самому существу своему и вѣроятно доставляли ему гораздо больше непріятностей, чѣмъ удовольствія, но вѣдь фантастическія натуры объ этомъ не справляются: въ извѣстныя эпохи имъ непременно надо играть какую нибудь роль, убѣдить себя, что эта роль истинная, настоящая и доводить свою игру до крайности, иногда до комизма.

«Мое любимое и главное подраздѣленіе людей въ юности—пишетъ Толстой—было на людей *comme il faut* и на *comme il ne faut pas*. Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно *comme il ne faut pas* и простой народъ. Людей *comme il faut* я уважалъ и считалъ достойными имѣть съ собой равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали,—я ихъ презиралъ совершенно. *Мое comme il faut* состояло—первое и главное—въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно говорящій по французски, тотчасъ-же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. «Для чего-же ты хочешь говорить какъ мы, когда не умѣешь?» съ ядовитой усмѣшкой спрашивалъ я его мысленно. Второе условіе *comme il faut* были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье—было умѣнье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое и очень важное было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изыщанной, презрительной скуки. Кромѣ того, у меня были общіе признаки, по которымъ я, не говоря съ человѣкомъ, рѣшалъ, къ какому разряду онъ принадлежитъ. Главнымъ изъ этихъ признаковъ кромѣ убранства комнаты, перчатокъ, почерка, экипажа—были *ноги*. Отношеніе сапогъ къ панталонамъ тотчасъ-же рѣшало въ моихъ глазахъ положеніе человѣка. Сапоги безъ каблука, съ угловатымъ носкомъ и концы панталонъ узкіе, безъ штрипокъ, это былъ *простой*; сапогъ съ узкимъ, круглымъ носкомъ и каблукомъ и панталоны узкія внизу, облегающія ногу, или широкія со штрипками, какъ балдахинъ стоящія надъ носкомъ,—это былъ человѣкъ *mauvais genre*».

Даровитые люди въ періодъ своей неуравновѣшанности способны выдѣлывать такія глупости, которыя не подъ силу даже совсѣмъ глупому человѣку. Это общеизвѣстно; но за глупостями большихъ даровитыхъ людей скрывается всегда если и не что нибудь умное, то во всякомъ случаѣ глубокое. Тоже и въ этомъ случаѣ. Любопытно, что Лермонтовъ ощущалъ тоже самое: и Лермонтовъ стыдился быть простымъ и искреннимъ, и Лермонтовъ не хотѣлъ разговаривать съ Бѣлинскимъ, а цѣлыми часами весело болталъ съ Столыпинымъ и товарищами-уланами, и Лермонтовъ въ университетѣ держалъ себя вызывающе-гордо и презрительно. Дѣло тутъ прежде всего въ огромности самолюбія, безпокойнаго и мучительнаго. Подчиняясь ему и внушеніямъ юшковскаго дома, Толстой, повторяю, имѣлъ, больше страданій чѣмъ радости.

«Странно то—продолжаетъ онъ,—что ко мнѣ, который имѣлъ положительную неспособность къ *comme il faut*, до такой степени привилось это понятіе. А можетъ-быть именно оно такъ сильно вросло въ меня отъ того, что мнѣ стоило огромнаго труда приобрести это *comme il faut*. Страшно вспомнить, сколько безцѣннаго, лучшаго въ жизни шестнадцатилѣтняго времени я потратилъ на

приобрѣтеніе этого качества. Всѣмъ, кому я подражалъ,—все это, казалось, доставалось легко. Я съ завистью смотрѣлъ на нихъ и втихомолку работалъ надъ французскимъ языкомъ, надъ наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, надъ разговоромъ, танцованьемъ, надъ выработываньемъ въ себѣ самомъ ко всему равнодушія и скуки, надъ ногтями, на которыхъ я рѣзалъ себѣ мясо ножницами—и все таки чувствовалъ, что мнѣ еще много оставалось труда для достиженія цѣли»....

Дрожжи стараго барства удаляли Толстого (какъ и Лермонтова) отъ всего разночиннаго, чей напоръ, упрямый и не всегда особенно вѣжливый, онъ не могъ не чувствовать даже въ университетскихъ стѣнахъ. Вѣдь онъ видѣлъ около себя товарищей, хотя и не наблюдавшихъ гармоніи между сапогами и панталонами, но гораздо лучше учившихся, чѣмъ онъ, и гораздо болѣе, чѣмъ онъ, образованныхъ. Но искренне признать ихъ превосходство и отнестись къ нимъ по человѣчески не позволяли старыя барскія дрожжи. И Толстой все глубже и глубже уходилъ въ свою сомне if faut'ность.

«Въ извѣстную пору молодости, говоритъ онъ,—послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно становится въ необходимость дѣятельнаго участія въ общественной жизни, избираетъ какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ сомне il faut эго рѣдко случается. Я зналъ и знаю очень, очень много людей—старыхъ, гордыхъ, самоуверенныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задается имъ на томъ свѣтѣ: «кто ты такой, и что ты тамъ дѣлалъ?»—не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ *je fus un homme très comme il faut*».

Эта участь ожидала и меня.

Мы уже видѣли вѣшнюю жизнь и времяпрепровожденіе молодого барича, имѣвшего собственную свою упряжку и собственные свои значительныя карманныя деньги. Толстой въ послѣдствіи съ отвращеніемъ вспоминалъ о кутежахъ и пьянствѣ своей юности. Но разумѣется этимъ не исчерпывалась его духовная жизнь, какъ не исчерпывалась она и заботами о панталонахъ и ногтяхъ. Умъ продолжалъ дѣятельно работать, и какъ этого можно было ожидать, въ прежнемъ скептическомъ направленіи. Кое-что изъ этой работы мы знаемъ. Однажды за какую-то незначительную провинность Толстой вѣсть съ своимъ товарищемъ Назарьевымъ попалъ въ карцеръ на цѣлыя сутки. Къ мѣсту заключенія онъ явился разумѣется въ собственныхъ дрожкахъ, съ товарищемъ не поздоровался и, не зная чѣмъ занять себя, сталъ смотрѣть въ

окно, приказавъ предварительно кучеру развѣзжать взадъ и впередъ передъ зданіемъ безъ всякаго толку и смысла. Но потомъ заключенные разговорились и принялись даже спорить. Назарьевъ рассказываетъ, что «вся неотразимая для меня сила сомнѣній его обрушилась на университетъ и университетскую науку вообще; «храмъ науки» не сходилъ съ его языка. Оставаясь неизмѣнно серьезнымъ, онъ въ такомъ смѣшномъ видѣ рисовалъ нашихъ профессоровъ, что, при всемъ желаніи оставаться равнодушнымъ, я хохоталъ какъ помѣшанный. «А между тѣмъ, заключилъ Толстой, мы съ вами вправдѣ ожидать, что выйдемъ изъ этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесемъ мы изъ университета? подумайте и отвѣчайте по совѣсти. Что вынесемъ мы изъ этого святилища возвратившись во свояси, въ деревню? На что будемъ мы пригодны? Кому нужны?».

Вопросы, которые ставитъ Толстой, очень умны и толковы и очевидно говорятъ намъ о томъ, что подъ скорлупой сомнѣній и фальшивости идетъ неустанная работа вдумчиваго духа. Особенно презрительно третировалъ въ то время Толстой исторію. «Исторія, говорилъ онъ, не что иное, какъ собраніе басенъ и сказокъ и ненужныхъ, а подъ часъ и безнравственныхъ мелочей. Какой смыслъ въ хронологіи? Кому и зачѣмъ нужно знать, что первый бракъ Іоанна Грознаго произошелъ въ 1550 г., а четвертый—въ 1572 г.? Кому какое дѣло до того, что Игорь былъ убитъ древлянами, а Олегъ прибилъ свой щитъ на вратахъ Царьграда?.. А обратите вниманіе на изложеніе нашихъ историковъ; тутъ перлъ на перлѣ. Прекрасный, добросердечный, полный самыхъ благихъ намѣреній царь Іоаннъ IV вдругъ ни съ того, ни съ сего становится грознымъ, палачемъ, кровопийцей... Почему? Какъ? Откуда это?.. Самодовольный историкъ такихъ вопросовъ не задаетъ себѣ и интересуется совершенно постороннимъ»...

Университетъ собственно не далъ Толстому ничего, да и не могъ ничего дать его непокорной, не признававшей никакихъ рамокъ и укладовъ натурѣ. Онъ требовалъ всегда гораздо большаго, чѣмъ ему предоставляли, отсюда недовольство, небрежность и презрѣніе. Но жизнь дала гораздо больше. Описаніе «Юности» Толстой начинаетъ словами:

«Я сказалъ, что дружба моя съ товарищемъ открыла мнѣ новый взглядъ на жизнь, ея цѣль и отношенія. Сущность этого взгляда состояла въ убѣжденіи, что назначеніе человѣка есть

стремленіе къ нравственному усовершенствованію, и что усовершенствованіе это легко, возможно и вѣчно. Но до сихъ поръ я наслаждался только открытіемъ новыхъ мыслей, вытекающихъ изъ этого убѣжденія, и составленіемъ блестящихъ плановъ нравственной дѣятельной будущности; но жизнь моя шла все тѣмъ же мелочнымъ, запутаннымъ и празднымъ порядкомъ. Тѣ добродѣтельные мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но ришло время, когда эти мысли съ такою свѣжею силой моральнаго открытія пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, въ ту же секунду захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ. И съ этого времени я считаю начало юности».

Разумѣется, никакихъ реальныхъ цѣлей и никакихъ реальныхъ путей къ совершенствованію Толстой въ то время не зналъ. Это было совершенствованіе вообще, куда вошелъ впоследствии и идеалъ *«comme il faut»*. По пріобрѣтенной въ дѣтствѣ привычкѣ совершенство ограничивалось главнымъ образомъ областью мечаній. Напр.:

...«Съ нынѣшняго дня я уже больше не буду смотрѣть на женщинъ. Никогда, никогда не буду ходить въ дѣвичью, даже буду стараться не проходить мимо; а черезъ три года выйду изъ-подъ опеки и женюсь непременно... Буду дѣлать нарочно движенія какъ можно больше, гимнастику каждый день, такъ что, когда мнѣ будетъ двадцать пять лѣтъ, я буду сильнѣе Раппо. Первый день буду держать полпуда «вытянутою рукой» пять минутъ, на другой день двадцать одинъ фунтъ, на третій день двадцать два фунта и такъ далѣе, такъ что, наконецъ, по четыре пуда въ каждой рукѣ, и такъ, что буду сильнѣе всѣхъ въ дворнѣ; и когда вдругъ кто-нибудь вздумаетъ оскорбить меня, или станеть отзываться непочтительно о ней, я возьму его такъ, просто, за грудь, подниму аршина на два отъ земли одною рукой и только подержу, чтобъ почувствовалъ мою силу, и оставлю; но, впрочемъ, и это не хорошо... нѣтъ, ничего, вѣдь я ему зла не сдѣлаю, а только докажу, что я...»

Вспоминая свое прошлое, юноша чувствовалъ подчасъ отвращеніе къ самому себѣ и раскаяніе, но раскаяніе до такой степени слитое съ надеждой на счастье, что оно не имѣло въ себѣ ничего печальнаго. Ему казалось, что такъ

«легко и естественно оторваться отъ всего прошедшаго, передѣлать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всѣми ея отношеніями совершенно снова, чтобы прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался въ отвращеніи къ прошедшему и старался видѣть его мрачнѣе, чѣмъ оно было. Чѣмъ чернѣе былъ кругъ воспоминаній прошедшаго, тѣмъ чище и свѣтлѣе выдавалась изъ него свѣтлая, чистая точка настоящаго и различались радужные цвѣта будущаго. Этотъ-то голосъ раскаянія и трастнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ ду-

шевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ Божій».

Рядомъ съ скептической появилась, какъ видитъ читатель, и еще новая, хотя и робко звучащая струна совершенствованія. То кровь кипитъ, то силъ избытокъ, — такъ какъ никакой ясной цѣли въ этомъ совершенствованіи, повторяю, не было. Хотѣлось быть лучше другихъ, умнѣе другихъ, сильнѣе другихъ; хотѣлось инстинктивнаго сознанія той мощи, которая была вложена въ глубину натуры, но не проявлялась еще наружу и дремала и грезидла, предаваясь ребяческимъ мечтамъ. Хотѣлось власти, почестей, славы, къ чему рвалось честолюбивое «я», какъ все живое рвется къ огню и свѣту. Хотѣлось женской любви и ласки, отъ которой юное неспорченное существо оживаетъ, какъ цвѣтокъ отъ утренней росы. Хотѣлось и нравственныхъ подвиговъ, хотѣлось самоотверженія, хотя честолюбивые инстинкты заставляли искать всегда перваго мѣста.

II.

Руссо и Нехлюдовщина.

Въ 1847 году, не сдавъ даже экзаменовъ на третій курсъ, Л. Н. Толстой, побуждаемый между прочимъ тѣмъ обстоятельствомъ, что старшіе братья, окончивъ курсъ, уѣхали изъ Казани, вышелъ изъ университета, такъ мало ему приглянувшася, и отправился въ Ясную Поляну, гдѣ прожилъ почти безвыѣздно до 1851 года. «Утро помѣщика» даетъ намъ лучшую характеристику его тогдашней жизни, какъ «Дѣтство, Отрочество и Юность» вѣрно отражаетъ въ себѣ его жизнь до этого времени. «Я выхожу изъ университета, пишетъ графъ Толстой, *чтобъ посвятить себя жизни въ деревнѣ, потому что чувствую, что рожденъ для нея. Главное зло заключается въ самомъ бѣдственномъ, жалкомъ положеніи мужиковъ, и зло такое, которое можно исправить только трудомъ и терпѣніемъ. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастіи этихъ семисотъ чело-
вѣкъ, за которыхъ я долженъ буду отвѣчать Богу? Не грѣхъ ли покидать ихъ на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ изъ за плановъ наслажденія и честолюбія? и зачѣмъ искать въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается блестящая и*

ближайшая обязанность. Я пошелъ по совершенно особенной дорогѣ, но которая хороша и, я чувствую, приведетъ меня къ счастью».

Въ подчеркнутыхъ мною словахъ и выраженіяхъ читатель не можетъ не замѣтить чего-то совершенно новаго и даже внезапнаго. Вѣдь раньше о томъ, чтобы посвятить себя жизни въ деревнѣ, о жалкомъ положеніи мужиковъ, о священной обязанности заботиться о счастіи семисотъ человѣкъ не было и помину. Наоборотъ даже... Но на подобныя внезапныя и рѣзкія перемѣны въ настроеніи намъ еще придется не разъ, а много разъ, натолкнуться въ біографіи Толстого.

Мы видѣли, что графъ Л. Н. Толстой родился, выросъ и провелъ свою юность въ крѣпостнической обстановкѣ. 9—10-ти лѣтнимъ мальчикомъ онъ владѣлъ уже сотнями душъ и почти половину жизни своей прожилъ на счетъ яснополянскихъ мужиковъ, которые поили и кормили его и позволяли безпрепятственно переходить изъ одной фазы развитія въ другую, питать вѣру, страдать сомнѣніями, стремиться къ совершенствованію и увлекаться идеаломъ свѣтскаго молодого человѣка. Крестьянскимъ трудомъ воспоенъ и вскормленъ великій художественный талантъ земли русской, слава и гордость нашей литературы и нашего народа.

Говорю все это я безъ малѣйшей тѣни упрека кому и чему-бы то ни было, такъ какъ кто-же можетъ быть повиненъ въ первородномъ грѣхѣ русской общественной жизни. Я просто указываю на фактъ, пропустить который не имѣю ни права, ни возможности, и притомъ фактъ огромной важности. Вѣдь владѣніе семистами душъ и позволило развиваться безпрепятственно художественному дарованію графа Толстого, позволило ему безъ всякой торопливости переписать семь разъ «Войну и Миръ»—эту грандіозную эпопею русской народной жизни, нашу Илиаду, все еще неоцѣненную и непонятую, именно потому, что она слишкомъ громадна. Право, если ужъ о томъ зашла рѣчь, мнѣ кажется порою, что еще 20—30 лѣтъ такой-же мелкой растерзанной литературной работы, которая совершается теперь на нашихъ глазахъ, и мы будемъ смотрѣть на «Войну и Миръ» съ такимъ-же чувствомъ почтительнаго удивленія, съ какимъ греки исторической эпохи смотрѣли на грандіозныя постройки Целазговъ и Львиныя ворота, остатки стѣнъ, приписывая ихъ титанамъ и сторукиимъ гигантамъ. Благодаря даровому крѣпостному труду, русская литература за какихъ

нибудь пол-столѣтія стала классической, и ничего подобнаго ей быстрымъ успѣхамъ со времени «Руслана и Людмилы» и кончая «Анной Карениной» мы не видимъ даже на Западѣ.

Я не поклонникъ бѣдности и лишеній, не вѣрю, чтобы они оказывали благопріятное впечатлѣніе на развитіе творчества и думаю, что даже громадный талантъ изъ суровой школы нищеты и лишеній выносить одно зло. Когда для созданія выдающагося произведенія прописывается рецептъ, въ которомъ фигурируютъ чердакъ, нетопленная комната, сонъ вмѣсто обѣда, голодная жена и голодные ребята—я всегда вспоминаю слова Гете: «Истинно-великое произведеніе можетъ быть создано только здоровымъ духомъ.»

Но это между прочимъ. Передъ нами стоитъ другой вопросъ объ отношеніи графа Толстого къ народу въ годы его юности. Въ періодъ увлеченія *somme-il-faut*’ностью онъ, какъ мы видѣли, прямо презиралъ народъ и мужика. Но къ этому скверному чувству уже и тогда примѣшивался другой отгѣнокъ, неясный, робкій, но все-же замѣтный, какъ замѣтенъ слабый зеленый ростокъ побѣга на черной землѣ...

«Когда, — читаемъ мы въ «Юности» — на прогулкахъ въ деревнѣ я встрѣчалъ крестьянъ и крестьянокъ на работахъ, несмотря на то, что *простой народъ не существовалъ для меня*, я испытывалъ всегда безсознательное сильное смущеніе и старался, чтобы они меня не видѣли».

Что простой народъ «не существовалъ для меня», это съ точки зрѣнія дрожжей стараго барства понятно, но не менѣе понятно и это безсознательное сильное смущеніе честной и правдивой натуры, честность и правдивость которой были завалены кучей мусора.

Отсюда, отъ этого «безсознательнаго, хотя и сильнаго смущенія», до любви къ мужику сначала, до преклоненія передъ его нравственными и жизненными идеалами вполнѣ въ еще очень и очень далеко. Но намъ, несмотря даже на неполноту относящихся сюда документовъ, необходимо подробно рассмотретьъ этотъ процессъ сближенія Толстого съ мужикомъ и народомъ. Почему надо подробно рассмотретьъ—это всякій знаетъ самъ.

Первою ступенью было признаніе мужика человекомъ, въ отношеніи котораго у всякаго есть свои нравственныя обязанности. Это немного, но что дѣлать съ жизнью, гдѣ за усвоеніемъ такого элементарнаго правила приходится обращаться къ

западной просвѣтительной литературѣ и философамъ, которые въ самой пріятной и изящной формѣ сообщали, что мужикъ—человѣкъ.

Полагаю, что просвѣтительная литература оказала неималое влияние на развитіи гр. Толстого. Мы видѣли, что въ университетѣ онъ занимается сравненіемъ «Наказа» и «Духа Законовъ»; къ этому же времени относится его увлеченіе Руссо. «Вспоминная особенности Льва Николаевича, говоритъ Берсъ,—необходимо упомянуть объ отношеніи его къ произведеніямъ и взглядамъ Ж. Ж. Руссо. Нѣтъ сомнѣнія, что они имѣли огромное влияние на его произведенія. Онъ увлекался и зачитывался ими еще въ ранней молодости» («Воспоминанія» стр. 26).

Руссо и Толстой—родственные гении. Исходная точка ихъ разсужденій одна и та же; но я думаю, что если-бы они встрѣтились теперь съ глазу на глазъ, они не поняли-бы другъ друга. Какъ и о Бернарденъ-Сенъ-Пьерѣ, авторѣ знаменитаго когда-то проэкта «вѣчнаго міра», Руссо сказалъ-бы о Толстомъ: «онъ—мечтатель»...

Руссо любитъ природу, хотя и въ этой его любви, какъ вообще во всякомъ его чувствѣ, есть что-то аффектированное, больное. Онъ любитъ природу не за нее самое, а скорѣе за то, что ненавидитъ не-природу, нашу цивилизацію, «эту громадную надстройку человѣческаго разума и глупости, зла и преступленій, лжи и неправды надъ прекраснымъ Божьимъ міромъ.» Руссо любитъ мужика, крестьянина, и опять таки главнымъ образомъ потому, что ненавидитъ не-крестьянина, аристократа, торгаша, чиновника.

Руссо прежде всего—обиженное сердце. Въ немъ, въ этомъ чуткомъ, болѣзненномъ и гениальномъ человѣкѣ, за время его долгой страдальческой жизни накопилось столько зла, раздраженія, ненависти, зависти, что онъ научился любить, научился быть искреннимъ и правдивымъ. Его застѣнчивость обратилась въ подозрительность и манію преслѣдованія, доброта въ аффектированную чувствительность. Его гений великъ и правдивъ лишь въ ненависти.

Онъ былъ лакеемъ, нищимъ, труженикомъ и никогда не зналъ счастья. Его молодость прошла въ нищетѣ и лишеніяхъ, его старость—въ изгнаніи. Съ первой минуты своей сознательности онъ научился бояться окружающихъ его людей и окружающей его жизни. Онъ ненавидѣлъ цивилизацію и боялся ее, но онъ понималъ, что человѣкъ безсиленъ отказаться отъ прош-

лага и исторіи; онъ понималъ, что цивилизація для насъ неизбежное зло. Нигдѣ и ни разу не сказалъ онъ, что надо или можно вернуться къ дикой или первобытной жизни. Его судьба была слишкомъ сурова, чтобы онъ могъ вѣрить во всемогущество человѣка.

«Руссо былъ несомнѣнно человѣкомъ будущаго, а не прошедшаго, и именно въ этомъ направленіи повліялъ на европейскую мысль, поспособствовалъ образованію цѣлой школы. Оставимъ въ покоѣ фантастичность очертаній, въ которыхъ рисовалась воображенію Руссо историческая колыбель человечества. Не въ этомъ дѣло. Злое слово Вольтера: «читая Руссо, такъ и хочется побѣжать на четверинкахъ» — это злое слово справедливо только въ очень поверхностномъ смыслѣ, если имѣть въ виду лишь живописную страстность отдѣльныхъ выраженій. Въ сущности, Руссо не отрекался ни отъ одного изъ духовныхъ и матеріальныхъ благъ, добытыхъ цивилизаціей, но онъ желалъ иного ихъ распредѣленія и направленія, именно такого, въ какомъ располагалось скудное достояніе первобытнаго человѣка. Иначе говоря, Руссо отвергаетъ на степень развитія цивилизація, а ея типъ, и, наоборотъ, въ первобытной жизни онъ цѣнитъ лишь ея типъ (общее равенство), ни мало не сомнѣваясь, что невѣжество, суевѣріе, нищета, грубость, какъ спутники низшей ступени развитія, подлежатъ изгнанію. Задача будущаго состоитъ по Руссо совсѣмъ не въ томъ, чтобы всѣ люди или какая-нибудь ихъ часть бѣгали на четверинкахъ, а въ сочетаніи первобытнаго типа (т. е. всеобщаго равенства) съ высокой степенью развитія» (Н. К. Михайловскій).

Таковъ Руссо, но не таковъ, какъ послѣ увидимъ, гр. Толстой. А между тѣмъ у нихъ много общаго, и въ этомъ общемъ на первомъ планѣ надо поставить вражду и ненависть къ лицемернымъ формамъ нашей культурной жизни, гдѣ столько дѣлается для формы, для приличія, для общественнаго мнѣнія, что самому человѣку и его внутренней правдѣ не остается совершенно мѣста. Руссо хотѣлъ, чтобы формы жизни были приспособлены къ этой внутренней человѣческой правдѣ и позволяли-бы ей свободно проявляться наружу. Толстой хотѣлъ отказаться отъ этихъ формъ, и полагаетъ, что это возможно. Одинъ, видя передъ собой храмъ лжи, говоритъ: «разберите его, тщательно сберегая всякій камень, гвоздь, балку, и изъ этого матеріала вамъ удастся *быть можетъ* воздвигнуть храмъ

правды.» Другой требуетъ, чтобы былъ воздвигнутъ новый храмъ.

Какъ измученный несчастный человѣкъ, Руссо по необходимости скептикъ. Онъ не вѣритъ въ подъемъ духа, онъ знаетъ, что вліяніе прошлыхъ 50 вѣковъ сильнѣе вліянія будущихъ 50 лѣтъ, что этихъ прошлыхъ 50 вѣковъ не вычеркнешь изъ организма человѣка, изъ его привычекъ и вѣрованій. Со всѣмъ этимъ надо считаться, все это можно только приспособлять, передѣлывать, но создавать нѣчто новое, прямо противоположное—это мечта, это безумный сонъ...

Конечно, противорѣчіе между Руссо и Толстымъ развилось только впоследствии. Въ юности онъ только увлекался страстными тирадами во славу природы и простоты жизни, во славу честнаго труда. И это увлеченіе не прошло безслѣдно; напротивъ, заброшенное великимъ женецемъ зерно упало на родную почву, хотя до плодовъ было еще далеко. Увлекаясь Руссо, Толстой не могъ уже болѣе презирать народъ, и подъ вліяніемъ Руссо безсознательное и смутное смущеніе обратилось въ желаніе исполнить свой нравственный долгъ передъ крѣпостными семьянами душами. Легко однако видѣть, что въ этихъ первыхъ попыткахъ сближенія много теоретическаго, навѣяннаго и мало сердца. Перечтите «Утро помѣщика», замѣтивши вездѣ, съ позволенія самого автора, «князя Нехлюдова» «графомъ Толстымъ».

Сюжетъ простъ и вразумителенъ:

«Доживши до девятнадцати лѣтъ и дойдя до третьяго курса университета, графъ Л. Толстой убѣждается въ томъ, что онъ достаточно образованъ и что ему давно пора приниматься за практическую дѣятельность. Онъ пріѣзжаетъ на лѣто въ свое имѣніе, видитъ тамъ, что мужики его разорены до тла, и, рѣшившись посвятить свою жизнь на улучшеніе ихъ участи, выходитъ изъ университета съ тѣмъ, чтобы навсегда поселиться въ деревнѣ. Толстой занимается своимъ дѣломъ безкорыстно, добросовѣстно и очень усердно. По воскресеньямъ, наприимѣръ, онъ обходитъ утромъ дворы тѣхъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами о какомъ-нибудь вспомошествованіи; тутъ онъ внимательно вникаетъ въ ихъ нужды, присматривается къ ихъ быту, помогаетъ имъ хлѣбомъ, лѣсомъ, деньгами и старается посредствомъ увѣщаній внушать имъ любовь къ труду или искоренять ихъ пороки.

Одинъ изъ такихъ обходовъ составляетъ сюжетъ нашей повѣсти. Приходитъ Л. Толстой къ Ивану Чурисенку, просившему себя какихъ-то колевъ или сошекъ для того, чтобы подпереть свой развалившійся дворъ. Видитъ Толстой, что все строеніе дѣйствительно никуда не годится, и Чурисенокъ рассказываетъ

ему совершенно равнодушно, что у него въ избѣ накатина съ потолка его бабу пришибла. «По спинѣ какъ колыхнеть ее, такъ она до ночи замертво пролежала». Толстой, думая облагодѣтельствовать Чурисенку, предлагасть ему переселиться на новый хуторъ, въ новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системѣ. «И,—говорить,—ее, пожалуй, тебѣ отдамъ въ долгъ за свою цѣну; ты когда-нибудь отдашь». Но Чурисенокъ говорить: «воля вашего сятельства», и въ то же время прибавляетъ, что на новомъ мѣстѣ имъ жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается въ ноги молодому помѣщику, начинастъ выть и умолять барина оставить ихъ на старомъ мѣстѣ, въ старой развалившейся и опасной избѣ. Чурисенокъ, тихій и не говорливый, какъ большая часть нашихъ крестьянъ, придавленныхъ бѣдностью и непосильнымъ трудомъ, становится даже краснорѣчивымъ, когда начинаеть описывать прелесть стараго мѣста. «Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное; и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье, что-ли, бабѣ стирать, скотину-ли поить,—и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы—вотъ, что мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только-бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сятельство, больше ничего не прошу». Что тутъ будешь дѣлать? Нельзя-же благодѣтельствовать насильно. Толстой отказывается отъ своего намѣренія и совѣтуетъ Чурисенку обратиться къ крестьянскому міру съ просьбой о лѣсѣ, необходимомъ для починки двора. Къ міру, а не къ помѣщику приходится обращаться въ этомъ случаѣ потому, что Толстой отдалъ въ полное распоряженіе самихъ мужиковъ тотъ участокъ лѣса, который онъ опредѣлилъ на починку крестьянскаго строснія. Но у Чурисенки на всякое дѣло есть свои собственные взгляды, и онъ говорить очень спокойно, что у міра просить не станеть. — Толстой дать ему денегъ на покупку коровъ и итеть дальше. Входить онъ во дворъ къ Елифану или Юхванкѣ-Мудреному. Толстому извѣстно, что этотъ мужикъ любить по-своему сибаритствовать, курить трубку, обременяеть свою старуху-мать тяжелой работой и часто продаетъ для кутежа необходимыя принадлежности своего хозяйства. Теперь Толстой узналъ, что Юхванка хотеть продать лошадь; помѣщикъ хотеть посмотреть, возможна-ли эта продажа безъ разстройства необходимыхъ работъ. Оказывается, что продавать не слѣдуетъ, и Толстой рѣшительно запрещаетъ Юхванкѣ эту коммерческую операцію. Юхванка въ разговорѣ съ бариномъ лжетъ ему въ глаза самымъ наглѣйшимъ образомъ и нисколько не смущается, когда Толстой на каждомъ шагѣ выводитъ его на свѣжую воду. Толстой, какъ юноша и моралистъ, старается растрогать Юхванкину душу увѣщаніями и упреками, а Юхванка, продувная бестія, каждымъ своимъ словомъ показываетъ своему барину совершенно яено, что онъ неиремѣнно расхохотался-бы надъ его совѣтами, если-бы его не удерживало тонкое пониманіе галантерейнаго обращенія. — Пороть меня ты не будешь,—думаетъ Юхванка,—потому что совѣтъ никого не порешъ; на поселеніе тоже не сошлешь—пожалѣешь; а въ солдаты я не гожусь, спереди

двухъ зубовъ нѣту. Значить, ничѣмъ ты меня не озадачишь, и на всѣ твои разговоры я вѣжливымъ манеромъ плевать намѣренъ. — И Толстой, совершенно отмѣнившій въ своемъ хозяйствѣ тѣлесныя наказанія, до такой степени живо чувствуетъ свое безсиліе передъ сорванцомъ Юхванкой, что принужденъ по временамъ умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не расплакаться тутъ-же на Юхванкиномъ дворѣ передъ глазами нераскаивающаго грѣшника. Кончается визитъ тѣмъ, что баринъ, строго запретивъ продавать лошадей, тайкомъ отъ безпутнаго Юхванки даетъ денегъ его матери на покупку хлѣба».

Дальше идетъ рассказъ и еще о нѣсколькихъ мытарствахъ по крестьянскимъ избамъ; въ результатѣ то же самое, т. е. ничего, или вѣрнѣе одинъ вопросъ: почему-же эта просвѣтительная и гуманная попытка графа Толстого окончилась такъ неудачно? Писаревъ рѣшаетъ вопросъ просто: «Юный помѣщикъ, говоритъ онъ, самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается слить вино новое въ мѣха старые, — задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, и, п.п., говоря безъ метафоръ, новая гуманность пропадаетъ безъ пользы и даже приноситъ вредъ (мужички распустились), когда приходится къ соприкосновенію съ старыми формами крѣпостного быта».

Эта *общая* причина настолько понятна, что нечего о ней и распространяться. Филантропія въ отношеніи къ крѣпостному безправному мужику, настоянная на барскихъ дрожжахъ и идеяхъ просвѣтительной литературы, никогда никакого проку не приносила, да и не могла принести. Но есть еще и частная причина. Толстому едва исполнилось двадцать лѣтъ и, говоря его собственными словами, онъ «слишкомъ сильно сознавалъ въ себѣ присутствіе всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать — броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не сознавая за что, не зная зачѣмъ. Я носилъ въ себѣ это сознаніе, былъ гордъ имъ и, не зная этого, былъ счастливъ имъ». Въ личной жизни Толстого только что начинался тотъ періодъ, который Гете такъ мѣтко называлъ «Die Wanderjahre» — годы блужданія, и на самомъ дѣлѣ скоро мы увидимъ его на Кавказѣ, подъ Севастополемъ, въ Москвѣ, Петербургѣ, Самарѣ, заграницей. Не могла-же барская филантропія, къ тому же очевидно бесплодная, наполнить его существа и бытія. Не исчезло еще и желаніе закончить университетскій курсъ, почему въ 1847 г. Толстой ѣдетъ въ Петербургъ, начинаетъ держать экзаменъ, но, сдав-

ши два или три, возвращается въ свою любимую Ясную Поляну, гдѣ его ожидаетъ охота, чистый воздухъ, семья и много другихъ развлеченій.

III.

Н а К а в к а з ѣ.

Три года, проведенные въ Ясной Полянѣ на лонѣ природы, пролетѣли незамѣтно и безъ особенныхъ тревоженій. Но въ 1851 г. гр. Толстой сильно проигрался и увидѣлъ, что при прежней своей жизни онъ никакъ не сѣмѣтъ уплатить долга. Это-то и было одной изъ причинъ, побудившихъ его отправиться на Кавказъ—не на службу, а просто для переменъ мѣста, впечатлѣній и ради экономіи. Онъ это и сдѣлалъ, давши себѣ предварительно разъ двадцать слово «больше этихъ проклятыхъ картъ никогда не брать въ руки».

На Кавказѣ въ то время служилъ офицеромъ старшій его братъ, Николай Николаевичъ, съ которымъ онъ былъ сособенно близокъ и друженъ.

Въ тарантасѣ, въ сопровожденіи прислуги, братья поѣхали изъ Казани на лѣвый, т. е. восточный флангъ нашей позиціи, вдоль Волги. Ызда на лошадяхъ скоро наскучила. Они приобрѣли громадную лодку, устали на нее тарантасъ, сѣли и предоставили себя теченію рѣки, занимаясь чтеніемъ и любуясь природой. Путешествіе длилось около трехъ недѣль, пока они пріѣхали въ Астрахань. На нижнемъ теченіи Волги, приставая къ берегамъ, они то и дѣло встрѣчались съ полудикими калмыками, вѣчно сидящими у костра. Въ то время калмыки были еще огнепоклонниками.

Воспоминанія объ этой поѣздкѣ сохранились впрочемъ самыя смутныя. Не то о Кавказѣ. Л. Толстой всегда любилъ вспоминать о своемъ пребываніи тамъ на югѣ. Богатая природа, чудная охота, которой онъ предавался со страстью почти всю свою жизнь, вплоть до нравственного переворота, война съ горцами—все это нравилось ему и все это его вдохновляло. Тамъ впервые проснулось его творчество, тамъ мысль объ опрощеніи впервые явилась ему въ голову.

Кавказская жизнь Л. Н. Толстого очень богата, всевоз-

можными эпизодами. Одинъ изъ этихъ эпизодовъ послужилъ темою повѣсти «Кавказскій Плѣнникъ», почему мы его и приведемъ въ изложеніи Берса.

«Мирный чеченецъ Содо, съ которымъ Левъ Николаевичъ былъ друженъ, купилъ молодую лошадь и пригласилъ друга проѣхать съ нимъ изъ крѣпости, гдѣ былъ расположенъ тогда отрядъ русскаго войска. Съ ними поѣхали верхомъ еще два офицера артиллеріи. Несмотря на запрещеніе начальствомъ такихъ поѣздокъ въ виду ихъ опасности, они ничѣмъ не вооружились, кромѣ шапекъ. Испытавъ свою лошадь, Содо предоставилъ это и другу, а самъ пересѣлъ на его иноходца, который, какъ извѣстно, скакать не умѣетъ. Они были уже верстахъ въ пяти отъ крѣпости. Неожиданно передъ ними показалась группа чеченцевъ человекъ въ двадцати. Чеченцы начали вынимать ружья изъ чехловъ и раздѣлились на двѣ партіи. Одна партія преслѣдовала двухъ офицеровъ, поскакавшихъ обратно въ крѣпость, и настигла ихъ. Одинъ изъ нихъ былъ изрубленъ, а другой попался въ плѣнъ. Содо, а за нимъ и Левъ Николаевичъ пустились по другому направленію, къ казачьему пикету, расположенному въ одной верстѣ. Гнавшіеся чеченцы уже приближались къ нимъ. Имъ предстояла перспектива лишиться жизни или очутиться въ плѣну, и слѣдовательно сидѣть въ ямѣ, потому что горцы вообще отличаются жестокостью въ обращеніи съ плѣнными. Левъ Николаевичъ, имѣя возможность ускакать на рѣзвой лошади своего друга, не покинулъ его. Содо, подобно всѣмъ горцамъ, никогда не разставался съ ружьемъ, но, какъ на бѣду, оно не было заряжено. Тѣмъ не менѣе онъ нацѣлилъ имъ на преслѣдователей и, угрожая, покрикивалъ на нихъ. Судя по дѣйствіямъ преслѣдовавшихъ, они намѣревались взять въ плѣнъ обоихъ, особенно Содо, для мести, а потому не стрѣляли. Обстоятельство это спасло ихъ. Они успѣли приблизиться къ пикету, гдѣ зоркій часовой издали замѣтилъ погоню и сдѣлалъ тревогу. Выѣхавшіе навстрѣчу казаки принудили чеченцевъ прекратить преслѣдованіе».

«... Содо, продолжаетъ Берсъ,—искренно любилъ своего друга. Однажды онъ воспользовался случаемъ удружить своему кунаку. Какъ то Левъ Николаевичъ проигрался въ карты и вошелъ въ долгъ. Уплатить въ срокъ не было возможности, а извѣстія изъ деревни не оправдали ожидаемой получки денегъ. Это мучило его. Положеніе среди молодежи богатаго юнкера

графа Толстого, не заплатившаго карточный долгъ въ срокъ, имъ назначенный, для самолюбія его было ужасно. Онъ приходилъ въ отчаяніе и прибѣгнулъ къ молитвѣ. Посланный отъ Содо прервалъ молитву и подалъ письмо. Въ письмѣ было разорванное обязательство. Оказалось, что наканунѣ Содо удачно игралъ въ карты и воспользовался выигрышемъ для подарка другу мучившаго его долга“.

На службу, какъ я сказалъ выше, гр. Толстой сначала и не думалъ даже поступать. Все его время наполнялось чтеніемъ и главное—охотой подъ руководствомъ стараго казака Епшкп, извѣстнаго русскимъ читателямъ подъ именемъ Ерощки, одного изъ характернѣйшихъ лицъ въ «Казакахъ»... Встрѣтившись однако съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, занимавшимъ важное мѣсто въ штабѣ, гр. Толстой по его совѣту опредѣлился юнкеромъ въ артиллерію и не разъ принималъ участіе въ мелкихъ стычкахъ, описанныхъ имъ впоследствии въ «Набѣгѣ», «Рублѣ лѣса», „Казакахъ“. До службы же онъ жилъ очень скромно на 5 рублей въ мѣсяцъ и скоро выплатилъ мучившій его карточный долгъ.

Какимъ путемъ Толстой открылъ въ себѣ литературный талантъ, неизвѣстно. Очень можетъ быть, что виновать въ этомъ былъ его старшій братъ, равнодушный къ литературѣ, а очень можетъ быть и то, что творческія стремленія искали себѣ выхода и выраженія. Въ Ясной Полянѣ эти стремленія трагичались на музыку, которой Толстой предавался со страстью; но заниматься музыкой въ лагерѣ или крѣпости было невозможно. Первымъ (въ 1852 г.) было написано „Дѣтство“, за которымъ немедленно же послѣдовали: «Утро помѣщика», «Случай», «Отрочество», составленъ былъ планъ «Казаковъ», задумана «Юность».

«Дѣтство», законченное 9 іюля 1852 г., было отправлено въ «Современникъ» Некрасову, который поторопился напечатать эту повѣсть, учувъ по ней рожденіе новаго сильнаго таланта.

Обратимся теперь къ тому, что составляетъ сущность біографіи Л. Н. Толстого—его духовной жизни. Что думалъ онъ и какъ чувствовалъ онъ себя на Кавказѣ?

Разумѣется, у 23-лѣтняго даровитаго писателя не могло быть одного господствующаго настроенія. Настроенія мѣнялись въ зависимости отъ обстановки и окружающихъ лицъ. Были мечты о славѣ литературной, о военной славѣ, было даже желаніе опроститься.

Живя въ казацкой станицѣ (на лѣвомъ берегу Терека, недалеко отъ Кизляра), въ обществѣ казака Епишки, этого хитраго, себѣ на умѣ, но цѣльнаго человека, безъ противорѣчій внутри себя, видя себя окруженнымъ такими-же, какъ Епишка, цѣльными, живущими безъ аффектацій, безъ надломленности, а просто такъ, какъ трава растетъ, людьми; охотясь за фазанами и кабанами, бродя по лѣсамъ и болотамъ, припоминая отвратительные вечера, проведенные за картами или въ обществѣ продажныхъ цыганокъ, что должно было казаться особенно отвратительнымъ въ свѣжемъ воздухѣ и подъ тѣнью громадныхъ каменныхъ титановъ хребта, — Толстой проникался прелестью этой простой, не знающей душевной надломленности жизни. Съ какимъ восторгомъ вспоминаетъ онъ впоследствии о пережитомъ имъ настроеніи въ казацкой станицѣ и говоритъ:

«Мнѣ пишутъ письма соболѣзнованія, боятся, что я погибну, зарывшись въ этой глуши;—говорятъ про меня: онъ загрубѣть, отъ всего отстанетъ и чего добраго, женится на казачкѣ. Какъ страшно! Въ самомъ дѣлѣ, не погубить бы мнѣ себя, тогда какъ на мою долю могло выпасть великое счастье стать мужемъ графини Б., камергеромъ или дворянскимъ предводителемъ. Какъ вы мнѣ всѣ гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь? *Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ.* Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой вѣчные неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ ея первобытной красотѣ. Поймите одно или вѣрьте одному: надо видѣть и понять, что такое правда и красота, и въ прахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши желанія счастья и за меня, и за себя. *Счастье—это быть съ природою, видѣть ее, говорить съ нею.*»

«Надо испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ, чтобы понять счастье». А что такое счастье? *Не больше, какъ быть съ природою, видѣть ее, говорить съ нею.* Не больше? А куда-же дѣтъ мечты о славѣ и власти, о восторгѣ и преклоненіи ближнихъ? Вѣдь они вѣчно тутъ, и кипятъ и бурлятъ въ молодой жадной интеллигентной душѣ... Стать Епишкой, не думать о завтра, жить, какъ трава растетъ, умирать, какъ падаетъ съ дерева увядшій листъ, не оставивъ по себѣ ни слѣда, ни воспоминанія, или быть подстрѣленнымъ чеченцемъ, не пропѣвши даже своей лебединой пѣсни—увы!—все это не дано интеллигенту...

Вѣдь рядомъ съ мечтами объ опрощеніи у того-же Толстого идутъ другія мечты... о полученіи георгіевскаго креста и украшеніи груди своей этимъ знакомъ отличія. А вѣдь для «простоты» ни креста, ни отличій не надо. По разсказу Берса:

«Во время службы на Кавказѣ, Левъ Николаевичъ *страстно* желалъ получить Георгіевскій крестъ и былъ даже къ нему представленъ, но не получилъ его, вслѣдствіе личнаго нерасположенія къ нему одного изъ начальниковъ. Эта неудача *огорчила* его, но вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнила его взглядъ на храбрость. Онъ пересталъ считать храбрыми тѣхъ, кто лѣзли въ сраженіе и помогались знаковъ отличія. Его идеаломъ храбрости сдѣлалось разумное отношеніе къ опасности.»

Толстой страстно желаетъ получить георгіевскій крестъ, какъ нѣсколько лѣтъ спустя опять такъ страстно желаетъ получить флигель-адъютантство, какъ еще немного позже клянется убить себя, если за него не выдадутъ замужъ Софью Андреевну Берсъ, и смыслъ всѣхъ этихъ страстныхъ желаній только тотъ, что не вычеркнешь изъ сердца своего тѣхъ инстинктовъ, потребностей и привычекъ, которые завѣщаны вѣками. Не вычеркнешь ихъ особенно въ молодости—въ этотъ періодъ напора эгоистическихъ страстей... Да и зачѣмъ ихъ вычеркивать?.. Страсть эта—тотъ вѣтеръ, о которомъ моряки говорятъ: «попутный или противный—плыть можно, *лишь-бы былъ вѣтеръ*.» Страсть—сама жизнь, и такъ какъ, разъ появившись, она уничтожаетъ вопросъ о «смыслѣ жизни». то она пожалуй и есть искомый таинственный смыслъ нашего бытія...

Находясь постоянно въ обществѣ казаковъ и солдатъ, Толстой полюбилъ простой народъ, полюбилъ уже сердцемъ, а не разумомъ только, какъ это было подъ вліяніемъ просвѣтительной философіи. Особенное сердечное впечатлѣніе произвели на него солдаты—эти излюбленные герои величайшаго произведенія Толстого «Войны и Мира», эти «они», научившіе впоследствии Пьера Безухова правдѣ жизни... Читая кавказскіе рассказы, вы уже предчувствуете Петра Каратаева и его наивный, дѣтскій, но исполненный глубочайшаго смысла фатализмъ...

Мнѣ кажется, что полюбить простой народъ на Кавказѣ было гораздо легче (съ точки зрѣнія традицій стараго барства), чѣмъ въ Ясной Полянѣ. Тамъ между бариномъ и мужикомъ стояла непроходимая стѣна—крѣпостныя отношенія. Мужикъ являлся грязнымъ, забитымъ, вонючимъ вьючнымъ животнымъ; здѣсь онъ то и дѣло оказывался героемъ. Когда человекъ невольно считаетъ себя выше другого, можетъ ли онъ полюбить его?—Нѣтъ. Казаки не позволяли Толстому считать себя выше ихъ; онъ самъ видѣлъ, что солдаты выше его. Установилось равенство. А любовь возможна только при немъ.

Въ кавказскихъ впечатлѣнїяхъ Толстого есть и еще одинъ мотивъ, всю важность котораго я хотѣлъ-бы особенно вразумительно представить читателю. Ясности ради, позволю себѣ привести маленькій отрывокъ изъ поэмы Лермонтова «Валерикъ»:

Уже затихло все; тѣла
Собрали въ кучу. Кровь текла
Струею дымной по камнямъ;
Ея тяжелымъ испареньемъ
Былъ полонъ воздухъ. Генералъ
Сидѣлъ въ тѣни на барабанѣ
И донесенїя принималъ.
Окрестный лѣсъ, какъ-бы въ туманѣ,
Синѣлъ въ дыму пороховомъ...
А тамъ, вдали — грядой нестройной,
Но вѣчно гордой и спокойной,
Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ
Тянулись горы — и Казбекъ
Сверкалъ главою остроконечной...
И съ грустью тайной и сердечной
Я думалъ: «жалкій человекъ!
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... *Зачѣмъ?..*

Чѣмъ былъ Кавказъ во время Толстого? Отчасти, разумѣется, тѣмъ-же, чѣмъ онъ является и въ настоящее время — мѣстомъ удивительнымъ по своей красотѣ и разнообразію своей природы, гдѣ переѣздъ въ нѣсколько часовъ переноситъ васъ изъ царства «орловъ и метелей» въ нѣжные и зеленые долины Грузіи или нижняго Терека, — страну, гдѣ лавры, мирты, кипарисы цвѣтутъ на свѣжемъ воздухѣ, гдѣ почти ни на одну минуту не упускаете вы изъ виду снѣговой шапки Казбека или Эльбруса. Для сѣверянина или жителя средней Россіи Кавказъ всегда имѣлъ и будетъ имѣть особенную прелесть чего-то грандіознаго, неожиданнаго, поражающаго. Горячее, пламенное солнце, бурныя стремительныя рѣки, раздвигающія скалы съ какимъ-то злымъ ропотомъ, молчаливые заросшіе лѣсомъ утесы, на вершинахъ которыхъ гнѣздятся орлы да люди, голубое прозрачное небо, громадные дубовые лѣса, заросшія азалиями, въ пахучихъ вѣтвяхъ которыхъ гнѣздятся безчисленные неутомимые соловьи, какой-то странный синій оттѣнокъ горъ — все это будитъ фантазію, навѣваетъ думы и образы... Теперь, правда, большая дорога пролегаетъ тамъ и здѣсь, въ долинѣ Куры то и дѣло слышится свистъ

локомотива, громыханіе поѣздовъ, наполненныхъ нефтью, острый запахъ угля... Исполнилось то, что говорилъ Лермонтовъ:

И желѣзная лопата въ каменную грудь,
Добывая мѣдъ и золото, врѣжетъ страшный путь...

—но во время Толстого, слишкомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, дикая поэзія природы была замѣтнѣе, больше на виду... Не рѣзче ли и чувствовалось тогда противорѣчіе между гордымъ миромъ природы и безпокойнымъ ропотомъ человѣка?.. Въдь, какъ и все въ мірѣ, Кавказъ пошлѣетъ. Тотъ самый чеченецъ, который нѣкогда горѣлъ страстнымъ желаніемъ зарѣзать васъ или подстрѣлить, мечтаетъ лишь о полученіи двугривеннаго на чай, порою за довольно грязное порученіе. Въ ущельяхъ, гдѣ прежде безраздѣльно царили мятели и орлы, тамъ и здѣсь понастроены рестораны, кабаки и хуже того. То же въ тѣни миртовъ, лавровъ и акацій. Казбекъ разумѣется по прежнему «сіяетъ своими вѣчными снѣгами», какъ грань алмаза, но по грузинской дорогѣ, вмѣстѣ съ его бѣлой шапкой, заостренной какъ сахарная голова, виду вашему открывается гостепріимная гостинница, откуда постоянно доносится пьяный гулъ. Тутъ-же васъ ожидаютъ назойливые грязные ребятишки, которые бѣгаютъ за вами какъ собаченки и пищатъ просьбы о пятакѣ или пятацлвинномъ. Самъ грузинъ не лѣтъ уже вина на узорные шальвары, потому что вино распродано еще до сбора, а предпочитаетъ во многихъ мѣстахъ пиво и водку. Поэтичныхъ черкешенокъ вы не увидите, или-же встрѣтите ихъ на базарѣ торгующими гнилыми грецкими орѣхами, а еще чаще въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бы не слѣдовало быть ни поэтичнымъ, ни непоэтичнымъ женщинамъ. Самая природа получила тамъ и здѣсь рѣзкій отпечатокъ жадности, нищеты человѣческой. Лѣса повырублены; самъ Терекъ бьетъ безъ прежняго задора: онъ точно одряхлѣлъ, нѣтъ ужъ болѣе ничего кровожаднаго и страшнаго въ его когда-то кровожадной и страшной пасти—Дарьяльскомъ ущельи.

Но сорокъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ красоты поэтическія и прелесть Кавказа выдавались рѣзче, рельефнѣе и опредѣленнѣе... И какъ странно было видѣть среди этой грандіозной могучей природы маленькихъ людей, мучающихъ себя, убивающихъ себя, интригующихъ, завидующихъ, — и даже любящихъ и ненавидящихъ. Странной казалась смерть живого существа отъ крошечной пульки подъ суровыми взглядами хо-

лоднаго Казбека, подъ вѣковыми чинарами, шептавшими о чемъ-то вѣчномъ, таинственномъ...

Какъ же не задать себя вопроса «зачѣмъ?...» Перечтите кавказскіе рассказы Толстого и вы увидите этотъ вопросъ на каждой страницѣ. Это вопросъ высокой и вмѣстѣ съ тѣмъ наивной (съ нашей точки зрѣнія) души художника...

IV.

Подъ Севастополемъ.

Война скрываетъ въ себѣ много рѣзкихъ противорѣчій—жестокости и гуманности, нашей безсознательной симпатіи къ ближнему и нашей вражды къ нему, разъ онъ съ другими, чѣмъ мы, погонями, нашей жалости къ страдающему и нашей радости при видѣ раненаго или умирающаго врага. Но эти рѣзкія противорѣчія, затемненные молодостью, надеждами на крестъ и военные лавры, не открылись Толстому на Кавказѣ во всей ихъ полнотѣ, въ чемъ была между прочимъ повинна и самая обстановка. Войны на Кавказѣ, строго говоря, никакой не было, а происходилъ безконечной рядъ турнировъ, что было давно, уже—задолго до Толстого, замѣчено проницательнымъ взглядомъ Ермолова, который, явившись на Кавказъ, первымъ дѣломъ заявилъ: «довольно за крестами гоняться, пора начать дѣло дѣлать». Совершенно другимъ представляется намъ оборона Севастополя и севастопольская кампанія вообще. Здѣсь Россія грудь грудью боролась съ половиной Западной Европы, гораздо болѣе культурной, лучше ея вооруженной, богатой и многочисленной, и война была страшная, грандіозная, хотя и сосредоточившаяся на ничтожномъ пространствѣ земли. Здѣсь-же, подъ Севастополемъ, окрѣпла мысль Толстого и впервые является передъ нами въ полной зрѣлости.

Севастопольская кампанія готовилась долгіе годы. Россію не любили въ Англіи, терпѣть не могли во Франціи, боялись въ Австріи и завидовали ей въ Пруссіи. И понятно, почему такъ оно было. Императоръ Николай распоряжался въ Европѣ почти такъ-же, какъ у себя дома. Онъ читалъ нравоученія и дѣлалъ предписанія европейскимъ монархамъ, какъ своимъ подданнымъ. Укротивъ венгерцевъ, онъ сталъ какъ-бы опекуномъ Австріи и поотечески относился къ ней тогда еще мо-

лodomу монарху. Онъ былъ недоволенъ Пруссіей за реформы 48-го года и явно выказывалъ свое недовольство. Онъ отказался признать Наполеона III-го императоромъ и отказывалъ ему въ титулъ *mon frère*... Но его боялись и долгое время страхъ сдерживалъ всѣ попытки противоdѣйствія этому невиданному авторитету, напоминавшему авторитетъ Людовика XIV-го и Наполеона I-го.

Война началась въ 1853 г. и на первыхъ порахъ пришлось бороться съ одной Турціей, которую до поры до времени Европа поддерживала лишь тайно; 2-го іюля русскія войска перешли Прутъ и заняли Молдавію. 4 ноября была официально объявлена война, а 30-го числа того-же мѣсяца адмиралъ Нахимовъ уничтожилъ турецкій флотъ при Синопѣ. Это взбудоражило и испугало европейцевъ: тотчасъ-же послѣ синопской битвы французы и англичане объявили Россію войну, а черезъ годъ началась знаменитая осада Севастополя, испившая всѣ предыдущіе грѣхи этой кампаніи.

Графъ Толстой съ открытіемъ Восточной войны перепросялся въ дунайскую армію и былъ прикомандированъ къ главному штабу главнокомандующаго графа Горчакова. Взявши отпускъ, онъ съѣздивъ сначала къ себѣ въ Ясную Поляну, повидался тамъ съ братьями и Ергольской и немедленно-же отправился на театръ военныхъ дѣйствій, рѣшившись повиidному во что бы то ни стало пріобрѣсти военные лавры, ускользнушіе отъ него на Кавказѣ.

Замѣтимъ между прочимъ, что, какъ солдатъ и офицеръ, Л. Н. Толстой отличался всегда безукоризненною храбростію. Сначала разумѣется къ этой его храбрости примѣшивалось тщеславное желаніе выказать себя съ самой блестящей стороны, но впослѣдствіи осталось лишь спокойное мужество, которое онъ цѣнилъ какъ лучшее и высшее качество военнаго человѣка. Въ своихъ произведеніяхъ онъ не разъ ставить себѣ вопросъ, что можно считать за храбрость и кто дѣйствительно храбръ, и всегда отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что храбръ тотъ, кто при какихъ-бы то ни было обстоятельствахъ исполняетъ свой долгъ солдата или офицера безразлично. Не бояться смерти не значитъ быть храбрымъ, потому что нѣтъ на свѣтѣ человѣка, который-бы не боялся смерти; за то есть много такихъ, которые говорятъ, что они не боятся, и хвастаются этимъ. Истинно храбрые люди — солдаты на

вопросъ: «а ты развѣ боишься?» всегда отвѣчаютъ у Толстого: «а то какъ-же?» Рваться безъ толку впередъ, нарочно выбирать самыя опасныя мѣста, когда этого совсѣмъ ненужно гарцовать подъ непріятельскими пулями—совсѣмъ не значить быть храбрымъ, а только или тщеславнымъ, или отчаяннымъ, т. е. человѣкомъ лишь очень и очень относительно полезнымъ, а въ большинствѣ случаевъ прямо вреднымъ. Солдаты не считаютъ постыднымъ или унижительнымъ наклонить голову при летящей бомбѣ или лечь на землю, когда разрывается граната; но тѣ-же солдаты не задумываясь идутъ въ адскій огонь, *когда это нужно*. Вотъ она, истинная храбрость, безъ заботъ о знакахъ отличія, о мнѣніи другихъ, безъ ложнаго стыда и безъ признака тщеславія. Такіе типы, какъ капитанъ Хлоповъ въ «Набѣгѣ», Тушинъ и Тимохинъ въ «Войнѣ и Мирѣ» — подлинныя храбрецы, но ничего эффектнаго они не производятъ. Вотъ маленькая сценка изъ «Набѣга», иллюстрирующая взгляды Толстого.

«Что-же онъ храбрый былъ? спросилъ я капитана.—А Богъ его знаетъ: все бывало впереди ѣздить; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.—Такъ стало быть храбрый, сказалъ я.—Нѣтъ, это не значить—храбрый, что суется туда, куда его не спрашиваютъ.—Что-же вы называете храбрымъ? Храбрый? Храбрый? повторялъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ:—храбрый тотъ, который ведетъ себя какъ слѣдуетъ, сказалъ онъ, подумавъ немного».

Я вспомнилъ, что Платонъ опредѣляетъ храбрость *знаніемъ того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и несмотря на общность и неясность выраженія въ опредѣленіи капитана, я подумалъ, что основная мысль обоихъ не такъ различна, какъ могло бы показаться, и что даже опредѣленіе капитана вѣрнѣе опредѣленія греческаго философа, потому что, еслибъ онъ могъ выражаться такъ же, какъ Платонъ, онъ вѣрно сказалъ бы, что храбръ тотъ, кто боится только того, *чего слѣдуетъ бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*. Мнѣ хотѣлось объяснить свою мысль капитану.—Ну ужъ этого не умѣю вамъ доказать, сказалъ онъ, накладывая трубку:—а вотъ у насъ есть юнкеръ, такъ тотъ любитъ пофилософствовать. Вы съ нимъ поговорите. Онъ и стихи пишетъ.

Я для того выписалъ цѣликомъ всю эту маленькую сценку, чтобы читатель увидѣлъ и еще одинъ элементъ храброй души, какъ она является передъ нами въ произведеніяхъ Л. Толстого. Этотъ элементъ—простодушіе, граничащее иногда съ наивностью ребенка. На самомъ дѣлѣ, припомните Тушина, по дѣтски застыдившагося, когда его увидѣли безъ сапогъ,—или Тимохина постоянно краснѣющаго, разъ къ нему обращаются съ рѣчью; того-же Хлопова, «что-то ужъ очень долго набивав-

шаго въ углу трубку», т. е. попросту плакавшаго послѣ полученія вѣсточки отъ своей старухи матери. Вѣдь это все дѣти, большія, хорошія дѣти, въ чистомъ сердцѣ которыхъ грязь жизни не оставила ни одного пятна.... Эти храбрецы—дѣти народа, сохранившіе неповранными всѣ духовныя связи съ породившей ихъ почвой.

Эту-то храбрость видѣлъ передъ собой постоянно графъ Толстой, эту то храбрость онъ уважалъ и цѣнилъ, и ее-то старался выработать въ себѣ. Расширьте теперь область ея примѣненія, выведите ее изъ лагеря или поля сраженія и вы получите то рѣдкое и драгоцѣнное качество, которое можетъ быть названо мужествомъ жизни. И оно, какъ и храбрость, принадлежитъ прежде всего народному (но не интеллигентному) духу и составляетъ красоту его.

Надо быть большимъ человѣкомъ и обладать проницательнымъ взглядомъ художника, чтобы разсмотрѣть эту красоту и умѣть любоваться ею. Толстой счумѣлъ сдѣлать это, и почва для любви къ народу и сердечной къ нему привязанности была готова. Нехлюдовщина, теоретическое признаніе ответственности передъ мужикомъ, красивыя фразы просвѣтительной философіи отчасти на Кавказѣ, но главнымъ образомъ подѣ стѣнами Севастополя, замѣнились другимъ, болѣе прочнымъ и высокимъ чувствомъ—любовью и преклоненіемъ передъ красотой народной души. Пока эта красота выражалась прежде всего въ *храбрости*. Впослѣдствіи, какъ увидимъ, Толстой разсмотрѣлъ и большее—*мужество жизни*.

Въ Севастополь Толстой прибылъ въ ноябрѣ 1854 года и остался здѣсь вплоть до конца осады. Въ маѣ 55-го онъ назначенъ былъ командиромъ горнаго дивизіона и принималъ горячее участіе въ несчастной для насъ битвѣ при Черной рѣчкѣ (11-го августа).

Вотъ что, между прочимъ, говорить о немъ одинъ изъ его севастопольскихъ сослуживцевъ: «Толстой своими разсказами и наскоро набросанными куплетами одушевлялъ всѣхъ и каждого въ трудныя минуты боевой жизни. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ душой нашего общества. Толстой съ нами—и мы не видимъ какъ летитъ время, и нѣтъ конца общему веселью; нѣтъ графа, укатилъ въ Симферополь,—и всѣ носы повѣсили. Пропадаетъ день, другой, третій. Наконецъ возвращается, ну точь въ точь блудный сынъ,—мрачный, исхудалый, недовольный собой. Отведетъ меня въ сторону подальше и начнетъ покаяніе.

Все расскажетъ:—какъ кутилъ, игралъ, гдѣ проводилъ дни и ночи, и приэтомъ, вѣрите ли, казнится и мучится, какъ настоящій преступникъ. Даже жалко смотрѣть на него, — такъ убивается. Вотъ это какой человѣкъ! Однимъ словомъ, странный и не совсѣмъ для меня понятный, а съ другой стороны это былъ рѣдкій товарищъ, честнѣйшая душа и забыть его рѣшительно невозможно.»—(Историч. Вѣстн., ноябрь 90 г.)

Съ однимъ изъ куплетовъ, сочиненныхъ графомъ Толстымъ, случилась маленькая исторія, познакомиться съ которой не безынтересно. Пѣсня относилась къ несчастной битвѣ 4-го августа и, написанная въ народномъ духѣ, скоро приобрѣла широкую популярность. Ее, говоря безъ преувеличенія, распѣвало все войско. Содержаніе ея слѣдующее:

Какъ четвертаго числа
Насъ нелегкая несла
Гору забирать...
Баронъ Вревскій, генераль,
Къ Горчакову приставалъ
Когда подъ шафе:
Князь, возьми ты эту гору,
Не входи со мною въ ссору,
Не то донесу.
Собирались на совѣты
Все большія эполеты,
Даже плацъ—Бекокъ...
Полицмейстеръ плацъ Бекокъ
Никакъ выдумать не могъ,
Что ему сказать.
Долго думали, гадали,
Топографы все писали
На большомъ листу.
Гладко писано въ бумагѣ,
Да забыли про овраги,

А по нимъ ходить.
.....
Глядь, Рсадь возьми да съ просту
И повелъ насъ прямо къ мосту:
Ну-ка на ура.
На ура! Мы зашумѣли
Да лезервы не поспѣли,
Кто то перевралъ.
На Федюхины высоты
Насъ пришло всего три роты,
А пошла полки.
Наше войско небольшое,
А француза было втрое
И секунреу тьма.
Ждали выйдѣть съ гарнизона
Намъ на выручку колонна,
Подали сигналъ,
А тамъ N N генераль
Все акафисты читаль...
И пришлось намъ отступать...

(«Русская Старина» 1884 г., Т. № 41).

Толстой какъ разъ въ это время ожидалъ награды за дѣло при Черной и мечталъ даже о флигель-адъютанствѣ, но до свѣдѣнія начальства дошло, что авторъ сатирической пѣсни—онъ, и съ мечтами о флигель-адъютанствѣ пришлось распрощаться, какъ два года назадъ съ мечтами о георгіевскомъ крестѣ...

Несмотря на безпокойную военную жизнь, Толстой и подъ Севастополемъ не бросилъ литературныхъ занятій. Здѣсь были имъ написаны «Севастополь въ декабрѣ 1854», «Севастополь въ маѣ 55 г.», «Рубка лѣса» и «Севастополь въ августѣ 55 г.». Рассказываютъ, что императрица Александра Теодоровна плакала, читая первый Севастопольскій очеркъ Толстого, а государь Ни-

колай I приказалъ «слѣдить за жизнью молодого писателя» и даже перевести его съ 4-ой батареи въ болѣе безопасное мѣсто.

27-го августа Толстой участвовалъ при штурмѣ Севастополя, когда былъ взятъ Малаховъ курганъ, и затѣмъ его отправили курьеромъ въ Петербургъ. Этимъ и заканчивается его военная карьера.

Намъ надо теперь поближе присмотрѣться къ севастопольскимъ впечатлѣніямъ нашего великаго писателя.

«Первое впечатлѣніе ваше отъ Севастополя, рассказываетъ Толстой, непременно самое непріятное: странное смѣшеніе лагерной и городской жизни, красиваго города и грязнаго бивуака, не только не красиво, но кажется отвратительнымъ безпорядкомъ; вамъ даже покажется, что всѣ перепуганы, суетятся, не знаютъ, что дѣлать. Но взгляните ближе въ лица этихъ людей, движущихся вокругъ васъ, и вы поймете совсѣмъ другое. Посмотрите хоть на этого фуhrштатскаго солдата, который ведетъ поить какую-то гнѣдную тройку и такъ спокойно мурлыкаетъ себѣ что-то подъ носъ, что, очевидно, онъ не заблудился въ этой разнородной толпѣ, которой для него и не существуетъ, но что онъ исполняетъ свое дѣло, какое бы оно ни было—поить лошадей или таскать орудія—такъ же спокойно, самоувѣренно и равнодушно, какъ бы все это происходило гдѣ-нибудь въ Тулѣ или Саранскѣ. То же выраженіе читаете вы и на лицѣ этого офицера, который, въ безукоризненно бѣлыхъ перчаткахъ, проходитъ мимо, и въ лицѣ матроса, который курить, сидя на баррикадѣ, и въ лицѣ рабочихъ солдатъ, съ носилками дожидающихся на крыльцѣ бывшаго собранія, и въ лицѣ этой дѣвицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкамъ перепрыгиваетъ чрезъ улицу».

Во всемъ этомъ нѣтъ ничего героическаго, великаго. Но прежде чѣмъ сомнѣваться, сходите на бастіоны, посмотрите защитниковъ Севастополя на самомъ мѣстѣ защиты, или лучше зайдите прямо напротивъ въ домъ, бывшій прежде севастопольскимъ собраніемъ и гдѣ на крыльцѣ стоятъ солдаты съ носилками, — вы увидите тамъ защитниковъ Севастополя, увидите тамъ ужасныя и грустныя, великія и забавныя, но изумительныя, возвышающія душу зрѣлища.

Вотъ напр. одно изъ „возвышающихъ душу зрѣлищъ,“ описанное почти шекспировскою кистью:

— Ты куда раненъ?—спрашиваете вы нерѣшительно и робко у одного стараго и исхудалаго солдата, который, сидя на койкѣ, слѣдить за вами добродушнымъ взглядомъ и какъ будто приглашаетъ подойти къ себѣ. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страданія, кромѣ глубокаго сочувствія, внушаютъ почему-то страхъ оскорбить и высокое уваженіе къ тому, кто переноситъ ихъ.

— Въ ногу, отвѣчаетъ солдатъ; но въ это самое время вы сами замѣчаете по складкамъ одѣяла, что у него ноги нѣтъ выше колѣна.—Слава Богу теперь, прибавляетъ онъ:—на выписку хочу.

— А давно ты уже раненъ?

— Да вотъ шестая недѣля пошла, ваше благородіе.

— Что же, болить у тебя теперь?

— Нѣтъ, теперь не болить ничего; только какъ будто въ икрѣ ноетъ, когда непогода, а то ничего.

— Какъ же ты это былъ раненъ?

— На 5-мъ баксіонѣ, ваше благородіе, какъ первая банди-дировка была: навелъ пушку, сталъ отходить, такимъ манеромъ, въ другой амбразурѣ, какъ онъ ударить меня по ногѣ, ровно какъ въ яму оступился, глядь, а ноги нѣтъ.

— Неужели больно не было въ эту первую минуту?

— Ничего; только какъ горячимъ чѣмъ меня пхнули въ ногу.

— Ну, а потомъ?

— И потомъ ничего; только какъ кожу натягивать стали, такъ саднило какъ будто. Оно первое дѣло, ваше благородіе, не думать ничего: какъ не думаешь, оно тебѣ и ничего. Все больше оттого, что думаетъ человѣкъ.

Въ это время къ намъ подходитъ женщина въ сѣренькомъ полосатомъ платкѣ и повязанная чернымъ платкомъ; она вмѣшивается въ вашъ разговоръ съ матросомъ и начинаеть рассказы-вать про него, про его страданія, про отчаянное положеніе, въ которомъ онъ былъ четыре недѣли, про то, какъ, бывши раненъ, остановилъ носилки, съ тѣмъ чтобы посмотрѣть на залпъ нашей батареи, какъ Великіе Князья говорили съ нимъ и пожаловали ему 25 рублей, и какъ онъ сказалъ имъ, что онъ опять хочетъ на бастионъ, съ тѣмъ, чтобы учить молодыхъ, ежели уже самъ работать не можетъ. Говоря все это однимъ духомъ, женщина эта смотритъ то на васъ, то на матроса, который, отвернувшись и какъ будто не слушая ея, щиплетъ у себя на подушкѣ корпю, и глаза ея блестятъ какимъ-то особеннымъ восторгомъ.

— Эта хозяйка моя, ваше благородіе! замѣчаетъ вамъ матросъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто говорить: «ужъ вы ее извините. Известно, бабье дѣло — глупыя слова говорить».

А смыслъ этихъ впечатлѣній, этихъ возвышающихъ душу зрѣлищъ тотъ, что вы «молча склоняетесь передъ этимъ молчаливымъ, безсознательнымъ величіемъ и твердостью духа, этою стыдливостью передъ собственнымъ достоинствомъ».

Молчаливый героизмъ безъ эффектныхъ фразъ, безъ всякаго тщеславнаго желанія выставить себя и сосредоточить на себѣ вниманіе, и вмѣстѣ съ этимъ милое, нѣжное добродушіе русскаго солдата, умѣющаго быть деликатнымъ какъ любящая женщина, полностью изображены Толстымъ въ его Севастопольскихъ разсказахъ. Онъ вдохновляется прежде всего этимъ, и вы ясно видите, что онъ любитъ (а не просто опи-чываетъ) то, чѣмъ вдохновляется. Толстой первый заглянулъ

въ душу стараго дореформеннаго солдата и первый создалъ его типъ или, вѣрнѣе, цѣлую галерею типовъ, теперь уже родныхъ и близкихъ каждому русскому читателю. Въ жизни, полной самоотреченія, невыносимой тяготы и лишеній, почти нечеловѣческихъ, жизни безъ тѣни личнаго счастья, безъ семьи, безъ будущаго, съ вѣчнымъ поднятымъ надъ головою обухомъ, съ неуходящимъ ни на шагъ призракомъ смерти—Толстой учуялъ что-то таинственное, прекрасное и чистое, какъ звѣзда на небѣ. И онъ склонился передъ этимъ, и вѣра въ народъ утвердилась въ его сердцѣ разъ на всю жизнь. Какъ ни мѣнялось въпослѣдствіи міросозерцаніе Толстого, какъ ни глубоко погружался онъ въ безнадежное отрицаніе—эта вѣра спасала его и вызывала послѣ каждого паденія къ новой жизни, новой работѣ.

Если въ кавказскихъ разсказахъ Толстого на первый планъ выступаетъ противорѣчіе между природой и человѣкомъ, міромъ одной и суетливостью и кровожадностью другого, то въ севастопольскихъ разсказахъ почва этихъ противорѣчій шире, разнообразнѣе и глубже.

Во время перемирія разыгрывается напр. такая сцена:

Вотъ пѣхотный бойкій солдатъ, въ розовой рубашкѣ и шинели въ накидку, съ сопровожденіи другихъ солдатъ, которые, руки за спину, съ веселыми, любопытными лицами стоятъ за нимъ, подошелъ къ французу и попросилъ у него огня закурить трубку. Французъ разжигаетъ, расковыриваетъ трубочку и высыпаетъ огня русскому.

— Табакъ бунъ, говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc,—говоритъ французъ:—et chez vous autre tabac—russe? bon?

— Русъ—бунъ,—говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, при чемъ присутствующіе покатываются со смѣху. — *Франсе, бунъ, бонжуръ мусье!* говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, сразу ужъ выпуская весь свой зарядъ знаній языка и треплетъ француза по животу и смѣется. Французы тоже смѣются.

— Ils ne sont pas jolis, ces b... de Russes,—говорилъ одинъ зуавъ изъ толпы французовъ.

— De quoi ils rient donc?—говоритъ другой, черный съ итальянскимъ выговоромъ, подходя къ нашимъ.

— Кафтанъ бунъ, говоритъ бойкій солдатъ, разсматривая шитыя полы зуава, и опять смѣется.

— Ne sors pas de ta ligne, à vos places sacré nom! кричитъ французскій капралъ и солдаты съ видимымъ неудовольствіемъ расходятся.

Не странно ли будетъ видѣть потомъ, всего черезъ нѣсколько часовъ, этихъ добродушныхъ людей, такъ весело раз-

говаривающихъ другъ съ другомъ, съ ожесточенными и осви-рѣпѣвшими лицами прескалывающихъ другъ друга штыками. Вражды между ними нѣтъ никакой; если бы не странная стихійная сила, руководящая ими, они долго бы еще продолжали бесѣдовать и смѣяться, а потомъ вмѣстѣ и дружно принялись бы за работу. Но «бѣлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія».

Дикая и страшная трагедія человѣческой жизни разыгрывается на поляхъ сраженій. Гдѣ и въ чемъ можно найти ей оправданіе, и вмѣстѣ съ Толстымъ невольно спрашиваешь себя: «неужели эти люди—христіане. исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія,—глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣна передъ Тѣмъ, Кто далъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждого, вмѣстѣ со страхомъ смерти, любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?»...

Нѣтъ, не обнимутся. Цвѣтушая долина засыпается мертвыми тѣлами, опять свистятъ орудія смерти, прекрасное солнце спускается къ синему морю, синее море, колыхаясь, блеститъ на золотыхъ лучахъ солнца, а люди, какъ дикіе звѣри, бросаются другъ на друга и рвутъ другъ друга зубами...

Гете замѣтилъ какъ-то, что истинный художникъ всегда ребенокъ. Какъ ребенокъ, онъ наивенъ, удивляется тому, чему уже перестали удивляться мы, опытные люди, и задаетъ такіе вопросы, которые уже не существуютъ для насъ. Въ узкомъ ущельѣ Валерика великій и наивный ребенокъ Лермонтовъ, видя передъ собой окровавленные трупы такъ недавно еще веселыхъ и полныхъ жизни людей, спрашиваетъ: «зачѣмъ?»; подъ стѣнами Севастополя тотъ же вопросъ не даетъ ни минуты покоя другой великой наивной душѣ—душѣ Толстого. Онъ, какъ художникъ, не понимаетъ и не можетъ понять того, что какъ будто понимаемъ мы, что пожалуй самъ онъ понимаетъ, какъ офицеръ, какъ командиръ дивизіона, какъ защитникъ Севастополя, мечтающій о флигель-адъютанствѣ. Но художникъ «наивенъ», его чуткое сердце не можетъ успокоиться на тѣхъ объясненіяхъ и отвѣтахъ, на которыхъ успокаивается обыденный смертный; цвѣтушая долина, заваленная мертвыми тѣлами, для него не просто поле сраженія, гдѣ побѣдили мы или французы, гдѣ было столько-то стычекъ, гдѣ столько-то убито, столько-то ранено; эта цвѣтушая долина для него

что-то страшное, таинственное, преступное, вызывающее одинъ и тотъ же роковой вопросъ: «зачѣмъ?»

Во второмъ Севастопольскомъ разсказѣ («Севастополь въ маѣ») передъ нами разворачивается и другое противорѣчіе, поразившее Толстого. Это противорѣчіе народнаго и интеллигентнаго духа. Молчаливый героизмъ народа и тщеславная суетливость интеллигента никогда еще до той поры такъ рѣзко не противопоставлялись другъ другу. Впослѣдствіи Толстой построилъ на немъ свою эпопею «Войны и мира», но впервые оно было уже постигнуто имъ подъ стѣнами Севастополя. Интеллигентъ носится съ своимъ я, не можетъ ни на минуту отдѣлаться отъ заботъ о немъ. Это маленькое требовательное я суетится, беспокоится, страдаетъ и радуется, смотря по тому, хорошо ли ему или дурно, тепло ему или холодно.

Желаніе выставить себя съ самой выгодной стороны, выдвинуться въ первый рядъ—это тщеславное суетливое желаніе ни на минуту не исчезаетъ изъ интеллигентной души, и безконечныя интриги, разнузданная игра себялюбія—иногда совершенно невинная, дѣтская, иногда скверная—потому что корыстолюбивая, постоянно происходитъ на почвѣ молчаливаго народнаго героизма. Идти на бастіонъ значить идти почти на вѣрную смерть, и вотъ по дорогѣ туда культурный человѣкъ штабсъ-капитанъ Михайловъ думаетъ: «и каково будетъ удивленіе и радость Наташи, когда она вдругъ прочтетъ въ *Инвалидѣ* описаніе, какъ я первый влѣзъ на пушку и получилъ Георгія. Капитана я долженъ получить по старому представленію. Потомъ очень легко я въ этомъ же году могу получить маіора по линіи, потому что не мало перебито, да и еще, вѣрно, много перебьютъ нашего брата въ эту кампанію. А потомъ опять будетъ дѣло и мнѣ, какъ извѣстному человѣку, поручать полкъ... подполковникъ... Анну на шею... полковникъ... и въ мечтахъ своихъ штабсъ-капитанъ Михайловъ добрался уже до генеральскаго чина... Тотъ же штабсъ-капитанъ Михайловъ на музыкѣ въ саду весь поглощенъ соображеніями о томъ, какъ и съ кѣмъ ему поздороваться, къ кому подойти, съ кѣмъ заговорить. Онъ избѣгаетъ компаніи своихъ товарищей армейцевъ, потому что одинъ изъ нихъ въ верблужьихъ штанахъ и безъ перчатокъ, а другой кричитъ ужасно громко на весь садъ,—но не рѣшается и подойти къ «аристократамъ»... «Что ежели, спрашиваетъ онъ себя, они вдругъ мнѣ не поклонятся, или поклонятся и будутъ продолжать го-

ворить между собою, какъ будто меня нѣтъ, или вовсе уйдутъ отъ меня и я тамъ останусь одинъ?..»

Ребячество капитана Михайлова вызываетъ лишь улыбку, какъ вызываютъ улыбку и его ненужныя мысли. Но можно не только улыбаться, а и задуматься, видя поразительное и странное сочетаніе культурной ярмарки тщеславія и эгоизма съ молчаливымъ героизмомъ простаго народа.

Въ культурномъ человѣкѣ слишкомъ сильно чувство личности; это-то и портитъ все дѣло. Лишь въ минуты нравственнаго прозрѣнія спрашиваетъ онъ себя: «что значать смерть и страданія такого ничтожнаго червяка, какъ я, въ сравненіи съ столькими смертями и страданіями»... Но видъ чистаго неба, блестящаго солнца, красиваго города опять приводитъ культурную душу въ обычное состояніе маленькихъ себялюбивыхъ заботъ, опасеній, мечтаній... Быть лучше, сильнѣе, красивѣе другого—вотъ нервъ культурнаго бытія и въ этомъ же его главное противорѣчіе съ народнымъ духомъ.

Ярмарка тщеславія съ одной стороны, молчаливый героизмъ съ другой—ежеминутно были на глазахъ у графа Толстого подъ стѣнами Севастополя. Чему симпатизировать, что любить—онъ зналъ и ни минуту не колебался въ своемъ выборѣ. Но по самой жизни своей, по практическимъ цѣлямъ, онъ принадлежалъ еще ярмаркѣ тщеславія и былъ глубоко огорченъ, когда убѣдился, что не получитъ флигель-адъютантскихъ эксельбантовъ.

У

Въ Петербургѣ.

Въ Петербургѣ гр. Толстой пріѣхалъ въ концѣ 55-го года. Передъ 27-лѣтнимъ офицеромъ, богатымъ и титулованнымъ, къ тому севастопольскимъ героемъ разумѣется были раскрыты всѣ двери «лучшихъ», какъ это принято говорить, домовъ. Его принимали вездѣ, вездѣ ласкали и холили, всячески за нимъ ухаживали... Чего казалось-бы лучше? Впереди блестящая карьера, полная возможность устроить блестящую партію съ какою нибудь милой и титулованной Кити Щербацкой, а между тѣмъ Толстой рѣдко чувствовалъ себя хорошо и большую часть времени находился въ какомъ-то безпокойномъ и тревожномъ настроеніи духа. Литературная извѣстность и ореолъ севасто-

польскаго героя не могли разумѣться не льстить молодому тщеславію, но успокоиться и почить на пріобрѣтённыхъ лаврахъ невозможно вдумчивому человѣку. Тѣмъ болѣе, очевидно, что Толстымъ по наслѣдству получена наклонность разсматривать все съ мрачной точки зрѣнія—результатъ духовнаго переутомленія ряда поколѣній. Исторія его развитія и жизни была-бы совсѣмъ другая, если-бы онъ могъ повторить гордыя слова, сказанныя когда-то Прудономъ: «четырнадцать моихъ праѣдковъ были земледѣльцами; укажите мнѣ болѣе благородное происхожденіе!»

На двухъ фотографическихъ снимкахъ, сохранившихся отъ петербургскаго періода, гр. Толстой является исключительно въ литературномъ обществѣ. На первомъ изъ этихъ снимковъ онъ изображенъ вѣстѣ съ Григоровичемъ, Гончаровымъ, Тургеневымъ, Дружининымъ и Островскимъ; на второмъ—съ Некрасовымъ, Саллогубомъ, Панаевымъ, опять Тургеневымъ и Григоровичемъ. Передъ нами стало-быть вся редакція «Современника» и всѣ свѣтила русской литературы 50-хъ годовъ. Тургеневъ былъ въ то время излюбленнымъ и славнѣйшимъ писателемъ, Некрасовъ пропѣлъ уже многія изъ своихъ лучшихъ пѣсенъ, Григоровича знали всѣ какъ автора «Антоня Горемыки», а Дружининъ считался первымъ критикомъ, пока на смѣну ему не пришелъ сначала Чернышевскій, а потомъ Добролюбовъ.

Среди аристократовъ литературы гр. Толстой былъ своимъ. Его «Севастопольскіе рассказы» были по заслугамъ одѣнены публикой, а «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» хотя и не пользовались широкой популярностью, заставили видѣть въ авторѣ большой и серьезный талантъ.

Но ни съ кѣмъ изъ писателей Толстой близко не сошелся. Въ его натурѣ, повидному, мало данныхъ для дружбы, или эти данные не могутъ уравниваться слишкомъ большой чуткости и проницательности. Истинно друженъ онъ былъ всего одинъ разъ въ жизни съ старшимъ братомъ своимъ Николаемъ Николаевичемъ. Съ Тургеневымъ Толстой жилъ даже на одной квартирѣ, но особаго расположенія ни съ той, ни съ другой стороны не было: они не понимали другъ друга, спорили до хрипоты и скоро разошлись по разнымъ дорогамъ.

Изъ этого петербургскаго періода Фетъ сохранилъ такое воспоминаніе. «Я, рассказываетъ онъ, только разъ видѣлъ Льва Николаевича Толстого у Некрасова вечеромъ и съ первой

минуты замѣтилъ въ молодомъ Толстомъ невольную оппозицію всему общепринятому въ области сужденій.

«Я не могу признавать, говорилъ напр. Левъ Николаевичъ Тургеневу, чтобы высказанное вами было вашимъ убѣжденіемъ. Я стою съ кинжаломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: «пока я живъ, никто сюда не войдетъ». Вотъ это убѣжденіе! А вы другъ отъ друга стараетесь скрывать сущность вашихъ мыслей и называете это убѣжденіемъ». — «Зачѣмъ же вы къ намъ ходите?» задыхаясь спрашивалъ Тургеневъ. — «Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ, куда мнѣ ходить! И праздные разговоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ убѣжденія».

О той-же оппозиціи Толстого всему общепризнанному, о рѣзкости его мнѣній и т. д. говоритъ и Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» и, какъ кажется, будетъ нетрудно объяснить причины и источникъ такого настроенія.

Толстой только вернулся изъ подъ Севастополя; въ его ушахъ все еще гремѣли орудія, раздавались стоны и хрипъ раненыхъ; тамъ-же на поляхъ битвы онъ первый разъ оцѣнилъ простаго русскаго человѣка, его безхитростную душу, его молчаливый героизмъ. Въ Петербургѣ не только не было ничего похожаго на только что видѣнное и испытанное, а было какъ разъ противоположное, особенно въ томъ кругу знатныхъ баръ и богатыхъ прославленныхъ литераторовъ, въ которомъ вращался Толстой. Жизнь онъ велъ «легкую», веселую, праздную и видѣлъ вокругъ все такую-же жизнь, которая считалась приличной, комилфотной и вполне удовлетворительной въ нравственномъ отношеніи. Не представлялась-ли эта блестящая обстановка гостинныхъ, этотъ постоянный флиртъ между праздными мужчинами и праздными женщинами, эти кутежи въ загородныхъ ресторанахъ, карточная игра, эти пустопорожніе разговоры объ убѣжденіяхъ чѣмъ-то обиднымъ послѣ серьезныхъ и страшныхъ севастопольскихъ впечатлѣній? Отказаться отъ этой жизни Толстой въ то время не могъ, но онъ чувствовалъ и зналъ, что это не «та», не настоящая жизнь, что въ ея легкомысліи и праздности есть и безнравственное, и даже прямо преступное. Толстой серьезенъ, порою серьезенъ до мрачности, его умъ вдумчивъ и настойчивъ, и войти въ петербургскую колею, увлечься времяпрепровожденіемъ богатаго и знатнаго литератора онъ не могъ уже и тогда. Въ самомъ литературномъ кружкѣ, къ которому онъ принадлежалъ, многое должно было раздражать его

и особенно Тургеневъ съ его европезмомъ, англоманствомъ и изящно барскими взглядами на литературу, искусство, прогрессъ, исторію. Противъ грубости Толстой никогда ничего не имѣлъ, но онъ всегда морщился отъ всякой неискренности, отъ всякой заученной красивой фразы, а вѣдь этихъ фразъ въ литературныхъ и барскихъ гостинныхъ ему приходилось слушать безъ числа. И онъ ссорился, спорилъ до хрипоты и все это совсѣмъ не было стояніемъ за правду, а просто взрывами раздраженія на легкую праздную жизнь, на пустопорожніе разговоры, на самого себя.

Вѣдь мы знаемъ, чѣмъ въ концѣ концовъ завершились его исканія правды и какимъ путемъ достигъ онъ если и не полного счастья, то по крайней мѣрѣ спокойствія духа. Для этого Толстому понадобилось не только сердцемъ своимъ, но и разумомъ, но и всей жизнью, ея обстановкой и обиходомъ, стать органической частицей простой народной массы. Въ 27 лѣтъ сдѣлать этого было нельзя, особенно Толстому, котораго условія его жизни и воспитанія, традиціи рода, родные и знакомые тянули совсѣмъ въ другую сторону. Прекрасно сказано по этому поводу у Н. К. Михайловскаго:

«Легко было Прудону вѣровать въ народъ и требовать отъ другихъ такой-же вѣры, когда онъ самъ вышелъ изъ народа: онъ вѣровалъ изъ себя. Такого непосредственнаго единенія между Толстымъ и народомъ нѣтъ. Легко было Прудону смѣло констатировать обратную сторону цивилизаціи, когда эта обратная сторона непосредственно давила его и близкихъ его. Такого давленія гр. Толстой не испытываетъ. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, «въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ лордовъ, бароновъ, банкировъ и профессоровъ». Прудону было легко говорить это, когда отецъ его былъ бочаромъ, мать кухаркой, а самъ онъ наборщикомъ; когда онъ имѣлъ право сказать одному легитимисту: «у меня четырнадцать прадѣдовъ крестьянъ, назовите хоть одну фамилію, которая насчитывала бы столько благородныхъ предковъ». Но гр. Толстой находится скорѣе въ положеніи того легитимиста, который получилъ этотъ отпоръ. Оставьте въ сторонѣ вопросъ о томъ, вѣрны или невѣрны тѣ выводы, къ которымъ пришелъ Прудонъ, и тѣ, къ которымъ пришелъ гр. Толстой. Положимъ, что и тѣ и другіе такъ же далеки отъ истины, какъ пещерные люди отъ гр. Толстого. Обратите вниманіе только на слѣдующее обстоятельство: вся обстановка, все условія жизни, начиная съ пеленокъ, гнали Прудона къ тѣмъ выводамъ, которые онъ считалъ истинной; все условія жизни гр. Толстого, напротивъ, гнали и гоняли его въ сторону отъ того, что онъ считаетъ истинной. И если онъ все-таки пришелъ къ ней, то какъ бы онъ себя ни противво-

рѣшилъ, вы должны признать, что это мыслитель честный и сильный, которому довѣриться можно, котораго уважать должно».

Самые литературные кружки первой половины пятидесятыхъ годовъ не могли не вызвать въ Толстомъ сначала недовѣрія, а потомъ и враждебности. Это было какое-то странное, переходное время отъ величайшаго гнета конца николаевской эпохи къ значительной свободѣ новаго царствованія. Тяжелая атмосфера недавно пережитаго еще не замѣнилась новой, а лишь медленно и робко оттѣснялась ею. Пока длилась осада Севастополя и война, старые принципы и старыя правила безпрепятственно царили въ жизни и всѣ подчинялись имъ. Писатели, жившіе въ то время, надо отдать имъ полную справедливость—умѣли недурно приспособиться къ обстановкѣ и чувствовали себя и счастливыми, и довольными. Бѣлинскій умеръ въ 48 г. и его мѣсто трибуна не было занято никѣмъ. Если не о немъ, то о его проповѣди забыли даже въ кружкѣ близкихъ ему лицъ и, какъ дѣти, вырвавшіяся изъ подъ строгаго надзора, предались легкомыслію, самодовольству, чистой красотѣ. Нѣсколько одностороннее, но въ сущности глубоко вѣрное описаніе литературнаго легкомыслія того времени далъ намъ самъ Толстой:

«Мнѣ, рассказываетъ гр. Толстой—было 26 лѣтъ, когда я прѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли какъ своего, льстили мнѣ даже. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распушенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы, художники, поэты. Наше призваніе учить людей, не зная чему: художникъ—де и поэтъ учатъ безсознательно. Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ я художникъ, поэтъ писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество, у меня была слава: значить то, чему я училъ, было очень хорошо. Теорія эта о развитіи жизни и значеніи поэзии была вѣра и я былъ однимъ изъ жрецовъ ея. Быть жрецомъ ея было очень выгодно и пріятно. И я довольно долго жилъ въ этой вѣрѣ, не сомнѣваясь въ ея истинности. Но на второй и особенно на третій годъ такой жизни я сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою. Одни изъ нихъ говорили: «мы—самые хорошие и полезные учителя; мы учимъ тому, что нужно, а другіе

учать неправильно». А другіе говорили: «нѣтъ, мы настоящіе, а вы учите неправильно». И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга.

Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ. Я понялъ, что въ своемъ самообольщеніи мы не замѣчали, что ничего не знаемъ, что мы не знаемъ самаго главнаго, что на самый просто и, вмѣстѣ, единственно важный вопросъ жизни: что хорошо, что дурно—мы не умѣемъ найти никакого точнаго отвѣта. И вотъ мы, не зная этого единственно важнаго въ жизни, не зная добра и зла, чему-то кого-то учили, кричали, не слушая другъ друга, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга, съ тѣмъ, чтобы и меня похвалили, иногда же раздражаясь другъ противъ друга—совершенно какъ въ сумасшедшемъ домѣ. И я, смутно чувствуя ложь эту, не зная, гдѣ истина, страдалъ, но не имѣлъ духа отречься отъ тщеславнаго чина художника, поэта, учителя,—и гордость моя, и сумасшедшая увѣренность, что я призванъ учить людей, самъ не зная чему, все болѣе и болѣе болѣзненно развивались. Такъ я жилъ, предаваясь этому безумію, еще шесть лѣтъ».

Но и предаваясь безумію, Толстой въ святая святыхъ души своей не могъ мириться съ нимъ. Онъ спорилъ и ссорился, отрицалъ Шекспира, не хотѣлъ стоять на колѣнахъ передъ Пушкинымъ—что тогда требовалось литературнымъ уставомъ,—смѣялся надъ нѣсколько чувствительнымъ народничествомъ, процвѣтавшимъ съ легкой руки Григоровича, и сердился на всѣхъ и вся, и на изящныя манеры, и на изящный языкъ, и на изящныя теоріи чистой красоты.

Недовольный Петербургомъ, онъ скоро уѣхалъ изъ него. Нѣсколько странно объясняетъ причины этого недовольства г. Берсъ, говоря: «Петербургъ никогда Льву Николаевичу не нравился: онъ не могъ ничѣмъ выдвигаться въ высшемъ кругу Петербурга, служебной карьеры онъ не домогался, большимъ состояніемъ не владѣлъ, а громкой славы писателя тогда еще не составилось у него».

Считать всѣ эти мелочи главной причиной недовольства я не могу, но что и эти мелочи могли играть нѣкоторую роль, я это охотно допускаю съ точки зрѣнія дрожжей стараго барства. Но въ святая святыхъ души, не исчезая, таилось преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа и его страданія. Оно то и навело Толстого на такія мысли.

«Счастье вотъ что... счастье, чтобы жить для другихъ. И это ясно.. Въ человѣка вложена потребность счастья, стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно

будеть удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе... Но это еще не правило жизни, это настроеніе.

VI.

Въ деревнѣ и заграницей.

Полагаю, никто не станетъ требовать отъ меня, чтобы я представилъ всю жизнь гр. Л. Н. Толстого вытянутой въ одну линію, а самого Л. Н. каждую минуту сокрушающимся о грѣхахъ своихъ, о противорѣчіяхъ цивилизації и пшущимъ опять-таки каждую минуту правды и истины. Жизнь гр. Толстого, какъ и всякаго человѣка, исполнена противорѣчій. Великое сегодня—завтра представлялось ему ненужнымъ и пустымъ, что съ точки зрѣнія нервной молодости совершенно логично. Всѣхъ уклоненій отъ господствующаго настроенія, искавшаго близости съ народомъ, я перечислять не буду. Но на нѣкоторыхъ остановиться необходимо. Главнымъ изъ этихъ послѣднихъ было отжѣченное еще нами при описаніи юности стремленіе къ личному совершенствованію. Стремленіе это принимало самую разнообразную форму, вплоть до гимнастическихъ упражненій на трапедіи и съ тяжелыми гириями, и ужъ самъ графъ Толстой виноватъ, что придавъ этимъ невиннымъ развлеченіямъ мрачный характеръ, рассказывая о нихъ впослѣдствіи въ «Исповѣди».

«Теперь вспоминая то время, я вижу ясно, что вѣра моя — то, что кромѣ животныхъ инстинктовъ двигало моею жизнью—единственная вѣра моя въ то время была вѣра въ совершенствованіе, въ прогрессъ. Но въ чемъ она была, какая была цѣль ихъ, я бы не могъ сказать. Я старался совершенствовать себя умственно и учился всему, чему могъ и на что на-талкивала меня жизнь. Я старался совершенствовать свою волю, составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать. Совершенствовалъ себя физически, всякими упражненіями изо-щряя силу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего этого было, разумѣется, нравственное совершенствованіе, но вскорѣ оно подмѣнилось совершенствованіемъ вообще, т. е. желаніемъ быть

лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И скоро это желаніе быть лучше передъ другими подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ... *Гадко* вспомнить даже объ этомъ. Но, говоря совсѣмъ безпристрастно, я не могу обвинять въ этомъ только себя. Напротивъ, у меня и тогда было горячее желаніе добра. Но я былъ молодъ, у меня были страсти, и я оказывался совершенно одинокъ каждый разъ, когда хотѣлъ уйти отъ страстей и идти къ добру... Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть—все эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе...

Толстому *гадко* было впослѣдствіи вспоминать о своемъ стремленіи къ совершенствованію, но на самомъ дѣлѣ не все же было гадко въ этомъ стремленіи, а напротивъ многое хорошо, симпатично и даже, если хотите, комично. Толстой увлекался гимнастикой, и вотъ по утрамъ въ Ясной Полянѣ, когда къ нему являлся бурмистръ за приказаніями, то происходила такая напр. сцена: «баринъ въ трико виситъ внизъ головой, на трапеціи раскачивается, выкидываетъ различные пируеты и въ то-же время бесѣдуетъ о запашкахъ и умоляетъ...»

—Барское дѣло!..—подумывалъ вѣроятно бурмистръ, почесывая у себя въ затылкѣ и почтительно слѣдя за бариномъ, чудесно выдѣлывавшимъ кззла.

Смѣшно-то это смѣшно, но что-же тутъ гадкаго?..

Въ Ясную Поляну Толстой вернулся изъ Петербурга въ 56 году, нѣсколько утомленный столичною жизнью, ея пустопорожнимъ и не всегда чистымъ времяпрепровожденіемъ, внимательно присматривался къ сельскому быту, усердно занимался хозяйствомъ, увлекался даже полевыми работами...

«Понравилось ему—съ добродушной ироніей пишетъ въ это время его братъ Николай—какъ работникъ Юфанъ растопыриваетъ руки при пахотѣ, и вотъ Юфанъ для него эмблема сельской силы, вродѣ Микулы Селяниновича. Онъ самъ широко разставляя локти, берется за соху и юфанствуетъ». Литературная работа на лонѣ природы идетъ успѣшно. За это время были написаны «Юность», «Встрѣча въ отрядѣ», «Метель», «Записки маркера», «Два гусара».

Но и на этотъ разъ Ясная Поляна не могла полностью удовлетворить его, и онъ отправился за-границу.

«Въ это время—писалъ онъ въпослѣдствіи, держась своей обычной мрачной точки зрѣнія на свое прошлое—я поѣхалъ за-границу. Жизнь въ Европѣ и сближеніе мое съ передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше въ той вѣрѣ совершенствованія вообще, потому что ту же самую вѣру я нашелъ и у нихъ. Вѣра эта приняла во мнѣ ту обычную форму, которую она имѣетъ у большинства образованныхъ людей нашего времени. Вѣра эта выражалась словомъ прогрессъ. Только изрѣдка, не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которыми люди заслоняютъ отъ себя непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности же я жилъ, продолжая исповѣдывать вѣру въ прогрессъ... «Все развивается, и я тоже развиваюсь, а зачѣмъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми—это видно будетъ. Такъ бы я долженъ былъ формулировать тогда свою вѣру»...

Толстой былъ за-границей всего два раза (1857 и 59 г.) Не смотря на его собственную характеристику этимъ поѣздкамъ, приходится съ нимъ не согласиться, а сказать, что за-граница принесла очень много пользы, если и не самому графу, то по крайней мѣрѣ дѣлу русскаго народнаго образованія, находившемуся еще тогда въ зачаточномъ состояніи.

О первой поѣздкѣ Толстого В. П. Боткинъ писалъ между прочимъ Дружинину: «письмо Толстого ко мнѣ занимаетъ всего только одну страничку, но исполнено свѣжести и бодрости. Германія очень заинтересовала его, и онъ хочетъ потомъ поближе узнать ее. Черезъ мѣсяцъ онъ ѣдетъ въ Римъ». Толстой довольно долгое время пробылъ въ Парижѣ, гдѣ встрѣтился съ Тургеневымъ, но не совсѣмъ удачно: «Толстой, продолжаетъ тамъ же В. П. Боткинъ—пишетъ о свиданіи своемъ съ Тургеневымъ: оба они опять блуждаютъ въ какомъ-то мракѣ, грустятъ, жалуются на жизнь, ничего не дѣлаютъ и тяготятся, какъ кажется, своимъ респективными отношеніями». Объ этихъ же респективныхъ отношеніяхъ говоритъ и Тургеневъ въ одномъ изъ своихъ писемъ отъ 1857 г. «Съ Толстымъ я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишкомъ мы врозь глядимъ»...

Замѣтимъ, что по многимъ и многимъ причинамъ первая поѣздка должна была оставить по себѣ тяжелое впечатлѣніе въ душѣ Толстого. Въ Парижѣ онъ видѣлъ смертную казнь, «обличившую ему всю шаткость суевѣрій

прогресса», и въ то же время умеръ его старшій любимый братъ, Николай. Это была свѣтлая, незамѣнимая личность. «Талантливый собесѣдникъ и рассказчикъ, говоритъ Тургеневъ, онъ жилъ всегда или у себя въ деревнѣ, или въ маленькомъ чрезвычайно простомъ домикѣ въ Москвѣ въ самой невозможной квартирѣ, чуть ли не въ лачугѣ гдѣ-нибудь въ отдаленномъ кварталѣ, охотно дѣлясь всѣмъ съ послѣднимъ бѣднякомъ»... Здѣсь-то смерть и взглянула впервые на Толстого своими страшными глазами. Правда, вокругъ него умирали и раньше, умирали на Кавказѣ и подъ Севастополемъ, но все это были чужіе люди, съ жизнью которыхъ не чувствовалось неразрывной связи.

«И вотъ этотъ умный, добрый, серьезный человекъ, — вспоминалъ впоследствии Толстой о своемъ братѣ — еще молодымъ, заболѣлъ чахоткой, страдалъ болѣе года и мучительно умеръ, не понимая, зачѣмъ онъ жилъ, еще меньше понимая, зачѣмъ онъ умеръ...

«Ничто въ жизни не дѣлало на меня такого впечатлѣнія. Правду онъ говаривалъ, что хуже смерти ничего нѣтъ. А какъ хорошенько подумать, что она все-таки конецъ всего, то и хуже жизни ничего нѣтъ... Для чего хлопотать, стараться, коли отъ того, что былъ Николай Николаевичъ Толстой, ничего не осталось!...

«За нѣсколько минутъ передъ смертью, онъ задремалъ и вдругъ очнулся и съ ужасомъ прошепталъ: да что же это такое?—Это онъ ее увидѣлъ, это поглощеніе самого себя въ ничто. А ужъ ежели онъ ничего не нашель, за что ухватиться, что же я-то найду? Еще меньше. И ужъ вѣрно ни я, и никто такъ не будетъ до послѣдней минуты бороться съ нею, какъ онъ».

Этотъ моментъ (смерть брата) я считаю важнѣйшимъ опредѣляющимъ моментомъ для цѣлаго періода жизни Толстого. Послѣ этой смерти онъ поторопился вернуться въ Россію и цѣлый годъ провелъ въ тяжеломъ настроеніи духа. Онъ написалъ за это время «Люцернъ» и «Альбертъ», и чѣмъ-то мрачнымъ вѣетъ отъ обоихъ этихъ рассказовъ и ихъ безконечно грустныхъ сюжетовъ... Толстого стала мучить мысль о смерти, тѣмъ болѣе, что въ своей груди онъ чувствовалъ присутствіе той же болѣзни, которая свела въ могилу его брата.

Онъ уже часто сталъ разсуждать о жизни съ точки зрѣнія смерти и значить, въ минуту наиболѣе сильно овладѣвавшихъ имъ думъ, переставалъ жить. «Нельзя говорить

камень, писать онъ въ 1860 г., чтобъ онъ падалъ кверху, а не книзу, куда его тянетъ. Нельзя смѣяться шуткѣ, которая наскучила. Нельзя ѣсть, когда не хочется. *Къ чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя*. «Я беру жизнь, — продолжаетъ онъ, — какъ она есть. Какъ только дойдетъ человѣкъ до высшей степенн развитія, такъ онъ увидитъ ясно, что все дичь, обманъ, и что правда, которую все-таки онъ любитъ лучше всего, что эта правда ужасна, что какъ увидишь ее хорошенько, ясно, такъ очнешься и съ ужасомъ скажешь, какъ братъ: «да что-жъ это такое?» Но, разумѣется, покуда есть желаніе знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что осталось у меня изъ моральнаго міра, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду дѣлать, только не въ формѣ вашего искусства. Искусство есть ложь, а я ужъ не могу любить прекрасную ложь»...

Къ чему *все, когда завтра начнутся муки смерти, <со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя>*? Новый страшный и огромный вопросъ прибавился къ вопросамъ прежде бывшимъ и если не сейчасъ, то позже, занялъ первенствующее положеніе. Съ этой поры тѣнь смерти начинаетъ падать на всѣ лучшія страницы, вышедшія изъ подъ пера Толстого, а картины смерти то и дѣло вдохновляютъ его. Смерть—муза философіи, и эта формула какъ нельзя лучше оправдалась въ жизни Толстого. Довольно легкомыслія, веселости, суетливыхъ заботъ о своемъ я, — довольно игры, тщеславія и гордости, — довольно смѣха и шутокъ, вѣдь есть что-то страшное, что послѣ жизни ожидаетъ каждаго изъ насъ, и это страшное, это неотразимое—смерть. Какъ же примирить съ нею мою жажду вѣчности, мою любовь къ себѣ, мое настойчивое требованіе личнаго счастья?

VII.

Вторая поѣздка за границу и педагогическія занятія.

Между первой и второй заграничной поѣздкой Толстого прошло около года. Этотъ годъ онъ провелъ въ деревнѣ и между прочимъ занимался съ крестьянскими дѣтьми. Строй будущей яснополянской школы несомнѣнно вырисовывался уже

передъ нимъ въ это время, но, прежде чѣмъ устроить школу, онъ хотѣлъ серьезно подготовиться къ этому дѣлу, вся огромная необходимость котораго тѣмъ яснѣе выступала на первый планъ, чѣмъ оживленнѣе шли приготовленія къ манифесту 19-го февраля. Здѣсь я желаю напомнить читателю нѣсколько строкъ изъ статьи «Яснополянская школа въ декабрѣ и ноябрѣ» — строкъ, гдѣ изложены драгоцѣнныя мысли, хотя и самъ Толстой не разъ пзмѣнялъ имъ и не разъ имъ противорѣчилъ.

«Я вижу, гогоритъ Толстой, людей честныхъ, добрыхъ, членовъ благотворительныхъ обществъ, которые готовы дать и даютъ одну сотую своего состоянія бѣднымъ, которые учредили и учреждаютъ школы и которые, прочтя это, скажутъ: не хорошо! — и покачаютъ головой. Зачѣмъ усиленно развивать крестьянскихъ дѣтей. Зачѣмъ давать имъ чувства и понятія, которыя враждебно поставятъ ихъ къ своей средѣ? Зачѣмъ выводить ихъ изъ своего быта? Я не говорю уже о тѣхъ, выдающихъ себя головой, которые скажутъ: хорошо будетъ устройство государства, когда всѣ захотятъ быть мыслителями и художниками, а работать никто не станетъ! Эти прямо говорить, что они не любятъ работать, и потому нужно, чтобы были люди не то, что неспособные для другой дѣятельности, а рабы, которые работали бы за другихъ. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить ихъ изъ ихъ среды и т. д. — кто это знаетъ? И кто можетъ вывести ихъ изъ своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дѣло. Ѳедька не тяготится своимъ оборваннымъ кафтаникомъ, но нравственные вопросы и сомнѣнія мучаютъ Ѳедьку, а вы хотите дать ему три рубля, катихизисъ и исторію о томъ, какъ работа и смиреніе, которыхъ вы сами терпѣть не можете, одни полезны для человѣка. Три рубля ему не нужны, онъ ихъ найдетъ, когда они ему понадобятся, а работать научится безъ васъ такъ же, какъ дышать; ему нужно то, до чего довела васъ ваша жизнь, вашихъ десять незабитыхъ работой поколѣній. Вы имѣли досугъ искать, думать, страдать, — дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь отъ него таинственной мантией, зарываете въ землю талантъ, данный вамъ исторіей. Не бойтесь, человѣку ничто человѣческое не вредно. Вы сомнѣваетесь? Отдайте съ чувствомъ, и оно не обманетъ васъ. Повѣрьте его природѣ, и вы убѣдитесь, что онъ возьметъ только то, что заповѣдала вамъ передать ему исторія, что страданіями выработалось въ васъ»

Мы еще вернемся къ этому, пока-же нѣсколько словъ о второй заграничной поѣздкѣ Толстого. Онъ отправился туда съ цѣлью главнымъ образомъ изучать тамошнія школы и существующія въ нихъ системы преподаванія, но при этомъ онъ знакомился и съ постановкой благотворительнаго дѣла, а также, почему-то, устройствомъ тюремъ.

Прежде всего онъ отправился въ Берлинъ, слушалъ лекціи Дройзена и Дюбуа-Реймона, посѣщалъ музеи и особенное вниманіе обратилъ на тюрьму въ Моабитѣ, гдѣ введено было одинокое заключеніе. Дальше въ своихъ поѣздкахъ по Германіи онъ посѣщаетъ собранія ремесленныхъ союзовъ, устроенныхъ Шульце-Деличемъ, знакомится съ педагогической знаменитостью Дистервегомъ, но разочаровывается въ немъ за «сухость и черствость». Въ Вартбургѣ онъ заноситъ въ свою записную книгу слова: «Лютеръ великъ»,—откуда ѣдетъ въ Дрезденъ, всюду по дорогѣ осматривая школы, и навѣщаетъ между прочимъ знаменитаго романиста Ауэрбаха, который былъ въ то время его любимцемъ за то вѣроятно, что старался писать книги для народа.

Войдя къ Ауэрбаху, Толстой отрекомендовался такъ: «Я Евгений Бауманъ¹⁾ не по имени, а по характеру. Ваши книги заставили меня серьезно задуматься надъ многимъ и вообще глубоко и благотворно повліяли на меня». Вспоминая объ этомъ эпизодѣ, Ауэрбахъ говорилъ Скайлеру, что онъ ужасно испугался, когда какой то странно глядѣвшій господинъ сказалъ ему, что онъ—Евгеній Бауманъ.

«Я боялся, прибавилъ Ауэрбахъ, что онъ будетъ грозить мнѣ за пасквиль или диффамацию».

Изъ Дрездена онъ отправляется въ Киссингенъ, изучаетъ исторію педагогій, сочиненія Бэкона, Рилы, знакомится съ Фребелемъ и его сочиненіями, ѣдетъ въ Италію, Швейцарію, Марсель, Парижъ, Лондонъ, Брюссель, гдѣ близко сходится съ Прудономъ и Лелевелемъ, а въ Веймарѣ—съ Листомъ. Нужно замѣтить, что Левъ Николаевичъ серьезный знатокъ и любитель музыки и ежедневно проводилъ нѣсколько часовъ за роялемъ. Въ Веймарѣ онъ посѣщалъ дѣтскіе сады и черезъ Іену возвращается обратно въ Россію. За это время написаны имъ: «Три смерти», «Семейное счастье» и «Поликушка».

Вернувшись въ 1861 году въ Ясную Поляну, Левъ Николаевичъ занялъ мѣсто посредника и всецѣло отдался какъ новой своей обязанности, такъ и школамъ. Въ это же время онъ началъ издавать знаменитый свой педагогическій журналъ «Ясная Поляна», въ которомъ сообщалъ свѣдѣнія о методѣ, порядкѣ и ходѣ преподаванія въ Ясно-Полянской школѣ, этомъ

¹⁾ Герой одного изъ романовъ Ауэрбаха, имѣющій нѣкоторое отдаленное сходство съ Левинымъ.

необычайно явленіи не только у насъ въ Россіи, но и въ Европѣ. Это была первая вполне свободная школа. Ученики приходили и уходили, когда хотѣли, дѣлали, что имъ угодно, учились только тѣмъ предметамъ и въ томъ видѣ, въ какомъ они имъ нравились, безъ всякаго принужденія, безъ малѣйшей дисциплины, кромѣ той, которую они вводили сами. Разсаживались не по стрункѣ за партами, а размѣщались, гдѣ кому было удобнѣе: одни лежали на животѣ, другіе разваливались на креслѣ, третьи скучивались гдѣ нибудь въ уголкѣ или у окошка. Никакихъ принужденій, никакихъ приказаній не допускалось. Задача учителей заключалась въ томъ, чтобы интересомъ самаго преподаванія умѣть завладѣть вниманіемъ учениковъ и заставить ихъ водворить порядокъ. И вотъ въ этой свободной республикѣ преподаваніе шло крайне успѣшно, и ученики научились любить школу и ученіе, благодаря тому, что всѣ учителя проникнуты были истиной, не разъ высказываемой Львомъ Николаевичемъ: «всякое принужденіе вредно и указываетъ на недостатокъ самаго метода и преподаванія.— Чѣмъ съ меньшимъ принужденіемъ учатся дѣти, тѣмъ методъ лучше; чѣмъ съ большимъ, тѣмъ хуже».—Учителя и во главѣ ихъ Левъ Николаевичъ старались выработать самый лучший методъ при наибольшей свободѣ учениковъ.

Такова была эта школа, вызывающая удивленіе и теперь въ педагогахъ, напр. французскихъ, которые рѣшительно отказываются понять, какъ при такой анархіи водворился свободный порядокъ. Не отрицая факта успѣшности преподаванія въ Ясно-Полянской школѣ, они стараются объяснить это громадной разницей между французскими городскими дѣтьми и русскими деревенскими ребятами, тогда какъ главная причина здѣсь кроется въ томъ, что громадное большинство учителей, какъ французскихъ, такъ и европейскихъ вообще, а нашихъ русскихъ въ частности, имѣютъ въ виду свое удобство, а не удобство учениковъ, и не придерживаются основного правила педагогической дѣятельности Льва Николаевича. Вотъ это основное правило: «учитель никогда не долженъ позволять себѣ думать, что въ неуспѣхѣ виноваты ученики, а твердо знать, что въ неуспѣхѣ виноваты только онъ, потому что чѣмъ хуже самъ учитель знаетъ предметъ, которому онъ учитъ, тѣмъ ему нужнѣе строгость и принужденіе; напротивъ, чѣмъ больше учитель знаетъ и любитъ предметъ, тѣмъ естественнѣе и свободнѣе его преподаваніе».

Свободная его школа и издаваемый при ней журналъ «Ясная Поляна» породили недоразумѣніе въ правящихъ сферахъ, выразившееся въ слѣдующей интересной перепискѣ между министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ сообщилъ Министру Народнаго Просвѣщенія 3-го октября 1862 года:

«Внимательное чтеніе педагогическаго журнала «Ясная Поляна», издаваемаго графомъ Толстымъ, приводитъ къ убѣжденію, что этотъ журналъ, проповѣдующій совершенно новыя приемы преподаванія и основныя начала народныхъ школъ, нерѣдко распространяетъ такія идеи, которыя, независимо отъ ихъ неправомерности, по самому направленію своему оказываются вредными. Не входя въ подробный разборъ доктрины этого журнала и не указывая на отдѣльныя статьи и выраженія, что впрочемъ не представляло-бы затрудненій, я считаю нужнымъ обратить вниманіе Вашего Превосходительства на общее направленіе и духъ этого журнала, нерѣдко низвергающіе основныя правила религіи и нравственности. Продолженіе журнала въ томъ-же духѣ, по моему мнѣнію, должно быть признано тѣмъ болѣе вреднымъ, что издатель, обладая замѣчательнымъ и, можно сказать, увлекательнымъ литературнымъ дарованіемъ, не можетъ быть заподозрѣнъ ни въ злоумышленности, ни въ недобросовѣстности своихъ убѣжденій. Зло заключается именно въ ложности и, такъ сказать, въ эцентричности этихъ убѣжденій, которыя, будучи изложены съ особеннымъ краснорѣчіемъ, могутъ увлечь на этотъ путь неопытныхъ педагоговъ и сообщить неправильное направленіе дѣлу народнаго образованія. Имѣю честь сообщить о семъ Вамъ, Милостивый Государь, въ томъ предположеніи, что не изволите-ли Вы признать полезнымъ обратить особое вниманіе цензора на это изданіе.»

Получивъ это отношеніе, Министръ Народнаго Просвѣщенія поручилъ разсмотрѣть всѣ вышедшія книги журнала «Ясная Поляна» и сообщилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ отъ 24 октября того-же года, что какъ по собственному наблюденію министерства, такъ и по содержанію представленнаго ему, Министру, отчета о «Ясной Полянѣ», въ направленіи помянутаго журнала нѣтъ ничего вреднаго и противнаго религіи, но встрѣчаются крайности педагогическихъ воззрѣній, которыя подлежатъ критикѣ въ ученыхъ педагогическихъ журналахъ, а никакъ не запрещенію со стороны цензуры.

«Вообще, писалъ далѣе Министръ Народнаго Просвѣщенія, «я долженъ сказать, что дѣятельность графа Толстого по педагогической части заслуживаетъ полного уваженія и Министерство Народнаго Просвѣщенія обязано помогать ему и оказывать содѣйствіе, хотя не можетъ раздѣлить всѣхъ его мыслей, отъ которыхъ, послѣ многосторонняго обсужденія, онъ и самъ, вѣроятно, откажется».

Яснополянская школа просуществовала около трехъ лѣтъ и умерла естественной смертью, не столько отъ недостатка интереса со стороны Толстого, какъ отъ того, что каждый ребенокъ въ деревнѣ съ 150 жителями выучился всему, что онъ считалъ для себя нужнымъ, а новыхъ учениковъ не набиралось довольно, чтобы стоило содержать школу. Журналъ „Ясная Поляна“ тоже прекратился.

«Вопросъ о томъ, въ чемъ состоитъ критеріумъ того, чему и какъ должно учить, получалъ для меня все больше значенія» — говоритъ Левъ Николаевичъ, «только рѣшивъ его, я могъ быть увѣренъ, что то, чему и какъ я училъ, не было ни вредно, ни бесполезно.

Въ то время я не нашелъ въ педагогической литературѣ не только сочувствія, не нашелъ даже противорѣчій, но совершеннѣйшее равнодушіе къ поставленному мною вопросу. Были нападки на нѣкоторыя подробности, мелочи, но самый вопросъ очевидно никого не интересовалъ. Я тогда былъ молодъ и это равнодушіе огорчало меня. Я не понималъ, что я съ своимъ вопросомъ: почему Вы знаете чему и какъ учить? — былъ подобенъ тому чело-вѣку, который-бы, положимъ, хотъ въ собраніи турецкихъ пашей, обсуждающихъ вопросъ о томъ, какъ побольше собрать податей, предложилъ имъ слѣдующее: Господа, чтобы знать, съ кого сколько брать податей, надо разобратъ вопросъ: на чемъ основано наше право взиманія?... Очевидно, всѣ пашаи продолжали бы свое обсужденіе о мѣрахъ взысканія и только молчаніемъ отозвались-бы на неумѣстный вопросъ».

При содѣйствіи Льва Николаевича открыто было тогда 14 школъ, «но, говоритъ онъ, я такъ измучился посредничествомъ, школами и журналомъ, такъ тяжела мнѣ стала борьба по посредничеству, такъ смутно проявлялась дѣятельность моя въ школахъ, что я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ бакирцамъ: дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью».

Остановимся теперь на впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ Толстымъ изъ его педагогической дѣятельности. Несомнѣнно прежде всего, что къ своимъ занятіямъ онъ относился не просто какъ педагогъ, а какъ истинный художникъ. Нѣчто великое стояло передъ его воображеніемъ и манило къ себѣ. Каждый ребенокъ, посѣщавшій его школу, былъ не только педагогическимъ матеріаломъ, а живымъ чело-вѣкомъ, душу котораго онъ изучалъ, чья фигура складывалась въ его умѣ въ художественный образъ. Припомните, что Толстой рассказываетъ о своихъ любимцахъ Федѣ и Сенѣ. Читая и перечитывая посвященные имъ страницы, невольно начинаешь соглашаться съ Н. К. Михайловскимъ, замѣтившимъ какъ-то, что въ IV-мъ томѣ полного собранія сочиненій Толстого, т. е. въ статьяхъ, посвященныхъ

Ясной Полянѣ, встрѣчаются художественные перлы, равныхъ которымъ не найдешь въ другомъ мѣстѣ. Вотъ напр. описаніе ночной прогулки графа Толстого съ его учениками.

«Мы пошли къ деревнѣ. Оедька все не пускалъ моей руки, теперь, мнѣ казалось, уже изъ благодарности. Мы всѣ были такъ близки въ эту ночь, какъ давно уже не были. Пронька пошелъ рядомъ съ нами по широкой дорогѣ деревни. «Вишь, огонь еще у Мазановыхъ!» сказалъ онъ. «Я нынче въ классъ шелъ, Гаврюха изъ кабака ѣхалъ пьяный-распьянный; лошадь вся въ мылѣ, онъ-то ее ожариваетъ... Я всегда жалѣю. Право! за что ее бить.»—«А надѣсь батя, сказалъ Семка, пустить свою лошадь изъ Тулы, она его въ сугробъ завезла, а онъ спитъ пьяный.»—«А Гаврюха такъ по глазамъ и хлещетъ... и такъ мнѣ жалко стало, еще разъ сказалъ Пронька:—за что онъ ее билъ? слѣзь, да и хлещетъ». Семка вдругъ остановился. «Наши ужъ спать», сказалъ онъ, вглядываясь въ окна своей кривой черной избы. «Не пойдете еще?»—«Нѣтъ».—«Пра-ащайте, Л. Н.», крикнулъ онъ вдругъ и, какъ будто съ усиленіемъ оторвавшись отъ насъ, рысью побѣжалъ къ дому, поднявъ щеколду и скрылся. «Такъ ты и будешь разводить насъ—сперва одного а потомъ другого?» сказалъ Оедька. Мы пошли дальше. У Проньки былъ огонь; мы заглянули въ окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина съ черными бровями и глазами, сидѣла за столомъ и чистила картошку; на срединѣ висѣла люлька; математикъ 2-го класса, другой братъ Проньки, стоялъ у стола и ѣлъ картошку съ солью. Изба была черная, крошечная, грязная. «Пропасти на тебя нѣтъ!» закричала мать на Проньку. «Гдѣ былъ?» Пронька кротко и болѣзненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что онъ не одинъ, и сейчасъ перемѣнила выраженіе на нехорошее, притворное выраженіе. Остался одинъ Оедька. «У насъ портные сидятъ, оттого свѣтъ», сказалъ онъ своимъ смягченнымъ голосомъ; «нынѣшняго вечера прощай, Л. Н.», прибавилъ онъ тихо и нѣжно, и началъ стучать кольцомъ въ запертую дверь. «Отоприте», прозвучалъ его тонкій голосъ среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянулъ въ окно: изба была большая; съ печи и лавки виднѣлись ноги; отецъ съ портными игралъ въ карты, нѣсколько мѣдныхъ денегъ лежало на столѣ. Баба, мачиха, сидѣла у свѣтца и жадно глядѣла на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужикъ, держалъ на столѣ карты, согнутыя лубкомъ, и съ торже-

ствомъ глядѣть на партнера. Отецъ Оедьки съ разстегнутымъ воротничкомъ, весь сморщившись отъ умственного напряженія и досады, переминалъ карты и въ нерѣзительности сверху замахивался на нихъ своею рабочею рукой. «Отоприте!» Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте! еще разъ повторилъ Оедька:—всегда такъ давайте ходить».

Это живое, истинное человѣческое, лишенное всякаго профессиональнаго педантизма отношеніе Толстого къ ученикамъ и было для него неизсякаемымъ источникомъ наслажденія. Онъ отдавался своему дѣлу со страстью и быть можетъ утвердился бы въ немъ, если-бы не эти надоедливыя постороннія обстоятельства, стоящія, какъ извѣстно, всегда на пути всякой дѣятельности. Препятствія, встрѣченныя графомъ Толстымъ были различны. Они шли, какъ мы видѣли только что, и отъ администраціи, и отъ сосѣдей-помѣщиковъ, почему-то подозрительно поглядывавшихъ на графа-педагога. Меньше всего виновата крестьянская косность, хотя, разумѣется, Толстому приходилось наталкиваться и на нее. Вотъ примѣръ, довольно характерный въ этомъ отношеніи:

«... Общество въ дер. Подосинкахъ нашло своего учителя и на предложеніе мое замѣстить избраннаго ими учителя другимъ объявило, что не нуждается въ новомъ учителѣ и своимъ довольно. Учитель этотъ былъ отставной дьячекъ, уже 20 лѣтъ занимавшійся обученіемъ дѣтей... Онъ предложилъ учить дешевле, чѣмъ въ другихъ школахъ... Я посѣтилъ эту школу во время ся чѣтенія. Когда мы вошли, все было тихо тамъ; 24 мальчика, сидѣвшіе съ вырѣзными указками чинно вокругъ длиннаго стола, вдругъ запѣли на разные голоса. Во главѣ всѣхъ сидѣлъ сынъ огородника, лѣтъ 16-ти, въ синемъ кафтанѣ. Онъ запѣвалъ: «надѣющійся на ны»; сосѣдъ его, вода указкой по засаленной азбукѣ, пѣлъ: «словаподъ титлами: ангель, ангельскій, архангель, архангельскій»; и снова начиная: слова подъ титлами: ангель и т. д.; третій: «буки-арцы-азъ-бра»; четвертый—«премудрость». Когда я вошелъ въ избу, они закричали, потомъ встали. Учителя не было. Я спросилъ, зачѣмъ они встали? Они объяснили, что меня ждали и что такъ имъ было приказано. Я попросилъ ихъ сѣсть и продолжать; всѣ начали опять съ тѣхъ же словъ: «надѣющіеся, слова подъ титлами» и т. д. Здѣсь я въ первый разъ видѣлъ классическую старинную школу».

Мужички, какъ видно, предпочли своего дьячка потому, что тотъ обходился имъ дешевле. Но вообще, повторяю, не эта сторона дѣла утомила Толстого и заставила его разочароваться.

Какъ во всемъ въ жизни, Толстой и въ педагогической дѣятельности стремился къ грандіозному и даже безусловному. Не обученіе грамотѣ было ему нужно, а воспитаніе чело-
вѣ-

ческаго характера путемъ любви, свободы и знанія. Нищенская программа нашихъ школъ была ему противна. Лучшимъ доказательствомъ того, какъ вѣрилъ онъ въ дѣтей и какъ высоко цѣнилъ ихъ дарованія, можетъ служить статья изъ журнала «Ясная Поляна», озаглавленная: «Кому у кого учиться писать (въ смыслѣ творчества): крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у крестьянскихъ ребятъ?» Оказывается, что и самому графу Толстому было небезполезно «сочинять» вмѣстѣ съ Федькой и Сенькой, то руководя ими, то подчиняясь имъ. Пусть читатель прочтетъ эту замѣчательную статью, краткая передача которой только бы испортила ее—и онъ пойметъ то огромное и безусловное, что носилось передъ воображеніемъ графа Толстого во время его занятій съ крестьянскими ребятами.

VIII.

Писательская драма.

Никогда раньше Толстой такъ тѣсно не сближался съ крестьянскимъ міромъ, какъ во время своего учительства въ Ясно-Полянской школѣ и мирового посредничества. Каждый день ему приходилось разговаривать съ различными «опчествами» или депутатами этого общества и вести долгія душевные бесѣды съ крестьянскими ребятами—бесѣды, такъ подробно описанныя имъ въ IV-мъ томѣ его сочиненій. Но это-то сближеніе и послужило поводомъ къ пересмотру всѣхъ своихъ культурныхъ теорій съ точки зрѣнія простого народа. Здѣсь-то и скрывается источникъ той писательской драмы, которая совершилась въ 61-мъ и въ 62-мъ годахъ и, вновь выплывши на сцену, 20 лѣтъ спустя довела Толстого до полного почти отрицанія собственной художественной дѣятельности. Нужно ли народу, т. е. массѣ, т. е. въ сущности всему человечеству, на которомъ культурные люди являются лишь наслоеніемъ, то, что я пишу?—Послѣ долгаго мучительнаго анализа Толстой отвѣтилъ: нѣтъ, не надо. Во имя чего я пишу? задалъ онъ себѣ другой вопросъ и опять-таки рѣзко отвѣтилъ себѣ: только во имя эгоизма, только во имя самоублаженія. Отсюда ясный выводъ: писательство—пустяки, потому что оно не нужно массѣ, и писательство вредно, безнравственно, скверно, потому что оно служитъ тому же алчному культурному я. А вѣдь смыслъ жизни въ любви, само-

отверженіи. Вліяніе Руссо, отмѣченное нами еще въ года юности, инстинктивное отвращеніе къ легкой, веселой и распущенной жизни, которую вели петербургскіе литераторы 50-хъ годовъ, преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ севастопольскихъ солдатъ, страхъ смерти, придававшій всякой мысли и чувству пессимистическое настроеніе—все это соединилось во-едино, чтобы заставить *писателя* Толстого признать вредъ *книгопечатанія*, а *художника* Толстого считать бесполезнымъ или прямо вреднымъ *созданіе художественныхъ произведеній*. Есть не мало поэтическихъ картинъ, гдѣ скульпторъ бросаетъ свой рѣзецъ и разбиваетъ только что оконченную статую, гдѣ музыкантъ разбиваетъ свой инструментъ и т. д., но мотивомъ этого страшнаго недовольства художника собственнымъ созданіемъ всегда является невозможность достигнуть идеала, Этого мотива не было у Толстого. Его мѣра—не идеаль искусства, а нужда и требованіе народа. Во имя этой нужды и требованій онъ отрекся отъ господствовавшей въ его время педагогики и отъ господствовавшихъ въ его время взглядовъ на литературу.

Кажется, Толстой недолюбливалъ Достоевскаго, но, право, чѣмъ больше вдумываешься въ дѣло, тѣмъ яснѣе видишь, что у обоихъ писателей земли русской много и много общаго. «Мы всѣ демократы и можемъ поступать и разсуждать лишь какъ демократы»—говорилъ Достоевскій... Онъ всегда проповѣдывалъ любовь, самоотреченіе, смиреніе. Онъ ненавидѣлъ легкій взглядъ на жизнь и съ его точки зрѣнія выходило, что «жизнь—задача громадная; что житейская борьба сурова, что не для радости живетъ человекъ, а для осуществленія нравственнаго идеала, въ жертву которому онъ долженъ принести свое я»... Правда, у Толстого нѣтъ мистической экзальтаціи и *припадокъ* творчества, но и его жизнь, какъ жизнь Достоевскаго,—постоянныя внутреннія муки, сомнѣнія, ожесточенная борьба съ самимъ собой, а единственный выходъ изъ этой скверной жизни нравственный долгъ и народъ...

«Для меня очевидно, писалъ Толстой въ 1861 г., что распложеніе журналовъ и книгъ, безостановочный и громадный процессъ книгопечатанія былъ выгоденъ для писателей, редакторовъ, издателей, корректоровъ и наборщиковъ. *Огромныя суммы народа косвенными путями перешли въ руки этихъ людей*. Книгопечатаніе такъ выгодно для этихъ людей, что для увеличенія, числа читателей придумываются всевозможныя средства: этихи

повѣсти, скандалы, обличенія, сплетни, полемика, подарки, преміи, общества грамотности, распространенія книгъ и школы для увеличенія числа грамотныхъ... Но если число журналовъ и книгъ увеличивается, ежели литература такъ хорошо окупается, то стало быть она необходима, скажутъ мнѣ наивные люди. Стало быть откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвѣчу я... *Литература, также какъ и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа...* У насъ есть разные журналы, есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, не смотря на давность существованія, неизвѣстны, не нужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣланныхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе «Бориса Годунова» Пушкина или исторію Соловьева, надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. *Наша литература не прививается и не привьется народу;* надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу не усомнятся въ этомъ... Всякій добросовѣстный судья, неодолимый вѣрою прогресса, признается, что *выгодъ книгопечатанія для народа не было...* Но скажутъ можетъ быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогрессъ книгопечатанія, не принося прямой выгоды народу, содѣйствуетъ его благосостоянію тѣмъ, что смягчаетъ нравы общества; что разрѣшеніе крѣпостного вопроса, напримѣръ, есть только произведеніе прогресса книгопечатанія. На это я отвѣчу, что смягченіе нравовъ общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужнымъ вѣрить на слово. Я не нахожу напримѣръ, чтобы отношенія фабриканта къ работнику были человѣчнѣе отношеній помѣщика къ крѣпостному... Главное же, что я имѣю сказать противъ такого аргумента, есть то, что, взявъ въ примѣръ хотя освобожденіе отъ крѣпостного права, я не вижу, чтобы книгопечатаніе содѣйствовало его прогрессивному разрѣшенію. Ежели бы правосудіе въ этомъ дѣлѣ не сказало своего рѣшительнаго слова, то книгопечатаніе безъ сомнѣнія разъяснило бы дѣло совершенно иначе. Мы видѣли, что большая часть органовъ требовала бы освобожденія безъ земли и приводила бы доводы, столь же кажущіеся разумными, остроумными, саркастическими. *Прогрессъ книгопечатанія, какъ и прогрессъ электрическихъ телеграфовъ, есть монополія извѣстнаго класса общества,* выгодная только для людей этого класса, которые подъ словомъ прогрессъ разумѣютъ свою личную выгоду, вслѣдствіе того всегда противорѣчащую выгодѣ народа. Мнѣ пріятно читать журналы отъ праздности; я даже интересуюсь Оттономъ, королемъ греческимъ. Мнѣ пріятно написать или издать статейку и получить по телеграфу извѣстіе о здоровьи моей сестрицы и знать навѣрное, какой пѣны я долженъ ождать за свою пшеницу. Какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ нѣтъ ничего предосудительнаго въ удовольствіяхъ, которыя я при этомъ испытываю, и въ желаніяхъ, которыя я имѣю, чтобы удобства

къ такого рода удовольствіямъ увеличивались, но совершенно несправедливо будетъ думать, что мои удовольствія совпадаютъ съ увеличеніемъ благосостоянія всего человечества». (Сочиненія, т. IV, 192 и слѣд.)...

Въ подчеркнутыхъ мною фразахъ точка зрѣнія Толстого выяснена какъ нельзя лучше. Я несогласенъ съ ней, какъ несогласенъ съ тѣмъ, что высшая математика бесполезна или вредна лишь потому, что она недоступна пониманію трехлѣтняго ребенка. Ребенокъ вырастетъ. Да, едва ли теперь можно сказать, что «прогрессъ книгопечатанія есть монополія извѣстнаго класса общества», а ужъ если говорить о вредѣ, то на первый планъ надо выдвигать монополію, а ужъ никакъ не книгопечатаніе—простое орудіе для полезнаго и вреднаго, прекраснаго и сквернаго.

Но для меня теперь важна не мысль Толстого, а его настроеніе, его писательская драма, по поводу которой между прочимъ считаю нужнымъ напомнить, что впервые она была подвергнута блестящему анализу въ сочиненіяхъ Н. К. Михайловскаго въ 1875 году.

Я прошу теперь читателя серьезно вдуматься въ душевное состояніе писателя, пришедшаго къ вышеприведеннымъ воззрѣніямъ на книгопечатаніе и литературу,—писателя не ради куска хлѣба и не по какимъ-либо случайнымъ обстоятельствамъ, а такого, какъ графъ Толстой, т. е. писателя по призванію, неудержимо гонимаго на литературное поприще избыткомъ творческой силы. Положеніе истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говорить, что нѣтъ ничего предосудительнаго въ желаніи написать статейку и получить за нее деньги и извѣстность. Но гр. Толстой знаетъ, что этимъ именно непредосудительнымъ путемъ «огромныя суммы перешли въ руки лицъ», прикосновенныхъ къ литературѣ и книгопечатанію, что такъ именно складывается вся литература, эта искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа». Человѣку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писательствующему не по внутренней потребности — легко сказать то, что говоритъ гр. Толстой. Съ другой стороны, есть много людей, совершающихъ ужасныя преступленія и тѣмъ не менѣе спокойныхъ душой, потому что ихъ дѣйствія для нихъ не суть преступленія; они не сознаютъ ихъ преступности. Словомъ, когда сознаніе и потребности находятся тѣмъ или дру-

гимъ способемъ въ равновѣсїи, жить легко. Гр. Толстой, напротивъ, ясно сознаеть, что литература есть одинъ изъ видовъ эксплуатаціи народа, и тѣмъ не менѣе участвуетъ въ ней, потому что, какъ вѣчному жиду таинственный голосъ не уставалъ говорить: иди, иди, иди, такъ и гр. Толстому внутренній голосъ, голосъ его богатоодаренной природы не устаетъ говорить: пиши, пиши, пиши.

Любопытно однако прослѣдить и за дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ Толстого на тотъ-же предметъ. Въ тѣхъ-же ясно-полянскихъ статьяхъ онъ говоритъ напр.:

«Страшно сказать: я пришелъ къ убѣжденію, что все, что мы сдѣлали по этимъ двумъ отраслямъ (по музыкѣ и поэзіи), все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, не имѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ тѣми требованіями и даже произведеніями тѣхъ же искусствъ, обрашки которыхъ мы находимъ въ народѣ. Я убѣдился, что лирическое стихотвореніе, какъ напримѣръ: «Я полно чудное мгновеніе», произведеніе музыки, какъ послѣдняя симфонія Бетховена,—не такъ безусловно и всемірно хороши, какъ пѣсня о «Ванькѣ-клюшничкѣ» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»; что Пушкинъ и Бетховенъ нравятся намъ не потому, что въ нихъ есть абсолютная красота, но потому, что мы такъ же испорчены, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, потому что Пушкинъ и Бетховенъ одинаково льстятъ нашей уродливой раздражительности и нашей слабости».

Или:

«Картина Иванова возбудить въ народѣ только удивленіе предъ техническимъ мастерствомъ, но не возбудить никакого, ни поэтического, ни религіознаго чувства, тогда какъ это самое поэтическое чувство возбуждено *любочною картинкой* *Іоанна Новгородскаго* и *чорта въ кушмъ*. Венера Милосская возбудить только законное отвращеніе предъ наготой, предъ наглостью разврата—стыдомъ женщины. Квартетъ Бетховена послѣдней эпохи представится неспріятнымъ шумомъ, интереснымъ развѣ только потому, что одинъ играетъ на большой дудкѣ, а другой на большой скрипкѣ. Лучшее произведеніе нашей поэзіи, лирическое стихотвореніе Пушкина, представится наборомъ словъ, а смыслъ его презрѣнными пустяками. Введите дитя народа въ этотъ міръ, (вы это можете сдѣлать и постоянно дѣлаете посредствомъ іерархіи учебныхъ заведеній, академій и художественныхъ классовъ)—онъ почувствуетъ и прочувствуетъ искренно и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартетъ Бетховена, и лирическое стихотвореніе Пушкина. Но войдя въ этотъ міръ, онъ будетъ дышать уже не всеміи легкими, уже его болѣзненно и враждебно будетъ охватывать свѣжій воздухъ, когда ему случится вновь выдти на него».

Слѣдуетъ-ли изъ этого, что не надо писать картинъ Иванова и Рафаэля, а изображать Ивана Новгородскаго и чорта

въ *кувшинъ*? Въ 60-хъ годахъ такого вывода гр. Толстой еще не сдѣлалъ, а только рѣзко выставилъ противорѣчіе, изъ котораго можно сдѣлать однако выводы діаметрально противоположные...

Писательскую драму гр. Толстого Н. Б. Михайловскій объясняетъ его десницей и шуйцей или, проще, старо-барскими дрожжами по наслѣдственности, воспитанію и условіямъ жизни рядомъ съ народническими демократическими симпатіями сердца и выводами разума, причемъ десница и шуйца никакъ не могутъ столкнуться между собою. Графъ Толстой хотѣлъ-бы служить народу своимъ творческимъ талантомъ, быть народнымъ писателемъ, но «кругъ его умственныхъ интересовъ и слишкомъ широкъ, и слишкомъ узокъ для роли народнаго писателя. Съ одной стороны, онъ владѣетъ запасомъ образовъ и идей, недоступныхъ народу по своей широтѣ и высотѣ. Съ другой стороны, онъ какъ человѣкъ извѣстнаго слоя общества слишкомъ близко принимаетъ къ сердцу мелкія, узкія радости и тревоги этого слоя; слишкомъ ими занятъ, чтобы отказаться отъ поэтическаго ихъ воспроизведенія. Забавы аристократическихъ салоновъ и бури дамскихъ будуаровъ, несмотря на все ихъ ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очень его интересуютъ. Эти интересы—новый элементъ совершающейся въ его душѣ драмы—мѣшаютъ ему не только быть народнымъ писателемъ, но и идти по другому, косвенному пути: къ примиренію потребности поэческаго творчества съ сознаниемъ нѣкоторой его грѣховности...»

Вопросъ о косвенныхъ путяхъ и примиреніи противорѣчій мы оставимъ пока въ сторонѣ и будемъ продолжать нашъ анализъ. Въ приведенныхъ изъ ясно-полянскихъ статей отрывкахъ читатель видитъ передъ собой развѣдающій скептицизмъ, упирающійся пока въ глухой переулочъ и заканчивающійся мучительнымъ вопросомъ: «что-же дѣлать?». Читатель помнитъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что этотъ скептицизмъ являлся безусловно характернымъ для Толстого еще въ годы его отрочества и юности. Но форма осталась та же самая, сущность-же значительно измѣнилась. Скептицизмъ отрочества и юности безцѣленъ и произволенъ; онъ подкапывается подъ то или другое положеніе, не зная—зачѣмъ, не спрашивая себя—почему, а лишь повинуваясь могучему инстинкту, заложенному природой, и наслаждается при этомъ собственной своей игрой. У него нѣтъ критеріума. Поздній скептицизмъ—другое дѣло. Онъ также

остръ, также мучителенъ и непроизволенъ, но у него есть уже исходный пунктъ, есть точка отправления, откуда онъ совершаетъ свои атаки и вылазки, есть, словомъ, знамя. Это знамя—народъ и народные интересы и вмѣстѣ съ тѣмъ невольное страстное желаніе отдѣлаться отъ собственной душевной надломленности.

«Я думаю, говорить тотъ-же Н. К. Михайловскій, что если-бы въ такомъ положеніи могъ оказаться человѣкъ дюжинный, онъ покончилъ-бы самоубійствомъ или пьянствомъ... Человѣкъ недюжинный будетъ разумѣется искать другихъ выходовъ».

Но выхода собственно Толстой самъ не нашелъ. Его на нѣкоторое время по крайней мѣрѣ выручила жизнь и могучая потребность жизни, инстинктъ счастья и наслажденія.

Какъ это случилось, какъ удалось Толстому не уничтожить въ себѣ сомнѣнія и замолчать ихъ на цѣлые пятнадцать лѣтъ—мы увидимъ сейчасъ-же.

IX.

Семейная жизнь.

«Вернувшись отъ башкиръ, продолжаетъ свой рассказъ Л. Толстой, я женился. Новые счастливыя условія семейной жизни совершенно отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, дѣтахъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше... Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками, я, все-таки, продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенія въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей. И я писалъ, научая тому, что для меня было единой истиной: что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше».

Толстой вернулся изъ Самарской губерніи прямо въ Москву съ значительно поправившимся здоровьемъ и безъ страха неми-

нуемой смерти отъ чахотки. Здѣсь, въ Москвѣ, онъ часто посѣщаль домъ д-ра Берса, гдѣ были три дѣвушки, дочери хозяйна. Выборъ Толстого палъ на среднюю, Софью Андреевну, хотя, кажется, всѣ три сестры были къ нему неравнодушны и всячески старались выказать ему свое расположеніе. Однажды, напр., Толстой, пріѣхавъ къ Берсамъ, сталъ рассказывать, что на-дняхъ онъ проигрался въ пухъ и прахъ за зеленымъ столомъ, почему и пришлось ему только что написанную повѣсть „Казакъ“ продать Каткову за 1000 р. Барышни расплакались, и быть можетъ эти-то слезы окончательно утвердили Толстого въ его рѣшимости испытать сладости семейной жизни. Онъ попросилъ руки Софьи Андреевны, но ему сначала отказали, потому что не хотѣли отдавать второй дочери раньше замужъ, чѣмъ первую. Однако дѣло уладилось. Окончательное объясненіе Л. Толстого съ будущей женой произошло точно такъ, какъ это описано въ «Аннѣ Карениной» въ сценѣ объясненія Левина съ Китти: одними начальными буквами... Это—маленькая странность и вмѣстѣ съ тѣмъ маленькій легкій штрихъ въ портретъ Толстого и его страсти во всемъ идти особенной дорогой.

Свадьба была 23 сентября 1862 года. Толстому было 34 года, а его невѣстѣ 18. Разница лѣтъ нѣсколько велика. Такъ думалъ по крайней мѣрѣ самъ Толстой, когда писалъ свой романъ «Семейное счастье». Но его семейное счастье оказалось гораздо болѣе прочнымъ и устроеннымъ по другой программѣ, чѣмъ въ романѣ. Это счастье Ростовыхъ, Безухихъ, Левина и Китти Щербацкой...

Нѣсколько отрывковъ изъ писемъ къ Фету покажутъ строеніе его въ первые мѣсяцы и годы послѣ женитьбы. «Я двѣ недѣли женатъ—пишетъ, напр., Толстой отъ 9 окт. 62 г.—и счастливъ, и новый, совсѣмъ новый человекъ...» Или: (1863 г.) «Теперь я пишу исторію пѣлаго мерина («Холстомѣръ»), къ осени думаю напечатать. Впрочемъ теперь какъ писать? Теперь незримыя усилія, даже зримыя и притомъ я въ хозяйствѣ опять прямо по уши. И Соня со мной. Управляющаго у насъ нѣтъ, есть помощники по полевому хозяйству и постройкамъ, а она одна ведетъ контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый садъ, и винокурня. И все идетъ понемножку, хотя разумѣется плохо, сравнительно съ идеаломъ...» Или (1864 г.): «Жена моя совсѣмъ не играетъ въ куклы. Вы не обижайте. Она мнѣ серьезный помощникъ. Мы хозяйствуемъ понемножку. Я сдѣлалъ важное открытіе, которое спѣшу вамъ сообщить.

Прикащики, управляющіе и старосты есть только помѣха въ хозяйствѣ. Попробуйте прогнать все начальство и спать до 10 часовъ, и все пойдетъ навѣрное не хуже. Я сдѣлалъ этотъ опытъ и остался имъ вполне доволенъ...»

Все пока дышетъ бодростью и радостью жизни. Пусть читатель припомнитъ кстати и маленькую художественную сценку изъ «Анны Карениной», сценку, очевидно списанную съ натуры. Долго казалось Левину его новое состояніе и новое счастье неестественнымъ. «За что именно мнѣ такое счастье? говорилъ онъ Китти. Ненатурально, слишкомъ хорошо», сказала она, цѣлуя ея руку. Китти думала объ этомъ иначе, по своему, непосредственно по женски. «Мнѣ, напротивъ, чѣмъ лучше, тѣмъ натуральнѣе»,—отвѣтила она мужу весьма основательно...

Сомнѣнія не прекратились совсѣмъ, но были глубоко подавлены «новымъ состояніемъ и новымъ счастьемъ...» Порядокъ, замѣнившій прежнюю распущенность, полное забвеніе кутежей и карточной игры, усиленные хозяйственные работы, а главное любовь, та любовь, сознавая въ себѣ которую Левинъ чувствовалъ, что «она спасетъ его отъ отчаянія и что любовь эта подъ угрозой отчаянія станетъ еще сильнѣе и чище», многочисленный семейный кружокъ, наконецъ—все это подѣйствовало на Толстого освѣжающимъ и обновляющимъ образомъ. Онъ часто говорилъ, что «онъ вполне счастливъ въ семейной жизни и что онъ нашелъ не только любящую жену и прекрасную мать, но и помощницу въ его литературной дѣятельности». Онъ постоянно посвящалъ Софью Андреевну во всѣ свои писательскіе замыслы, думы и чувства.—«Она одна умѣетъ собрать и привести въ порядокъ всѣ клочки и бумажки, на которыхъ писались драгоценныя строки. Она одна умѣетъ разобрать его въ высшей степени нечеткій почеркъ и изъ поспѣшно сдѣланныхъ имъ, вмѣсто цѣлыхъ словъ, штриховъ и линеекъ воспроизвести именно то, что мыслить и хотѣлъ написать ея мужъ. Онъ часто самъ удивлялся этому. Она съ примѣрной аккуратностью и бережливостью хранитъ для потомства всѣ рукописи какъ изданныхъ, такъ и неизданныхъ его сочиненій...»

Скоро пошли дѣти... Ощущенія отца при рожденіи перваго ребенка прелестно описаны въ «Аннѣ Карениной», и мнѣ остается только привести нѣсколько строкъ изъ этого описанія и напомнить о немъ читателю: «Левинъ зналъ и чувствовалъ только, что то, что совершилось, было подобно тому, что

совершилось годъ тому назадъ... на одрѣ смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость... Но и то горе и эта радость были одинаково внѣ всѣхъ обычныхъ условій жизни, *были въ этой обычной жизни какъ будто отверстія, сквозь которыя показывалось что-то высокое.* И одинаково тяжело, мучительно наступило совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцаніи этого высшаго, *поднималась душа на такую высоту, которой она никогда не понимала прежде и куда разсудокъ не поспѣвалъ уже за нею...*

Семья Л. Н. Толстого съ каждымъ годомъ становилась многочисленнѣе и въ настоящее время у него, кстати замѣтить, 9 человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ пять сыновей. Младшій сынъ родился лишь въ 1891 г.

Мы видѣли, что въ юности Толстой увлекался Руссо; привязанность къ идеямъ, особенно педагогическимъ, великаго женева осталась у него на всю жизнь. Поэтому между прочимъ всѣхъ дѣтей выкормила сама мать. Взгляды Руссо примѣнялись вообще, гдѣ только было возможно. Изъ дѣтской навсегда были изгнаны игрушки; старались какъ можно больше имѣть надъ дѣтми личный надзоръ, а не поручать нянькамъ или боннамъ; дѣтямъ предоставлялась наибольшая свобода; было положено за правило не прибѣгать ни къ насилію, ни къ наказанію. Левъ Николаевичъ находилъ, что принципъ дѣтской самостоятельности нигдѣ не примѣняется такъ широко, какъ въ Англіи. Поэтому дѣти отъ трехъ до 8 или 9 лѣтъ поручались молодымъ англичанкамъ, которыя выписывались прямо изъ Англіи.

«Левъ Николаевичъ, рассказываетъ Берсъ, любилъ открывать ребенку его безсиліе въ природѣ и зависимость отъ взрослыхъ, но не съ цѣлью запугать, а открыть ему правду. Это дѣлалось иногда въ формѣ шутки и съ отѣнкомъ ласки.

«Когда дѣти нуждались въ прислугѣ, имъ запрещалось приказывать. Они должны были просить, прибавляя непременно слово: «пожалуйста». Для примѣра это дѣлалось самими родителями и прочими въ семьѣ.

«Независимо отъ состраданія къ ближнему, въ дѣтяхъ старались развить жалость къ животнымъ.

«Ложь преслѣдовалась строго и легко могла повлечь за собой наказаніе. Наказаніе очень рѣдко проявлялось въ какихъ нибудь дѣйствіяхъ, напр. заключеніе въ комнату и т. п.; а выражалось преимущественно въ холодномъ обращеніи роди-

телей съ дѣтьми за ихъ проступки. Вообще наказывали только малыхъ. Какъ только замѣчалось раскаяніе, наказаніе немедленно отмѣнялось. У дѣтей никогда не вымогались обѣщанія не повторять проступковъ и просьбы о прощеніи ихъ. Откровенность и довѣріе дѣтей къ родителямъ развивались въ нихъ своевременной лаской.

«Всѣмъ этимъ руководили сами родители. Наказаніе дѣтей воспитателямъ безусловно возбранялось.

«Весь взрослый персоналъ Ясной Поляны обязанъ былъ помнить, что дѣти могутъ заимствовать все то, что они видятъ и слышатъ. Однако дѣтей не удаляли изъ общества взрослыхъ, если въ то время имъ не слѣдовало идти спать, учиться или т. п.

«Поэтому, когда наступало восемь часовъ вечера, и дѣти уходили спать, самъ Левъ Николаевичъ говорилъ: «ну теперь стало свободнѣ!»

Можно ли было тосковать, да и было ли время тосковать въ этомъ веселомъ дѣтскомъ мірѣ, да еще среди постоянныхъ заботъ и хлопотъ то о покупкѣ пензенскаго имѣнія, то о покупкѣ самарскаго имѣнія, то о заведеніи коннаго завода, то о тысячахъ хозяйственныхъ мелочей?... А вѣдь графъ Толстой, замѣтивъ это между прочимъ, былъ прекраснымъ хозяиномъ. Одна ключница, служившая у него 9 лѣтъ, рассказываетъ о немъ, какъ о хозяинѣ, вотъ что:

Графъ самъ слѣдилъ за всѣмъ хозяйствомъ и требовалъ, чтобы у него вездѣ была замѣчательная чистота, и въ коровникѣ, и въ свинятникѣ, и въ овчарнѣ.... Въ особенности онъ любовался на своихъ свиней, которыхъ держалъ до трехсотъ штукъ, сидѣвшихъ парами въ отдѣльныхъ небольшихъ хлѣвушкахъ.... Здѣсь графъ не терпѣлъ ни малѣйшей грязи: каждый день я и мои помощники должны были перемывать ихъ всѣхъ, вытирать полъ и стѣны хлѣвушекъ; тогда, проходя по свинятнѣ утромъ, графъ бывалъ очень доволенъ, и громко приговаривалъ: «Какое хозяйство.... Какое хорошее хозяйство!... Зато избави Богъ, если онъ замѣтитъ хоть малѣйшую грязь—сейчасъ разсердится, раскричится... Графъ былъ очень горячій баринъ, и прибѣжавшій въ Ясную Поляну докторъ нѣсколько разъ говаривалъ ему при мнѣ: «Вамъ нельзя такъ сердиться, графъ, это очень вредно для вашего здоровья»... «Не могу,—отвѣчалъ обыкновенно графъ, и хочу сдержаться, да не могу, такой ужъ видно у меня характеръ»... Хозяйство давало графу въ то время хорошій доходъ: кромѣ свиней и поросятъ, у него было восемьдесятъ коровъ, пятьсотъ шленскихъ овецъ и очень много птицы... Между прочимъ мы сбывали отличное сливочное масло, которое продавали въ Москву по шестидесятъ копѣекъ за фунтъ...

При этихъ постоянныхъ хлопотахъ гдѣ было найти время для сосредоточенной тоски или самоуденія духа?

Повидимому Толстой и не тосковалъ, и былъ счастливъ, какъ можетъ быть счастливъ человѣкъ на нашей планетѣ. Правильная жизнь, значительные успѣхи по хозяйству, ростъ семьи, а вмѣстѣ съ этимъ и ростъ заботъ, настойчивая литературная работа, обезсмертившая русскую литературу, такъ какъ «Война и Миръ» была написана какъ разъ въ этотъ періодъ—отвлекала Толстого отъ того, что было постояннымъ источникомъ его душевныхъ страданій, отъ него самого и его эгоизма. И его собственныя письма, и воспоминанія Берса одинаково изображаютъ его заботливымъ, жизнерадостнымъ семьяниномъ. Онъ самъ говоритъ, что въ то время руководился правиломъ, которое одно только казалось ему истиннымъ: дѣлать такъ, чтобы тебѣ самому и близкимъ твоимъ, т. е. семьѣ, было какъ можно лучше.

Вѣдь это вещь огромной неизмѣримой важности—какъ выйти изъ сферы собственнаго своего эгоизма,—и горе тому, кто на это совсѣмъ не способенъ. Большинство выходитъ путемъ семьи, меньшинство—путемъ общественной дѣятельности; лучшее, т. е. соединеніе того и другого выхода, притомъ соединеніе гармоническое, такъ, чтобы семья не мѣшала обществу, такъ, чтобы не развился до излишнихъ алчныхъ размѣровъ специфическій семейный эгоизмъ—это лучшее доступно лишь избраннымъ.

Толстой остановился на первомъ выходѣ, и лично для него это было великимъ счастьемъ. Онъ отдохнулъ отъ своей душевной надломленности, и если не совсѣмъ отъ нея излѣчился, то лишь потому, что надломленность-то была слишкомъ велика, а выходъ не таковъ, который можетъ удовлетворить геніальную и вдумчивую натуру. Выходъ былъ самый элементарный.

Но все-же эгоизмъ семейный шире эгоизма личнаго, а не отъ этого ли послѣдняго страдалъ все время Толстой? Онъ перечисляетъ всѣ свои грѣхи—это грѣхи эгоизма и себялюбія: тутъ и корыстолюбіе, и любострастіе, и честолюбіе, и властолюбіе, и гордость, и гнѣвъ, и месть. Онъ страдаетъ отъ страха смерти: развѣ это не прежде всего страхъ за самого себя, свою личность, для которой смерть есть полное и обидное уничтоженіе; онъ противопоставляетъ культурныхъ людей и народъ: развѣ это не противопоставленіе алчнаго и себялюбивой личности, алчнаго и себялюбиваго «Я» съ природой и молчаливымъ героизмомъ народа?.. Семья вывела Толстого изъ закол-

дованнаго круга его собственной личности, его собственныхъ личныхъ желаній. Отъ своего я онъ убѣждалъ въ семейныя заботы, воспитаніе, хозяйство. Всего этого хватало на 15 лѣтъ.

За этотъ пятнадцатилѣтній періодъ, онъ, повторяю, представляется намъ любящимъ и рачительнымъ семейниномъ, пишетъ письма о пшеницѣ и породистыхъ жеребцахъ, и пишетъ все это вполне серьезно, потому что безъ всего этого никакъ нельзя обойтись, разъ хочешь, чтобы тебѣ и близкимъ твоимъ было какъ можно лучше.

Работалъ онъ очень много и надъ литературой, преимущественно зимою, всегда втеченіи цѣлаго дня, а подчасъ и до поздней ночи. Онъ никогда не ждалъ вдохновенія и держался того мудраго правила, что стоитъ сѣсть работать, и вдохновеніе само придетъ. Ежедневно, за самыми рѣдкими исключеніями, онъ садился за столъ и писалъ или изучалъ источники и матеріалы. За большія свои вещи онъ брался всегда лишь послѣ самой тщательной подготовки. Во время работы ему требовалось абсолютное спокойствіе. Никто, даже жена, не входилъ къ нему въ кабинетъ, когда онъ бывалъ занятъ. Одно время такой привилегіей пользовалась лишь его старшая дочь, когда была еще ребенкомъ. Знакомыхъ у него всегда было очень мало, такъ что лишь очень немногіе наѣзжали къ нему въ Ясную Поляну. Къ этимъ немногимъ принадлежали Н. Н. Страховъ (безусловно необходимая принадлежность каждаго великаго человѣка или даже псевдо-великаго, вроде Н. Даннелевскаго), князь Урусовъ—математикъ, А. Фетъ—Шеншинъ, поэтъ-помѣщикъ и ожесточенный дворянинъ въ одно и то же время. Удѣляя даже своей семьѣ сравнительно немногіе часы дня, Толстой всегда бывалъ веселъ, добродушенъ и шутивъ.

«Нельзя—разсказываетъ Берсъ—передать съ достаточной полнотой того веселаго и привлекательнаго настроенія, которое постоянно царило въ Ясной Полянѣ (1862—1878 г.). Источникомъ его былъ всегда Левъ Николаевичъ. Въ разговорѣ объ отвлеченныхъ вопросахъ, о воспитаніи дѣтей, о вѣшнихъ событіяхъ,—его сужденіе было самое интересное. Въ игрѣ въ крикетъ, въ прогулкѣ онъ оживлялъ всѣхъ своимъ юморомъ и участіемъ, искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самаго простого дѣйствія, которымъ-бы Левъ Николаевичъ не умѣлъ придать интереса и вызвать къ нимъ хорошаго и веселаго отношенія въ окружающихъ....

«Подчиняясь его влиянію и настроенію, дѣти безъ затрудненія совершали съ нимъ длинныя прогулки, напр. верстъ въ 15. Мальчики съ восторгомъ ѣздили съ нимъ на охоту съ борзыми собаками. Всѣ дѣти слѣшили на его зовъ, чтобы дѣлать съ нимъ шведскую гимнастику, бѣгать, прыгать... Зимой всѣ катались на конькахъ, но съ большимъ еще удовольствіемъ расчищали катокъ отъ снѣга. Со мной онъ косилъ, вѣялъ, дѣлалъ гимнастику, бѣгалъ въ перегонку и изрѣдка игралъ въ чехарду. Въ это время онъ всегда смѣялся. Когда намъ случалось проходить тамъ, гдѣ косили, онъ непременно подойдетъ и попросить косу у того, кто казался наиболѣе уставшимъ. Я конечно слѣдовалъ его примѣру. При этомъ онъ всегда объяснялъ мнѣ вопросамъ, отчего мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можемъ косить цѣлую недѣлю подъ-рядъ, а крестьянинъ при этомъ еще и спитъ на сырой землѣ и питается однимъ хлебомъ? — «Попробуй-ка ты такъ!» заключалъ онъ».

Съ семьей гр. Л. Н. Толстой не любилъ разставаться ни на одинъ день, всегда сѣтовалъ на неотложныя поѣздки и то-ропился какъ можно скорѣе вернуться домой.

Х.

Большіе романы.

Мысль о большомъ цѣльномъ произведеніи, которое отразило бы въ себѣ не моментъ настроенія эпохи, а ее всю, появилась у Толстого очень давно, еще въ пятидесятыхъ годахъ. Его «Дѣтство», по замыслу того времени, должно было составить первую часть, «Отрочество» — вторую, «Юность» — третью, и наконецъ «Зрѣлый возрастъ» — четвертую. Но эту свою мысль Толстой осуществилъ лишь на половину: у него осталась незаконченной даже «Юность», лучшую и счастливѣйшую часть которой онъ обѣщалъ описать впоследствии, но такъ и не описать. Большихъ романовъ у Толстого только два: «Война и Миръ» и «Анна Каренина». Они написаны въ пятнадцатилѣтній періодъ, который можетъ быть названъ періодомъ «семейнаго счастья».

Впрочемъ какъ этимъ эпитетомъ, такъ и вообще полнымъ виѣшнимъ благополучіемъ жизни Л. Н. Толстого особенно увлекаться не слѣдуетъ. Въ его натурѣ лежитъ источникъ внутреннихъ

непримиримыхъ противорѣчій,—душевная надломленность поколѣній, а не только его самого. Удачь и счастья, выпавшихъ на его долю, смѣло-бы хватило на десять обыкновенныхъ смертныхъ; его литературный талантъ смѣло перевѣситъ всю совокупность литературныхъ талантовъ современности; его слава могла-бы удовлетворить самого Наполеона—эту ненасытную, воплощенную жажду славы, а доволенъ-ли онъ, и былъ-ли онъ доволенъ когда? Для людей, которые не могутъ, не смотря ни на что, признать законность личнаго счастья, видя передъ собой несчастье другихъ,—счастья и довольства на землѣ нѣтъ. Но эти люди и являются свѣточами міра. Чтобы избѣгнуть какъ нибудь проклятыхъ и мучительныхъ вопросовъ, они могутъ закрывать свои пронизательные—я бы сказалъ даже пронзительные—глаза разными шорами: эгоизмомъ личнымъ и эгоизмомъ семейнымъ, смиреніемъ и непротивленіемъ. Увы, однако... печать Каина никогда не сходила съ чела гениевъ, какъ красиво выражается Брандесъ, особенно въ тѣ эпохи, когда жизнь кишитъ обидными и преступными противорѣчіями.

Были-ли описаны когда-нибудь муки великой и пытливой души? Фаустъ? Прометей? Чайльдъ-Гарольдъ? Манфредъ? Демонъ?—Да, все это—гениальныя попытки описать муки великой и пытливой души, но во всѣхъ этихъ попыткахъ есть одинъ недостатокъ: онѣ слишкомъ общи. Дѣйствительность не мучаетъ, а терзаетъ, колетъ не ножомъ, а булавами, насылаетъ на Прометеевъ не коршуна, а мириады маленькихъ и злыхъ насѣкомыхъ, и самыя великія и пытливыя души не столько страдаютъ, сколько грустятъ...

Грусть, какъ сконцентрированное страданіе, какъ скверный осадокъ всѣхъ жизненныхъ впечатлѣній, никогда не покидала Толстого. Строго говоря, все написанное имъ невыразимо грустно: грустны и Севастопольскіе рассказы, и удивительный перлъ «Три Смерти», «Война и Миръ» и «Анна Каренина». Какъ древніе пророки, Толстой является въ нашемъ обществѣ «съ грустнымъ и строгимъ лицомъ». Его признанія—развѣ это не плачь Іереміи?...

Но мы еще успѣемъ подробно ознакомиться со всѣмъ этимъ; пока-же только одинъ маленькій вопросъ: какъ бы могъ довольный человѣкъ въ разгарѣ семейнаго благополучія увлекаться Шопенгауэромъ? А между тѣмъ Толстой увлекается имъ, окруженный семьей и на вершинѣ доступной человѣку славы. Вотъ

что 30-го августа 69-го года онъ пишетъ напр. Фету: «Знаешь ли, что было для меня нынѣшнее лѣто? Неперестающій восторгъ передъ Шопенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслаждений, которыхъ я никогда не испытывалъ... Не знаю, переменяю ли я когда мнѣніе, но теперь я увѣренъ, что Шопенгауэръ—геніальнѣйшій изъ людей... Читая его, мнѣ непостижимо, какимъ образомъ можетъ оставаться имя его неизвѣстнымъ. Объясненіе только одно—то самое, которое онъ такъ часто повторялъ, что кромѣ идіотовъ на свѣтѣ почти никого нѣтъ»...

Пессимистическіе мотивы никогда не замолкали въ душѣ Толстого: они таились въ глубинѣ, а когда показывались наружу, то едва не доводили его до самоубійства. Скрытый, маскирующий себя пессимизмъ мы увидимъ и въ «Войнѣ и Мирѣ»...

Переходимъ къ нему. Какъ создавался этотъ романъ? Прежде всего несомнѣнно въ обстановкѣ самой счастливой по внѣшности. Толстой принялся писать его немедленно послѣ женитьбы, на лонѣ природы, счастливымъ мужемъ и удачливымъ хозяиномъ. На работу пошло больше пяти лѣтъ; романъ передѣлывался и переписывался семь разъ. Можно преклониться передъ такимъ терпѣніемъ и трудомъ, но кромѣ счастья творчество приносило художнику и много мукъ:

«Я тоскую и ничего не пишу—говоритъ Толстой въ письмѣ къ Фету отъ 17 ноября 64 г.,—а работаю мучительно. Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на которомъ я принужденъ сѣять. Обдумать и передумать все, что можетъ случиться со всѣми будущими людьми предстоящаго сочиненія очень большого, и обдумать миллионы возможныхъ сочиненій для того, чтобы выбрать изъ нихъ одну миллионную—ужасно трудно...

Но все же въ творествѣ скрыто громадное счастье—сознаніе своей силы—и всякій истинный художникъ понимаетъ его.

«Я—пишетъ Толстой позже—довольно много написалъ своего романа нынѣшнюю осень. *Ans longa, vita brevis*, думаю я каждый день. Коли можно бы было успѣть $\frac{1}{100}$ долю исполнить того, что понимаешь, но выходитъ только $\frac{1}{1000}$ часть. Все-таки это сознаніе, что *могу*, составляетъ счастье нашего брата. Я нынѣшній годъ съ особенной силой его испытываю».

Или:

«А знаете, какой я Вамъ про себя скажу сюрпризъ: какъ меня стукнула объ землю лошадь и сломала руку, когда я послѣ дурмана очнулся, я сказалъ себѣ, что я литераторъ. На дняхъ выйдетъ 1-я половина, 1-й части 1805 года. Пожалуйста подробнѣе напишите свое мнѣніе. Ваше мнѣніе, да еще мнѣніе чело-

вѣка, котораго я не люблю, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе я вырастаю большой,—мнѣ дорого,—Тургенева. Онъ пойметъ. Печатанное мною прежде я считалъ только пробой пера, печатаемое теперь мнѣ хотя и нравится болѣе прежняго, но слабо, кажется, безъ чего не можетъ быть, вступленіе. Но что дальше будетъ,—бѣла!... Напишите, что будутъ говорить въ знакомыхъ Вамъ различныхъ мѣстахъ, и главное, какъ на массу. Вѣрно пройдетъ незамѣченнымъ. Я жду этого и желаю—только бы не ругали, а то ругательства разстраиваютъ!... Я радъ, что Вы любите мою жену; хотя я ее люблю меньше моего романа, а все-таки, Вы знаете, жена!»

Отъ 27-го іюля 1867 г. «На дняхъ я прїѣхалъ изъ Москвы и принялъ строгое дѣленіе подъ руководствомъ Захарьина, и главное печатаю романъ въ типографіи Риса, готовлю и посылалъ рукописи и корректуры, и долженъ такъ день за день подъ страхомъ штрафа и несвоевременнаго выхода. Это и пріятно, и тяжело».

Я привелъ всѣ документы, которые сохранились лично отъ Толстого по поводу написанія имъ «Войны и Мира». И писался, и печатался романъ очень долго. Первый его томъ появился въ 67-мъ году, послѣдній въ 69-мъ.

Кажется, ни объ одномъ изъ произведеній русскаго автора, за исключеніемъ развѣ «Отцовъ и Дѣтей» Тургенева, не писали такъ много, какъ о «Войнѣ и Мирѣ», и что особенно странно, большинство писавшихъ писали хорошо, недурно по крайней мѣрѣ. «Геній—говаривалъ улыбаясь Гете,—разводитъ громадныя кѣстры: пѣзъ нихъ не трудно утащить по головешкѣ».

«Войну и Миръ» серьезно сравнивать можно лишь съ Иліадой. И тамъ и здѣсь передъ нами картина борьбы за существованіе, за жизнь цѣлаго народа, и тамъ и здѣсь народныя массы не сходятъ со сцены. Всегда и вездѣ вы чувствуете ихъ присутствіе, всѣмъ ходомъ событій руководятъ они. Теорія войны, философско-историческіе взгляды Толстого, судьба его главныхъ дѣйствующихъ лицъ опредѣлены и обусловлены народомъ. Народъ—герой романа и напрасно искать другого. У народа свои представители и выразители: главныхъ изъ нихъ два—Кутузовъ и Платонъ Каратаевъ.

Толстой идеализируетъ Кутузова. Это интересно для историка, но нисколько не интересно для насъ. Намъ важно опредѣлить, почему Толстой идеализируетъ Кутузова и какъ, съ какой точки зрѣнія онъ дѣлаетъ это?... Кутузовъ понимаетъ народный духъ и повинуетъ ему. Въ этомъ вся его заслуга.

«Въ 12-хъ и 13-хъ годахъ—пишетъ Толстой—Кутузова прямо обвиняли за ошибки». «Такова судьба не великихъ, не grand-hommes, которыхъ не признаетъ русскій умъ, а судьба

тѣхъ рѣдкихъ, всегда одинокихъ людей, которые, *постигая волю Провидѣнія, подчиняютъ ей свою личную волю*. Ненависть и прозрѣніе толпы наказываетъ этихъ людей за признаніе высшихъ законовъ». Толстой пораженъ, какъ это для русскихъ историковъ Наполеонъ можетъ быть предметомъ восхищенія, а «Кутузовъ—тотъ человѣкъ, который отъ начала до конца своей дѣятельности въ 1812 г., отъ Бородина и до Вильны, ни разу, ни однимъ дѣйствіемъ, ни словомъ не измѣняя себя, *являетъ необычайный въ исторіи примѣръ самоотверженія*, представляется имъ чѣмъ-то неопредѣленнымъ и блѣднымъ, и говоря о Кутузовѣ и 12-мъ годѣ, имъ всегда какъ будто немножко стыдно». (Стр. 256, ч. VIII).

Народныя-то черты характера, т. е. покорность волѣ Провидѣнія и ходу событій, самоотреченіе, отсутствіе личнаго требовательнаго тщеславія, вотъ что Толстой отмѣчаетъ въ Кутузовѣ, вотъ за что онъ возвеличиваетъ его. Кутузовъ, въ сущности, тотъ же Каратаевъ, но въ мундирѣ генералиссимуса.

«Кутузовъ — продолжаетъ Толстой свою восторженную характеристику—никогда не говорилъ о вѣкахъ, которые смотреть съ высоты пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приносить отечеству; онъ вообще ничего *не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли*, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя и обыкновенныя вещи».

Кутузовъ «вѣрить по народному, признавая двѣ главныя силы—время и терпѣніе»; онъ молчаливъ, повидимому уступчивъ, на самомъ дѣлѣ несокрушимъ; онъ не признаетъ того, чего онъ самъ хочетъ, а признаетъ нѣчто высшее — волю народа. «Источникъ этотъ необычайной силы прозрѣнія въ смыслъ совершающихся событій лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его»... «Простая, скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія».

Кутузовъ, т. е. Кутузовъ «Войны и Мира», знаетъ, что *нельзя* управлять людьми, *нельзя* создавать событія, *нельзя* одерживать побѣды при помощи диспозицій, тактики и стратегии. Во время сраженія важна не численность солдатъ, не планы и распоряженія, а *духъ* войска, т. е. способность cadaго солдата къ полному самоотреченію и самозабвенію, а во время народной войны важна воля народа, *его духъ*,

его готовность къ полному самоотреченію. Зная за собой эту силу, Кутузовъ отказывается отъ всякихъ переговоровъ съ Наполеономъ. *знаетъ*, что Бородинская битва — побѣда, *убѣжденъ* до конца, что онъ побѣдитъ, что онъ не можетъ не побѣдить и не выгнать французовъ изъ Россіи.

Повторяю, Кутузовъ—это Каратаевъ въ фельдмаршальскомъ мундирѣ. Каратаевъ одинаково выразитель народа, но выразитель гораздо болѣе темный, безсознательный. Это прямо—горсточка земли-матери, народной массы и вмѣстѣ съ тѣмъ воплощеніе молчаливаго, смиреннаго народнаго героизма. Толстой, очевидно, восхищается Каратаевымъ и прежде всего его безсознательностью. Онъ пытается даже возвести это качество въ историко-философскій и нравственный принципъ и говорить: *«Только одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды, и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія. Если онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью»*. Въ другомъ мѣстѣ, встати замѣтить, Толстой по тому же поводу выражается еще рѣшительнѣе: *«Если, читаемъ мы, допустить, что жизнь человѣческая можетъ управляться разумомъ, то уничтожается самая возможность жизни»*. И такъ, нуженъ инстинктъ, безсознательность, и съ этой точки зрѣнія выше Каратаева ничего и быть не можетъ. Прежде всего въ Каратаевѣ совсѣмъ нѣтъ его самого, нѣтъ его собственной личности. Все это взяли себѣ и растратили другіе. Въ солдаты онъ попалъ не по очереди, за брата; жилъ и служилъ онъ не для себя, а для исполненія приказаній; застрѣлили его французы какъ собаку, и онъ ни словомъ, ни движеніемъ не могъ и не умѣлъ возразить противъ этого. Въ плѣну, въ казармѣ, въ жизни вообще онъ всегда доволенъ, всегда радостенъ, привѣтливъ, ласковъ. Онъ любитъ всѣхъ, одинаково ко всѣмъ привязывается, одинаково спокойно со всѣми разстается. Онъ не то чтобы фаталистъ, а просто, органически не признаетъ, чтобы одинъ отдѣльный человѣкъ могъ что-нибудь сдѣлать, играть какую-нибудь роль въ жизни, управлять событіями. Онъ знаетъ, что онъ, Платонъ Каратаевъ, весь цѣлкомъ въ рукахъ чего-то грознаго, могучаго, всесильнаго. Это грозное, могучее, всесильное—жизнь. *«Каждое его слово и каждое его дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему, Платону Каратаеву, дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь»*.

Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ въ себѣ... Таковъ Платонъ Каратаевъ, который былъ такимъ-же проявленіемъ народнаго духа, какъ Кутузовъ выразителемъ народной воли. Оба послушныя орудія стихійнаго, неотразимаго, огромнаго, — народной массы и жизни миллионовъ...

Сознать и возчувствовать въ себѣ народный духъ, слить себя съ массой, растворить свою личность въ этой массѣ, растворить ее безъ остатка, точно сахаръ въ водѣ—это и есть доступное и достижимое человѣческое счастье. Платону Каратаеву оно досталось сразу, органически, какъ зеленый цвѣтъ травѣ, какъ запахъ цвѣтку. Интеллигенту во имя этого растительнаго счастья надо страдать, искать, терпѣть. Такъ страдалъ, искалъ, терпѣлъ Пьеръ Безуховъ. И что-же онъ нашель? Невыразимую сладость смиренія и лишеній, и непосредственной жизни *безъ своей воли*. Вотъ, словами Толстого, что нашель Пьеръ Безухій:

«Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ Бородинскомъ сраженіи,—онъ искалъ этого въ филантропіи, масонствѣ, въ разбѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія и попытки—всѣ обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лишенія и черезъ то, что онъ понималъ въ Каратаевѣ. Тѣ страшныя минуты, которыя онъ переживалъ во время казни, какъ будто навсегда вытѣснили изъ его воображенія и воспоминанія тревожныя мысли и чувства, прежде казавшіяся ему важными. Ему не приходило въ мысли ни о Россіи, ни о войнѣ, ни о политикѣ, ни о Наполеонѣ. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что онъ не призванъ былъ и потому не могъ судить обо всемъ этомъ. «Россія да лѣту—союзъ нѣту», повторялъ онъ слова Каратаева, и эти слова *странно* успокоили его.

«И адѣсь, т. е. въ плѣну, въ грязномъ балаганѣ, теперь только въ первый разъ Пьеръ вполне оцѣнилъ наслажденіе ѣды, когда хотѣлось ѣсть; питья, когда хотѣлось пить; сна, когда хотѣлось спать; тепла, когда было холодно; разговора съ человѣкомъ, когда хотѣлось говорить и послушать человѣческой голосъ. Удовлетвореніе потребностей—хорошая пища, чистота, свобода — теперь, когда онъ былъ лишенъ всего этого, казались Пьеру совершеннымъ счастьемъ, а выборъ занятія, т. е. жизнь, теперь, когда выборъ этотъ былъ такъ ограниченъ, казался ему такимъ легкимъ дѣломъ, что онъ забывалъ то, что избытокъ удобствъ жизни уничтожаетъ все счастье удовлетворенія потребностей, а большая свобода выбора занятій,—та свобода, которую ему въ его жизни давали образованіе, богатство, положеніе въ свѣтѣ,—что эта-то

свобода и дѣлаетъ выборъ занятій неразрѣшимо труднымъ и уничтожаетъ самую потребность и возможность занятія».

Но довольно иллюстрацій, ибо дѣло видно и безъ нихъ. Историко-философскіе взгляды Толстого и нравственные выводы ясны. Человѣкъ не значитъ ничего. Надо отречься отъ себя и зажить безсознательной инстинктивной жизнью «ихъ», т. е. массы и Платона Каратаева. Только тогда возможна полнота жизни, а значитъ и полнота счастья. Интеллигентъ несчастливъ потому, что онъ слишкомъ раздуваетъ свое «я», слишкомъ большую роль приписываетъ ему, слишкомъ много заботится о немъ, создаетъ въ своемъ воображеніи героевъ, *будто-бы* управляющихъ людьми, *будто-бы* руководящихъ событіями, и самъ хочетъ быть героемъ, т. е. играть роль, управлять людьми, руководить событіями. Это—глупое, преступное желаніе. Человѣческое «я» не сила, а лишь призракъ силы. Сила не въ немъ,—въ чемъ-же?—«Только допустивъ безконечно малую единицу для наблюденія—дифференціалъ исторіи, т. е. однородныя влеченія людей, и достигнувъ искусства интегрировать (брать суммы безконечно малыхъ), мы можемъ подняться на постигновеніе законовъ исторіи». Сила исторіи, слѣдовательно, интеграль, т. е. сумма безконечно большого числа безконечно малыхъ, т. е. перепутывающихся между собой желаній и стремленій людей.

Съ этой точки зрѣнія оправдывается все, ибо какъ можно не оправдывать какую бы то ни было потребность и сумму этихъ потребностей. И Толстой дѣйствительно оправдываетъ все—и кровавое движеніе народовъ съ запада на востокъ и съ востока на западъ. Онъ обвиняетъ лишь претензіи культурныхъ людей на управленіе себѣ подобными событіями и ихъ вѣру въ разумъ.

Къ общему смыслу «Войны и Мира» мнѣ еще придется вернуться. Пока же замѣчу, что изложенная выше философія есть философія чисто-пессимистическая, но лишь въ отношеніи личности. Я могу говорить: «вся жизнь не имѣетъ смысла, цѣли, значенія, а значитъ и моя личная жизнь не имѣетъ смысла: цѣли и значенія». Это полное отрицаніе. Или, я могу говорить, «лично я—ничто и ничего не значу, мой разумъ—ничто и ничего не значитъ; я и разумъ кое-что и значать что-то, когда они подчинены высшему началу, т. е. всей жизни, и исчезли въ ней, какъ по вѣрованію индійца отдѣльная душа исчезаетъ въ Парабраhmъ». Последнее и говорить Толстой.

Но откуда это, зачѣмъ это, зачѣмъ такая полнота самоотреченія, откуда такая прелесть растительной жизни?

Мы уже достаточно слѣдили за тѣмъ, какъ искалъ, колебался, отчаявался гр. Толстой. Передъ его острымъ, развѣдающимъ анализомъ не устояло ничто. Про его героев замѣчено какъ-то, что они «съ освѣщенными внутренностями», но такимъ онъ былъ и самъ для себя всегда, каждую минуту жизни. Онъ постоянно прислушивался къ себѣ, постоянно смотрѣлъ на жизнь въ лупу, различалъ всѣ ея неровности и шероховатости, такъ же какъ и свои собственные, и къ чему другому могъ онъ прійти, какъ не къ полному отрицанію не только земныхъ радостей, но даже и законности художественнаго творчества? Волѣнно чуткій и впечатлительный, онъ не могъ найти, чѣмъ-бы ему удовлетвориться, на чемъ-бы ему успокоиться. Ничтожество и бессмыслица всего пугаетъ и отталкиваетъ его. Онъ прямо говоритъ: *«если человекъ пытается понять историческое событіе (т. е. жизнь), онъ поражается бесплодностью»*. Ясно значить, что источникъ страданія—разумъ человѣческій и личный требовательный эгоизмъ. Еще яснѣе, что надо уничтожить источникъ—и страданія не будетъ. Отсюда философія «Войны и Мира».

Припомнимъ еще одно мѣсто изъ этого романа: «всѣ люди читаемъ мы, представлялись Пьеру солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ романовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Только-бы не видать ее, эту страшную ее... и изъ за пессимистической безличной философіи «Войны и Мира» дѣйствительно не видать ея, эту страшную ее... Исчезаетъ даже страхъ смерти, потому что я ничего не значу и ничего отъ смерти не теряю. А богатство, слава, привязанности, друзья?... Да вѣдь съ этой точки зрѣнія о потерѣ ихъ нечего даже и думать.

Личная жизнь тягостна, неразрѣшимо страшна. Человѣкъ боится утратить что нибудь лишь потому, что онъ любитъ себя, что онъ считаетъ себя *чѣмъ-то...* А если онъ просто дифференціалъ исторіи, невѣдомо кѣмъ интегриру-

емый и лишь въ интегрированномъ своемъ состояніи производящій то, что называется исторіей, то не страшна и самая смерть...

Опредѣливши, что человекъ можетъ или, вѣрнѣе, чего онъ не можетъ дѣлать, Толстой указываетъ и на то, что онъ долженъ дѣлать. Его долгъ—самоотреченіе и подчиненіе массовой жизни. Но въ массѣ преобладаетъ инстинктъ, безсознательное, и этотъ инстинктъ, это безсознательное сильнѣе всего, лучше всего. Женщина съ этой точки зрѣнія прежде всего мать, дѣтспроизводительница; такой и является въ концѣ концовъ поэтическая въ началѣ Наташа Ростова; семейная жизнь—назначеніе человека. Съ могучей діалектической силой Толстой разрѣшаетъ всѣ вопросы, которые тревожили и мучили его, и свой страхъ смерти кладетъ къ ногамъ своей системы и старается задавить его ея огромною логическою тяжестью... Система прекрасна, какъ созданіе высокаго творческаго духа; въ ея холодныхъ, безжалостныхъ выводахъ въ каждую минуту различаете живое бѣненіе живого человѣческаго сердца. Но, Боже мой, какое это измученное, какое это изстрадавшееся человѣческое сердце, съ какимъ ужасомъ заглядываетъ оно въ грядущую могилу, какъ страстно ждетъ покоя и забвенія, лишь-бы стереть съ себя печать Каинову. Два источника были всегда у человека, чтобы забыть эту страшную «ее» и ея роковую загадку: одинъ—увеличиваетъ наслажденія, другой—уменьшаетъ страданія. Но желанія—какъ соленая вода, сказалъ Будда: чѣмъ больше пьешь, тѣмъ больше хочется. Толстой пришелъ къ тому-же и на небытій отдѣльной человѣческой личности строить свою систему. Онъ не останавливается ни передъ чѣмъ и отнимаетъ у человека даже религію, потому что религія даетъ человеку знаніе своего «я»... Рассказываютъ, что Достоевскій, прочтя «Войну и Миръ», ограничился лишь словами: «рече безумецъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ». Можетъ-ли удовлетворить кого нибудь эта стройная и прекрасная философская система?

Вопросъ громадный; я дамъ на него самый маленькій отвѣтъ: она совершенно не удовлетворяла самого Толстого, и онъ отрекся отъ нея со всей горечью раскаянія.

Что-же касается до самаго романа, то его будутъ еще изу-

чать цѣлыя поколѣнія. Это единственная народная эпопея, которая есть у насъ и для насъ ея смыслъ такой-же, какъ для англичанъ драма Шекспира.

Послѣ «Войны и Мира» Толстой разсчитывалъ написать романъ изъ эпохи Петра Великаго, но, проработавши за изученіемъ матеріаловъ нѣсколько лѣтъ, бросилъ свой замыселъ. Любопытныя подробности объ этомъ мы находимъ въ Воспоминаніяхъ Верса.

Въ письмѣ изъ Ясной Поляны отъ 19 ноября 1872 года графиня Толстая писала брату:

«А теперь у насъ очень, очень серьезная жизнь. Весь день въ занятіяхъ. Левочка сидитъ, обложенный кучею книгъ, портретовъ, картинъ, и нахмуренный читаетъ, дѣлаетъ отмѣтки, записываетъ. По вечерамъ, когда дѣти ложатся спать, разсказываетъ мнѣ свои планы и то, что онъ хочетъ писать; иногда разочаровывается, приходитъ въ грустное отчаяніе и думаетъ, что ничего не выйдетъ, иногда совсѣмъ близокъ къ тому, чтобы работать съ большимъ увлеченіемъ; но до сихъ поръ еще нельзя сказать, чтобы онъ писалъ, а только готовится. Выбралъ онъ время Петра Великаго...»

Въ другомъ письмѣ графини изъ Ясной Поляны отъ 19 декабря 1872 г. читаемъ:

«Всѣ мы очень заняты. Зима—это наша барская рабочая пора, и стоитъ она лѣтней мужицкой работы! Левочка все читаетъ изъ временъ Петра Великаго историческія книги и очень интересуется. Записываетъ разные характеры, черты, бытъ народа и бояръ, дѣятельность Петра и проч.

Самъ онъ не знаетъ, что будетъ изъ его работы, но мнѣ кажется, что онъ напишетъ опять подобную «Войнѣ и Мирѣ» поэму въ прозѣ, но изъ временъ Петра Великаго...»

Въ третьемъ письмѣ изъ Ясной Поляны отъ 23 февраля 1873 года идетъ рѣчь о томъ-же:

«Левочка все читаетъ и пытается писать, а иногда жалуется, что вдохновенія нѣтъ, а иногда говоритъ, что недостаточно подготовленъ, и все больше и больше читаетъ матеріалы изъ Петра Великаго...»

«Лѣтомъ 1873 года Левъ Николаевичъ прекратилъ изученіе этой эпохи. Онъ говорилъ, что мнѣніе его о личности Петра I діаметрально противоположно общему, и вся эпоха эта сдѣлалась ему несимпатичной. Онъ утверждаетъ, что личность и дѣятельность Петра I не только не заключали въ себѣ ничего великаго, а напротивъ того всѣ качества его были дурныя. Всѣ такъ-называемыя реформы его отнюдь не преслѣдовали государственной пользы, а клонились къ личнымъ его выгодамъ.

«Вслѣдствіе нерасположенія къ нему бояръ за его нововведенія, Петръ основалъ городъ Петербургъ только для того, чтобъ удалиться и быть свободнѣе въ своей безнравственной жизни. Сословіе бояръ имѣло тогда большое значеніе и слѣдовательно было для него опасно. Нововведенія и реформы почерпались изъ Саксоніи, гдѣ законы были самыя жестокіе того времени, а свобода нравовъ процвѣтала въ высшей степени, что особенно нравилось Петру Первому съ курфюрстомъ Саксонскимъ, принадлежавшимъ къ самымъ безнравственнымъ личностямъ изъ числа коронованныхъ особъ того времени. Близость съ пирожникомъ Меншиковымъ и бѣглымъ швейцарцемъ Лефортомъ онъ объяснялъ презрительнымъ отвращеніемъ къ Петру I всѣхъ бояръ, среди которыхъ онъ не могъ найти себѣ друзей и товарищей для разгульной жизни. Но болѣе всего онъ возмущался гибелью царевича Алексѣя».

«Одинаково неудачна была попытка написать романъ изъ эпохи Декабристовъ. Толстой два раза принимался за него, съ двѣнадцатилѣтнимъ промежуткомъ, но дальше 4-ой главы не пошелъ.

«Декабрьскій бунтъ онъ изучалъ при лучшихъ условіяхъ. Онъ пользовался не только тѣмъ, что объ этомъ напечатано, но и множествомъ фамильныхъ записокъ, мемуаровъ и писемъ, которые повѣрялись ему съ условіемъ сохранить семейныя тайны. Зимой 1877—1878 гг. онъ ѣздилъ въ Петербургъ осмотрѣть Петропавловскую крѣпость.

«Въ семейномъ кругу онъ рассказывалъ, что звуковая азбука, существующая въ тѣхъ мѣстахъ заключеній, впервые создана декабристами. Когда имъ запрещались переговоры и такимъ способомъ, они доходили до такого искусства, что дѣлали это на ходу, напр., стуча палочкой о заборы, чего стража не замѣчала. Между тѣмъ Левъ Николаевичъ со слезами на глазахъ рассказывалъ, какъ одинъ декабристъ, заключенный въ крѣпости, упрости смѣнявшагося часового купить ему яблоко и далъ послѣднія деньги. Часовой принесъ прелестную корзину фруктовъ и деньги назадъ. Оказалось, что посылалъ это купецъ, когда узналъ о личности заключеннаго. Декабристъ, полковникъ кавалергардскаго полка, Лунинъ, удивлялъ Льва Николаевича своею несокрушимую энергіею и сарказмомъ. Въ одномъ изъ писемъ съ каторги къ своей сестрѣ, находившейся въ Петербургѣ, онъ осмѣялъ назначеніе министромъ графа Киселева. Письмо разумѣется шло

черезъ начальство работъ и содержаніе его сдѣлалось извѣстнымъ въ Петербургѣ. Лунинъ былъ прикованъ къ тачкѣ навсегда. Тѣмъ не менѣе смотритель каторжныхъ работъ, полный майоръ и нѣмецъ по происхожденію, ежедневно уходилъ съ осмотра работъ, долго смѣясь еще по дорогѣ. Такъ умѣлъ Лунинъ насмѣшить его подъ землею и прикованный къ тачкѣ.

«Но вдругъ Левъ Николаевичъ разочаровался и въ этой эпохѣ. Онъ утверждалъ что *декабрьскій бунтъ есть результатъ вліянія французской аристократіи*, большая часть которой эмигрировала въ Россію послѣ французской революціи. Она и воспитывала всю русскую аристократію въ качествѣ гувернеровъ. Этимъ объясняется, что многіе изъ декабристовъ были католики. Если все это было привитое и не создано на чисто русской почвѣ, Левъ Николаевичъ не могъ этому симпатизировать.»

Объ «Аннѣ Карениной», написанной въ тотъ-же пятнадцатилѣтній промежутокъ времени, я распространяться не буду, такъ какъ это завело бы меня слишкомъ далеко, и расскажу только маленькій относящійся къ внѣшней исторіи романа эпизодъ. Онъ печатался, какъ извѣстно, въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и когда дѣло дошло до 8-й части, то Катковъ отказался помѣстить ее въ томъ видѣ, въ какомъ она была ему прислана. Въ этой 8-ой части Толстой высказалъ на добровольческое движеніе взглядъ діаметрально расходявшійся съ проповѣдью «Руск. Вѣст.», *inde iга* Каткова. Катковъ предложилъ передѣлать. Толстой пришелъ въ страшное негодованіе за поправки и говорилъ по этому поводу: «какъ смѣетъ журналистъ передѣлывать хотя одно слово въ моихъ произведеніяхъ»... Съ этой поры онъ прервалъ всякія сношенія съ «Русскимъ Вѣстникомъ» и его произведенія стали появляться или прямо отдѣльными изданіями или въ другихъ журналахъ.

Вернемся однако къ подробностямъ и мелочамъ жизни Толстого. «Война и Миръ» сразу поставила Толстого въ первый рядъ русской литературы и равными ему по славѣ были только Тургеневъ, Достоевскій, Щедринъ и Островскій. Литературная слава была ему пріятна и онъ съ удовольствіемъ говорилъ, что «хотя и не заслужилъ генерала отъ артиллеріи, за то сталъ генераломъ отъ литературы». А генераломъ онъ дѣйствительно былъ и есть, и притомъ подлиннымъ, несомнѣннымъ. Это питало его гордость и даже тщеславіе, въ чемъ

онъ самъ всегда искренно сознавался. По словамъ Берса «онъ былъ завзятый аристократъ и хотя всегда любилъ простой народъ, но еще болѣе любилъ аристократію. Середина между этими сословіями была ему несимпатична. Когда послѣ неудачъ молодости онъ приобрѣлъ громкую славу писателя, онъ высказывалъ, что эта слава—величайшая радость и большое счастье для него. По его собственнымъ словамъ, въ немъ было пріятное сознаніе того, что онъ—писатель и аристократъ»... Оставляю за г. Берсомъ отвѣтственность за точность передачи мнѣнія Толстого; думаю однако, что онъ нѣсколько преувеличилъ дѣло.

Нѣсколько отрывковъ изъ собственныхъ писемъ Толстого къ Фету, помѣщенныхъ во II-омъ томѣ «Воспоминаній» послѣдняго, обрисуютъ намъ какъ нельзя лучше мелочи и не мелочи жизни Толстого почти за 16 лѣтъ.

Отъ 21 октября 1869 г. «Покупка мною пензенскаго имѣнія разладилась. Шестой томъ (полнаго собранія) я окончательно отдалъ и къ 1-му ноября вѣрно выйдетъ. Для меня теперь самое мертвое время: Не думаю и не пишу и чувствую себя пріятно глупымъ.

Отъ 4-го февраля 70 г. «Я очень много читаю Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера — обо всемъ этомъ многое хочется сказать. Я нынѣшній годъ не получаю ни одного журнала и ни одной газеты, и нахожу, что это очень полезно»...

Кстати замѣтить, Толстой вообще не любитъ ни газетъ, ни журналовъ. Когда его спрашиваютъ: «что читать?» онъ безызымѣнно отвѣчаетъ: классиковъ. Къ классикамъ онъ причисляетъ и Пушкина. Пушкина онъ любитъ, но лучшими его произведеніями считаетъ прозаическія, особенно «Капитанскую дочку». Между собой и Пушкинымъ онъ видитъ, между прочимъ, различіе въ томъ, что послѣдній, описывая какую нибудь художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится, будетъ ли она понята читателемъ; онъ-же, Толстой, какъ-бы пристаётъ къ читателю съ этой подробностью и не оставляетъ ее, пока ясно ея не растолкуетъ. О Гете Толстой писалъ Левенфельду: «Боже правый! Да въ томъ то и заключается недостатокъ Гете, что, думая о прекрасномъ, онъ забываетъ о нравственномъ, а безъ него нельзя». *Нравственный элементъ* Толстой считаетъ необходимой принадлежностью всякаго великаго произведенія. Вотъ его подлинныя слова, обращенныя къ тому-же Левенфельду: «Посмотрите, какую громадную роль играетъ нравственный элементъ въ произведеніяхъ всякаго великаго поэта. Недавно одинъ молодой ученый отчетливо по-

казаль, какъ глубоко былъ проникнуть Лермонтовъ нравственными идеалами.»

Отъ 17-ю февраля 70 г. «Всю зиму наслаждаюсь тѣмъ, что лежу, засыпаю и играю въ безиѣтъ, хожу на лыжахъ, на конькахъ бѣгаю и больше все лежу въ постели больной, и лица драмы или комедіи (только что прочитанныхъ) начинаютъ дѣйствовать и очень хорошо представляють».

Отъ 11-ю мая 76 г. «Я получилъ ваше письмо, возвращаясь потный съ работъ топоромъ и заступомъ, значить за 1000 верстъ отъ всего искусственного и въ особенности отъ нашего дѣла. Я только что отслужилъ недѣлю присяжнымъ, и это было для меня очень интересно и поучительно.

Отъ 2-ю октября 70 г. «Я съ утра до ночи учусь по гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Я прочелъ Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нуженъ лексиконъ и немного напряженія. Но какъ я счастливъ, что на меня Богъ наслалъ эту дурь. Во-первыхъ, я наслаждаюсь, во-вторыхъ, убѣдился, что изъ всего истинно прекраснаго и просто прекраснаго, что произвело слово человѣческое, я до сихъ поръ ничего не зналъ; въ-третьихъ, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану. И виновать, и ой Богу, никогда не буду.

Отъ 10-ю июня 71 г. «Я былъ и есть боленъ, самъ не знаю чѣмъ, но похоже что то на дурное илихорошее, смотря потому, какъ называть конецъ. Упадокъ силъ и ничего не нужно кромѣ спокойствія, котораго нѣтъ. Жена посылаетъ меня на кумысъ.»

Отъ 18 іюля 71 г. «Самъ не знаю насколько я нездоровъ, но нехорошо уже то, что принужденъ и не могу не думать о моемъ бока или груди. Я, какъ слѣдуетъ при кумысомъ леченіи, съ утра до вечера пьянъ, потѣю и нахожу въ этомъ удовольствіе. Читаю Геродота. Край здѣсь прекрасный, по своему возрасту только что выходящій изъ дѣтвенности, по богатству, здоровью и въ особенности неиспорченности народа. Я, какъ всегда, примѣриваюсь, не купить ли имѣніе. Это мнѣ занятіе и лучший предлогъ для узнанія настоящаго положенія края».

Кумысъ, какъ и первый разъ, поправилъ Толстого, и возвратившись изъ Самары онъ вновь открылъ школу и вернулся къ своимъ педагогическимъ занятіямъ. Въ это время онъ написалъ свою знаменитую «Азбуку» и христоматию для дѣтей и народа, куда, по своей обычной привычкѣ, помѣстилъ много автобіографическаго. Здѣсь онъ разсказалъ о своихъ собакахъ Милькѣ и Булкѣ, о томъ какъ его едва не задралъ медвѣдь на охотѣ и какъ онъ едва не попалъ въ плѣнъ на Кавказѣ. Въ 73-емъ году лѣчение кумысомъ пришлось повторить. Въ Самарской губерніи въ это время свирѣпствовала страшная голодь, официально однако непризнанная. Толстой энергично принялся за дѣло, составилъ подворную опись и ре-

зультатъ своихъ наблюденій изложилъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Противъ графа Толстого и Каткова губернаторъ конечно не пошелъ и не возражалъ, — пришлось согласиться съ фактомъ и принять мѣры.

Письмо о самарскомъ голодѣ очень интересно, хотя не столько по содержанію, сколько по формѣ. Толстой остается вѣренъ себѣ. Ни одной жалкой, бьющей по нервамъ фразы, ни одного упрека никому, но факты изложены такъ ярко, что вчужѣ страшно становится. Именно своей простотой, за которой видно глубокое впечатлѣніе, полученное авторомъ отъ нечеловѣческихъ страданій несчастныхъ башкиръ письмо должно было произвести потрясающее впечатлѣніе. Пожертвованія посыпались и въ данномъ случаѣ несомнѣнно, что одинъ Толстой самъ своимъ собственнымъ вліяніемъ спасъ отъ голодной смерти сотни и тысячи людей. До него молчали всѣ; власти докладывали, что все благополучно и «на Шипкѣ», какъ всегда, «все было спокойно».

Въ 73-мъ году была начата «Анна Каренина» — романъ, заключающій въ себѣ собственно два отдѣльныхъ произведенія: исторію любви Карениной и исторію духовнаго возрожденія Левина. Оба произведенія рѣшительно ничѣмъ между собой не связаны. Левину Толстой придалъ много чертъ и черточекъ личнаго своего характера. Кое какими подробностями исторія любви Левина напоминаетъ исторію самого Толстого, напр. сцена объясненія любви, препятствія къ браку, радости семейной жизни. Въ нижеслѣдующихъ письмахъ самого Толстого, взятыхъ изъ тѣхъ-же воспоминаній Фета, читатель найдетъ нѣсколько подробностей о созданіи романа.

Вотъ эти письма:

24-го марта 74 года. «Вы хвалите Каренину. Мнѣ очень пріятно, да и какъ я слышу, ее хвалятъ, но навѣрно никогда не было писателя столь равнодушнаго къ своему успѣху, какъ я. Съ одной стороны школьная дѣла, съ другой — страшное дѣло — сюжетъ новаго писанія, овладѣвшій мною именно въ самое тяжелое время болѣзни ребенка, и самая эта болѣзнь и смерть!»

24-го іюня 74 года. «Смерть тетушки, какъ и всегда смерть близкаго дорогого человѣка, была совершенно новымъ единственнымъ и неожиданнымъ поразительнымъ событіемъ Чудесная жара, купанье, ягоды привели меня въ любимое мною состояніе умственной праздности и только настолько и остается духовной жизни, чтобы помнить друзей и думать о нихъ».

26-го августа 75 года. «Я два мѣсяца не пачкаю рукъ чернилами и сердца мыслями. Теперь берусь за скучную и пошлую А. Каренину съ однимъ желаніемъ: поскорѣй опростать себѣ

мѣсто—досугъ для другихъ занятій, но только не педагогическихъ, которыя я люблю, но хочу бросить. Они слишкомъ много времени берутъ. Къ чему занесла меня судьба въ Самару—не знаю, но знаю, что я слушать рѣчи въ англійскомъ парламентѣ (вѣдь это считается очень важнымъ) и мнѣ скучно было и ничтожно было. А здѣсь воть мухи, нечистота, мужики, Башкирцы, а я съ напряженнымъ вниманіемъ, страхомъ вслушиваюсь (въ ихъ рѣчи) и чувствую, что все это очень важно».

1-го марта 76 года. «У насъ все не совсѣмъ хорошо. Жена не оправляется съ послѣдней болѣзни и нѣтъ у насъ въ домѣ благополучія и во мнѣ душевнаго спокойствія, которое мнѣ особенно нужно теперь для работы. Конецъ зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончить надоѣвшій мнѣ романъ».

29-го апрѣля 76 года. «У насъ началась весенняя и лѣтняя жизнь и полонъ домъ гостей и суеты. Эта лѣтняя жизнь для меня точно какъ сонъ; кое-что остается изъ моей реальной жизни, но больше какія то видѣнія, то пріятныя, то непріятныя изъ какого-то безтолковаго, не руководимаго здравымъ разсудкомъ міра».

18-го мая 76 года. «То чувствуешь себя богомъ, что нѣтъ для тебя ничего сокрытаго, а то глупѣе лошади, и теперь я такой».

13-го ноября 76 года. «Я ѣздилъ въ Москву узнавать про войну. Все это волнуетъ меня очень. Хорошо тѣмъ, которымъ все это ясно, но мнѣ страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тѣхъ условій, при которыхъ совершается исторія,—какъ дама какая нибудь А-ва съ своимъ тщеславіемъ и фальшивымъ сочувствіемъ къ чему то неопредѣленному—оказывается нужнымъ винтикомъ во всей машинѣ».

Сплю и не могу писать; презираю себя за праздность и не позволяю себѣ взяться за другое дѣло».

7-го декабря 76 года. «Я понемногу началъ писать и очень доволенъ собой».

23-го марта 77 года. «Голова моя лучше теперь, и насколько она лучше, настолько я больше работаю. Мартъ и начало Апрѣля самые мои рабочіе мѣсяца, а я все продолжаю быть въ заблужденіи, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что черезъ мѣсяцъ мнѣ будетъ совѣстно это вспоминать».

14-го апрѣля 77 года. «Вы въ первый разъ говорите мнѣ о божествѣ—о Богѣ. А я давно уже не переставая думаю объ этой главной задачѣ. И не говорите, что нельзя думать,—не только можно, но должно. Во всѣ вѣка лучшіе, т. е. настоящіе, люди думали объ этомъ. И если мы не можемъ такъ-же какъ они думать объ этомъ, то мы обязаны найти какъ».

6-го апрѣля 78 года. «У Васъ такъ много привязанности къ житейскому, что если какъ нибудь оборвется это житейское, Вамъ будетъ плохо; а у меня такое къ нему равнодушіе, что нѣтъ интереса къ жизни, и я тяжелъ для другихъ однимъ вѣчнымъ передѣлываніемъ изъ пустого въ порожнее. Не думайте, что я рехнулся. А такъ—не въ духѣ».

26 октября 78 года. «Вотъ уже съ мѣсяцъ, коли не больше,

я живу въ чадѣ не внѣшнихъ событій (напротивъ, мы живемъ одиноко и смирно, но внутреннихъ, которыхъ назвать не умѣю. Хожу на охоту, читаю, отвѣчаю на вопросы, которые мнѣ дѣлаютъ, ѣмъ, сплю, но ничего не могу дѣлать, даже написать письмо. Обычная земная жизнь, со все усложняющимся воспоминаніемъ и ученіемъ дѣтей, идетъ какъ и прежде. Мы опять заняты самыми ясными опредѣленными дѣлами, а я самыми неопредѣленными и потому постоянно имѣю стыдливое сознаніе праздности среди трудовой жизни».

16 февраля 79 г. «Я не боленъ, не здоровъ, но умственной и душевной бодрости, которая мнѣ нужна — нѣтъ».

25 мая 79 г. «Давно я такъ не радовался на міръ божій, какъ нынѣшній годъ. Стою разиня ротъ, люблюю и боюсь двинуться, чтобы не пропустить чего».

13 іюля 79 г. «Все мотаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь учусь и думаю, не доведется ли мнѣ заполнить пробѣлы, да и умереть, а все не могу не разворачивать самого себя».

Отъ 28 іюня 1879 г. «Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимаго для поддержанія этой жизни; но мнѣ кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетвореніями не естественныхъ, а искусственно привитыхъ намъ воспоминаніемъ и самими нами придуманныхъ и перешедшихъ въ привычку потребностей, — праздный трудъ. Мнѣ бы очень хотѣлось быть твердо увѣреннымъ въ томъ, что я даю людямъ больше того, что получаю отъ нихъ; но такъ какъ я чувствую себя очень склоннымъ къ тому, что-бы высоко цѣнить свой трудъ и низко цѣнить чужой, то я не надѣюсь увѣриться въ безобидности для другихъ разчета со мной однимъ усиленіемъ своего труда и избраніемъ тяжелѣйшаго (я непремѣнно увѣрю себя, что любимый мною трудъ есть самый нужный и трудный); я желалъ-бы какъ можно меньше брать отъ другихъ и какъ можно меньше трудиться для удовлетворенія своихъ потребностей, — и думаю такъ легче не ошибиться».

XI.

О пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого.

Въ послѣднихъ изъ только что приведенныхъ писемъ нельзя не замѣтить приближенія кризиса. Толстой говоритъ, что онъ, здоровый человѣкъ, постоянно думаетъ о смерти, а всякому извѣстно, что дѣйствительно здоровые люди не только не думаютъ о смерти, но считаютъ себя безсмертными или, точнѣе, поступаютъ и живутъ такъ, какъ будто они были безсмертны. Въ то же время онъ не перестаетъ думать о Богѣ — этой главной

задачу жизни. Ему становится подозрительною привязанность къ житейскому и онъ предостерегаетъ отъ нея Фета. Бодрость исчезла; расположеніе духа постоянно нехорошо, тревожно. Къ чему стремиться, зачѣмъ стремиться? Онъ желаетъ какъ можно меньше работать для удовлетворенія личныхъ своихъ потребностей, чтобы не заставлять другихъ служить себѣ. Программа близкаго кризиса уже изложена въ этихъ тревожныхъ и безпокойныхъ мысляхъ. Прежній скептицизмъ, обращенный на себя и все окружающее, возвращается съ удвоенной, накопленной силой, и мы предчувствуемъ, что уже ничто теперь не устоитъ противъ него. Обидныя и преступныя противорѣчія жизни выступаютъ ярко, рѣзко, неумолимо. Какъ это люди, одушевленные, допустимъ, самыми благородными и возвышенными идеями освобожденія и спасенія ближнихъ—въ данномъ случаѣ братьевъ-славянъ—могутъ идти убивать другихъ такихъ же людей, гордиться своими кровавыми подвигами и принимать рукоплесканія... за что? за убійство?... А тутъ еще всякія мелочи вродѣ какой-то А—вой, которая «съ своимъ тщеславіемъ и фальшивымъ сочувствіемъ чему-то неопредѣленному»—суется и хлопочетъ, гордо задираетъ голову, жужжитъ, какъ надоѣдливая муха, о страданіяхъ братьевъ, славянъ, о корпіи, кистетикахъ и трубочкахъ, а когда нахмуренное лицо слушателя говоритъ ей довольно ясно: «отстаньте, сдѣлайте милость», она съ убійственной язвительностью спрашиваетъ: «а, вы значитъ не сочувствуете братьямъ-славянамъ»?... а, значитъ освободительное движеніе для васъ ничего?—и пойдетъ, пойдетъ, какъ нѣкогда madame Кукушина, бесѣдуя съ которой, Базаровъ не могъ удержаться и не проговорить: «тьфу, дура!» Конечно, всѣ эти А—вы, Кукушины, занятые сегодня куреніемъ табаку во имя эмансипаціи женщинъ, завтра щипаніемъ корпіи во имя освободительнаго движенія братьевъ-славянъ, послѣ завтра продажей шампанскаго въ пользу голодающихъ или собираніемъ грошей на сестринскій подарокъ г-жѣ Аданъ и „la grande république française“—мелочь. Но онѣ безчисленны, онѣ жужжатъ какъ мухи, надоѣдаютъ, злятъ своимъ тщеславіемъ, самодовольствомъ, тупостью, билетами на благотворительные вечера и пр. Скучно и глупо, а вѣдь имя А—выхъ легіонъ, ихъ много.

Но прежде чѣмъ описывать кризисъ, я позволю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе и поговорить о пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого.

Любопытно прежде всего, что при отрицаніи роли героевъ въ исторіи и низведеніи всего хода событій къ массовому началу Толстой постоянно говоритъ и повторяетъ, что это *русская точка зрѣнія*. «Русскій умъ — читаемъ мы напр., — отказывается признать героя, который бы могъ управлять людьми, создавать событія». Въ характеристикѣ Кутузова мы встрѣчаемся съ тою же мыслью, хотя и не такъ еще рѣзко выраженной: «Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улесться въ ту *живую форму европейскаго героя*, минимуправляющаго людьми, которую придумала исторія.» Я прошу читателя припомнить теперь ту характеристику, которую даетъ Толстой Наполеону и Кутузову. Собственно, это не характеристика, а противопоставленіе. То, что есть у Наполеона, непременно отсутствуетъ у Кутузова. Наполеонъ проникнутъ сознаніемъ собственнаго величія; онъ самонадѣянъ, онъ знаетъ, что каждый его шагъ и слово принадлежитъ исторіи, и постоянно красуется, постоянно взвѣшиваетъ, что сказать, что сдѣлать; онъ убѣжденъ, что отъ него, отъ его генія зависить выиграть сраженіе, передвинуть многомилліонныя массы людей съ запада на востокъ или съ востока на западъ. Въ Кутузовѣ ничего этого нѣтъ. Тщеславіе, самоиѣніе, гордость, превеличенное сознаніе собственной силы — это западный герой; простота, скромность, смиреніе — героизмъ русскій. Къ этимъ основнымъ чертамъ русскаго характера Толстой возвращается постоянно. О Пьерѣ Безуховѣ онъ говоритъ, напр.: «Два одинаково сильныя чувства неотразимо привлекли Пьера къ исполненію его намѣренія... Первое... другое было то *неопредѣленное, исключительно русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному, человѣческому* — ко всему тому, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра...» Въ чемъ-же выражается это неопредѣленное исключительно русское чувство? «Это то чувство, говоритъ Толстой, вслѣдствіе котораго охотникъ-рекрутъ пропиваетъ послѣднюю копѣйку, запившій человѣкъ перебиваетъ зеркала и стекла безъ всякой видимой причины и зная, что это будетъ стоить ему его послѣднихъ денегъ, — то чувство, вслѣдствіе котораго человѣкъ, совершая (въ пошломъ смыслѣ) безумныя дѣла, какъ-бы пробуетъ свою личную власть и силу, заявляя присутствіе высшаго, стоящаго виѣ человѣческихъ условій суда надъ жизнью...» («Война и Миръ» т. III, стр. 500 — 501). Нельзя сказать, чтобы все это было особенно дивно. Графъ Толстой

однако не останавливается на этомъ и, давая характеристику различнымъ народностямъ, говорить: «Нѣмцы бываютъ самоувѣренными на основаніи отвлеченной идеи—науки, т. е. мнимаго знанія совершенной истины. Французъ бываетъ самоувѣренъ потому, что онъ почитаетъ себя лично, какъ умомъ, такъ и тѣломъ, непреодолимо обворожительнымъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Англичанинъ самоувѣренъ на томъ основаніи, что онъ гражданинъ благоустроеннѣйшаго государства въ мірѣ и потому, какъ англичанинъ, знаетъ всегда, что ему дѣлать нужно, и знаетъ, что все, что онъ дѣлаетъ, какъ англичанинъ, несомнѣнно хорошо. Итальянецъ самоувѣренъ потому, что онъ взволнованъ и забываетъ легко и себя, и другихъ. *Русскій самоувѣренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ, потому что не вѣрить, чтобы можно было вполне знать что-нибудь.* Нѣмецъ самоувѣренъ хуже всѣхъ и тверже всѣхъ, и противнѣе всѣхъ, потому что онъ воображаетъ, что знаетъ истину, науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него есть абсолютная истина».

Опять-таки не лестно быть самоувѣреннымъ потому, что я ничего не знаю и знать ничего не хочу. А между тѣмъ несомнѣнно, что русскій характеръ и нежелательны (для меня напр.) черты этого характера прямо симпатичны гр. Толстому. Г-нъ Цюнь на безъ основанія увѣряетъ даже, что не-русскаго человѣка Толстой и изобразить не можетъ иначе, какъ со злобой и сарказмомъ (Наполеонъ), съ проніей и презрѣніемъ (Рамбаль, m^{lle} Бурень). Въ французѣ Толстой видитъ только фразера, кривляку и хвастуна, хотя и очень добродушнаго; француженка—интриганка, произносящая съ закатомъ глазъ «та мѣге, та раувге мѣге»...

Отчасти Цюнь правъ. Всѣ типы иностранцевъ или русскихъ, зараженныхъ иностраннымъ вліяніемъ, у Толстого отрицательны. Пьеръ Безухій становится настоящимъ хорошимъ человѣкомъ только сблизившись съ «ними», съ массой и отдѣлавшись отъ заразы западнаго индивидуализма и западной вѣры въ разумъ. Самъ Толстой разочаровался въ европейцахъ за ихъ «западный духъ...»

Но «эта неспособность судить обо всемъ, что иностранное, происходитъ, по мнѣнію Цюна, не отъ незнанія, не отъ преднамѣренной враждебности» а отъ извѣстнаго склада ума,

пожалуй, структуры мозга, которая мѣшаетъ Толстому проникать въ геній другого народа, кромѣ русскаго.

По мнѣнію того-же Ціона Толстой нисколько не питаетъ ненависти къ европейскимъ народамъ и не испытываетъ слѣпотоу удивленія ко всему русскому. Слишкомъ ясновидящій, чтобы не замѣчать недостатковъ своихъ соотечественниковъ, онъ въ то же время слишкомъ искренній, чтобы не указывать на нихъ. Въ ряду многочисленныхъ національных типовъ, разсѣянныхъ въ его романахъ, лишь очень немногіе внушаютъ къ себѣ симпатію... Его картины русскаго общества суть сатиры и тѣмъ болѣе жестоки, что тутъ уже одно сходство составляетъ горечь и что къ нимъ не примѣшивается задней мысли о томъ, что авторъ чернить намѣренно.

Все это какъ нельзя болѣе справедливо; несомнѣнно однако, что во время созданія «Войны и Мира» русскія симпатіи Толстого были энергичны и почти не допускали сомнѣній. Его преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа заставило его поклониться и передъ русскимъ характеромъ... Платонъ Каратаевъ обрисованъ съ такой старательностью, такую любовь, какъ ни одно лицо въ романѣ, и сердце автора несомнѣнно на его сторонѣ...

Что-же особенно нравится Толстому въ русскомъ человѣкѣ? Прежде всего признаніе высшаго, стоящаго внѣ человѣческихъ условій суда надъ жизнью; а потомъ, какой-то странный жизнерадостный пессимизмъ.

Этотъ высшій, стоящій внѣ человѣческихъ условій судъ надъ жизнью иллюстрируется и разсказомъ Каратаева о купцѣ, несправедливо сосланномъ на вѣчныя каторжныя работы, и исторіей Пьера Безухова.

Въ разсказѣ Каратаева о купцѣ истина наконецъ открывается: «списали... послали бумагу, какъ слѣдуетъ... Мѣсто дальнее, пока судъ да дѣло, пока всѣ бумаги списали какъ должно, по начальствамъ значить... До царя доходило. Пока что, пришелъ царскій указъ: выпустить купца, дать ему награжденія, сколько тамъ присудили; пришла бумага, стали старичка разыскивать... Гдѣ такой старичокъ, безвинно напрасно страдалъ? Отъ царя бумага вышла... Стали искать.—(Нижняя челюсть Каратаева вздрогнула).—А его ужъ Богъ простилъ, померъ... Такъ-то, соколикъ!—закончилъ Каратаевъ и долго, молча улыбаясь, смотрѣлъ передъ собой».

Есть значить высшій судъ надъ жизнью?..— Да, есть;— отвѣчаетъ Пьеръ Безухій въ минуту прозрѣнія, въ плѣну, въ грязи, въ униженіи.

«— Ха, ха, ха! смѣялся Пьеръ... И онъ проговорилъ вслухъ самъ съ собою:— Не пустилъ меня солдатъ... Поймали меня, заперли меня. Въ плѣну держать меня. Кого меня? Меня? Мою безсмертную душу! Ха, ха, ха!.. ха... ха... ха!..— смѣялся онъ съ выступавшими на глаза слезами. Онъ оглянулся вокругъ себя... Прежде громко шумѣвшій трескомъ костровъ и говоромъ людей, огромный бивакъ засыпалъ; красные огни костровъ потухали и блѣднѣли. Высоко въ свѣтломъ небѣ искрились звѣзды. Пьеръ взглянулъ въ небо, въ глубь уходящихъ, играющихъ звѣздъ. «И все это мое, и все это во мнѣ, и все это я! думалъ Пьеръ... И все это они поймали и посадили въ балаганъ, загороженный досками...» Онъ улыбнулся и пошелъ укладываться спать къ своимъ товарищамъ...»

Вотъ онъ судъ земной «загораживающій досками безсмертную душу человѣческую!...»

И рядомъ съ этимъ какой-то странный «жизнерадостный» пессимизмъ. Платонъ Каратаевъ—(а ему, кстати замѣтить, мы придаемъ *не меньшее* значеніе, чѣмъ придавалъ ему Толстой, сдѣлавъ его руководителемъ всей обновленной жизни главнаго героя романа—Безухова)—всегда веселъ, доволенъ, дѣятеленъ, всегда хлопочетъ, разговариваетъ, а между тѣмъ: «такъ-то другъ мой любезный, говорить онъ... Рокъ головы ищеть. А мы все судимъ: то нехорошо, да то неладно.... *Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ*: тянешь—надулось, а вытацишь—ничего нѣтъ». Припомните и опредѣленіе русской самоувѣренности; изреченію Каратаева позавидовалъ бы самъ Будда. Если дѣйствительно наше счастье — вода въ бреднѣ, то зачѣмъ же жить? а Каратаевъ хотя и зоветъ смерть Божиимъ прощеніемъ, думаетъ и о новыхъ важнѣющихъ портянкахъ и одерживаетъ бородинскія побѣды. Онъ даже веселъ, не напускной тщеславной веселостью преступника передъ казнью, а веселъ просто, органически, какъ хлопотливая ласточка...

Въ народныхъ типахъ Толстого неумолкаемо звучитъ пессимистическая и фаталистическая—(рокъ головы ищеть)—струна. Та же струна слышна на каждой страницѣ «Войны и Мира», не смотря на все патріотическое и поразительное одушевленіе, съ какимъ написанъ романъ... Откуда это?

Ціонъ написалъ по этому поводу положительно интересное изслѣдованіе, съ выводами котораго я сейчасъ познакомлю читателя... «Отсутствіе стойкости, недостатокъ индивидуальной выдержки—такія черты характера не трудно обнаружить у большинства русскихъ. Возгараясь непомѣрнымъ энтузіазмомъ ко всякому начинанію, русскій человѣкъ скоро охлаждаетъ; встрѣчающіяся трудности, особливо если онѣ непредвидѣнныя и раздражающія, не замедляютъ охладить его пылъ. Вскорѣ онъ начинаетъ удивляться, что взялся за дѣло съ такою рьяностью». Этотъ недостатокъ выдержки дѣлаетъ уже человѣка склоннымъ къ пессимизму. «Въ русскомъ, продолжаетъ Ціонъ, слишкомъ значительная доза восточной крови, чтобы не отрѣшиться отъ индивидуализма. Но напротивъ, тѣмъ, что называютъ табуннымъ началомъ, онъ обладаетъ въ весьма сильной степени. Въ положеніи изолированномъ русскому не хватаетъ твердости, онъ отходитъ въ сторону и уступаетъ легко. Но ничто неспособно его заставить обратиться вспять, разъ что онъ чувствуетъ себя съ толпой. На міру и смерть красна».

Итакъ, по мнѣнію Ціона, становясь на точку зрѣнія своей націи, Толстой совершенно правъ, придавая мало значенія усиліямъ индивидуальной воли и напротивъ считая коллективную волю главнымъ двигателемъ.

Гдѣ же источники пессимистической окраски этой системы и этого міровоззрѣнія?.. Если фізіологъ можетъ объяснять источникъ пессимистическаго настроенія нѣкоторыхъ философовъ условіями ихъ личной жизни (напр. слѣпота Дюринга, параличъ Гартмана и т. д.), то въ отношеніи Толстого сдѣлать это не легко. Ни природа, ни общество не были мачехами великаго писателя... Какъ разъ напротивъ. «Родовитость, значительное состояніе, наилучшія связи въ свѣтѣ, любящая и любимая семья, несравненные литературные успѣхи, небывалая слава, здоровье крѣпкое и цвѣтущее, обширныя познанія, пріобрѣтенныя безъ большихъ усилій—все это дано Толстому, какъ никому,—а онъ стыдится своихъ чудныхъ твореній, называетъ книгопечатаніе гибельнымъ изобрѣтеніемъ. Не странно ли все это?..»

Ціонъ разлагаетъ пессимизмъ графа Толстого на два элемента: племенной и личный. Не разъ было замѣчено, что какая-то печальная нотка преобладаетъ у всѣхъ безъ исключенія русскихъ поэтовъ, романистовъ, художниковъ, музыкантовъ. Поэты впадаютъ въ элегическій тонъ, романисты ста-

новятся реалистами и потому меланхоличными, какъ сама русская жизнь. Эта грустная нотка обязана воздѣйствію всей массы многообразныхъ условій русской дѣйствительности, начиная отъ суроваго климата, болѣзненной впечатлительности славянской натуры и кончая апатіей, порождаемой органическимъ убѣжденіемъ, что всякое доброе начинаніе должно роковымъ образомъ остаться безплоднымъ. Русскій человѣкъ какъ бы подавленъ грустными впечатлѣніями своей среды. Даже у такихъ юмористовъ, какъ Гоголь и Щедринъ, постоянно пробивается наружу меланхолическое настроеніе.

Таковъ племенной источникъ пессимизма, который можно назвать *подавленностью* личности. Личный же элементъ заключается, по мнѣнію Ціона, въ томъ, что, вступивъ въ свѣтъ, Толстой, какъ глубокій и проницательный психологъ, долженъ былъ сдѣлать неутѣшительныя наблюденія надъ дѣйствительностью. Чѣмъ ближе знакомился онъ съ какимъ-нибудь кружкомъ общества, тѣмъ непріятнѣе были его впечатлѣнія. Полной гармоніи жизни, которой требовала его душа, онъ не встрѣчалъ нигдѣ, да ея и нѣтъ на свѣтѣ. Такимъ образомъ Толстой сталъ жертвой своей несравненной проницательности, своего удивительнаго дара наблюденія. Съ юныхъ лѣтъ онъ уже смотритъ разочарованнымъ, получаетъ отвращеніе къ обществу и жизни. Не питая того благодушнаго презрѣнія, которое «спасаетъ отъ меланхоліи» иныхъ разочарованныхъ людей, онъ отдается пессимизму...

Я бы хотѣлъ отмѣтить и еще одинъ элементъ пессимизма Толстого—его пресыщеніе жизнью, отчасти по наслѣдству полученное, отчасти благопріобрѣтенное. Впрочемъ, самъ Ціонъ намекаетъ на это, говоря:

«Толстой творить легко. Чувствуется при чтеніи его произведеній, что образцовыя страницы въ нихъ вышли изъ головы писателя во всей своей красѣ, совершенно законченными, и не нуждаются ни въ какой ретуши. Къ столь счастливому дару присоединяется рѣдкое счастье, съ самаго начала своихъ литературныхъ дебютовъ, быть понятымъ, оцѣненнымъ и выдвинутымъ на видное мѣсто... Толстого осыпаютъ похвалами, лестными отзывами. Какое же вліяніе долженъ имѣть на него этотъ успѣхъ?

«Исповѣдь» повѣствуетъ объ этомъ откровенно и съ безусловной искренностью. Онъ презираетъ критику и своихъ читателей именно за то удивленіе, какимъ его награждаютъ, и онъ не безъ презрѣнія относится къ своимъ твореніямъ. Не измѣняя своей прямотѣ, своей честности, онъ приходитъ къ мысли, что онъ крадетъ деньги у публики, что его состояніе пріобрѣтено безчестно, что онъ—лишній тунеядецъ, подобно прочимъ своимъ

современникамъ. Съ непреклонною логикою, свойственной его расѣ, онъ весьма скоро убѣждается, что ручной трудъ—единственно честный, единственно достойный человѣка и, рѣшившись «идти въ народъ», нашъ писатель одѣвается «мужикомъ» и идетъ работать на поле.

Развѣ не это-же пресыщеніе, вызванное милліонами, праздной, легкой жизнью, праздной красавицей женой, заставило Пьера Безухова восчувствовать особенную прелесть голода, холода, жажды и вшей... даже вшей...? Излишекъ радости и излишекъ страданій всегда влекутъ къ недовольству и отвращенію отъ жизни.

Но какъ бы мы ни разлагали настроеніе Толстого, мы никогда не должны забывать, что наша жизнь сшита не по мѣркѣ великихъ людей. Тоска, грусть и отчаяніе почти неизбѣжны для слишкомъ богато одаренной натуры... „Вѣдь сердце поэта, говоритъ Гейне—центръ міра, какъ же не быть ему въ настоящее время разорваннымъ?“

ХІІ

Кризисъ.

Мнѣ думается, что предыдущія главы должны были подготовить читателя къ наступленію кризиса въ душѣ Толстого, такъ какъ кризисъ этотъ никогда въ сущности не прекращался. Сомнѣнія и муки таились все время и наконецъ съ невѣроятной силой вырвались наружу. Случилось то же, что случается передъ нами на каждомъ пожарѣ: огонь сначала тантся внутри зданія, языки пламени медленно переходятъ съ одного предмета на другой, лишь изрѣдка вырываясь сквозъ окна или бросая на нихъ красное зарево. Но огонь окрѣпъ, пробрался сквозъ крышу на свѣжій воздухъ и вдругъ зданіе вспыхиваетъ, какъ свѣча...

Что было ближайшимъ поводомъ кризиса—опредѣлить трудно. Да и нужно-ли искать этихъ ближайшихъ поводовъ? Они важны въ юности, важны для человѣка съ обыденнымъ умомъ, живущаго въ пріятной дремотѣ, —этому нуженъ толчокъ, встряска. Но Толстому въ описываемое время, т. е. во второй половинѣ 70-хъ годовъ, было уже около 56-ти лѣтъ, въ пріятной дремотѣ онъ не находился никогда. Его умъ работалъ неустанно. Когда корни растенія подкопаны, но остался еще одинъ тоненькій корешокъ, оно, хотя бы чахлое, все еще продолжаетъ

жить; но вотъ и этотъ корешокъ перерѣзанъ, и растеніе умираетъ. Подъ свои вѣрованія Толстой подкапывался всю жизнь, а въ какую минуту перерѣзалъ онъ послѣдній корешокъ—сказать нельзя. Онъ постоянно висѣлъ надъ пропастью отрицанія, висѣлъ держась за чахлый кустикъ, основу котораго грызли мыши. Рано или поздно кустикъ долженъ былъ оборваться, а человекъ слетѣть въ пропасть. Это собственное сравненіе Толстого. «Въ Исповѣди» онъ рассказываетъ о путникѣ, застигнутомъ въ пути разъяреннымъ звѣремъ. Спасаясь отъ звѣря, путникъ вскакиваетъ въ безводный колодезь. Но—увы—на днѣ колодца лежитъ драконъ съ разинутой пастью. Путникъ ухватывается за вѣтви растущаго въ расщелинѣ куста. Но кустъ рано или поздно долженъ оборваться, потому что двѣ мыши, черная и бѣлая, подтачиваютъ его стволъ съ разныхъ сторонъ. Путникъ видитъ это, понимаетъ, что онъ долженъ съ минуты на минуту упасть внизъ и погибнуть, и, видя и понимая все это, лижетъ засохшимъ языкомъ капли меда на листьяхъ куста.

Разъяренный звѣрь пустыни и драконъ—это смерть. Мыши—время, кустъ—жизнь... Капли меда—радости жизни... Пока есть медъ—есть и силы, и смыслъ, и призраки счастья...

«Такъ я жилъ, рассказываетъ Толстой о періодѣ своего «семейнаго счастья», но пять лѣтъ назадъ (1876 г.) со мною стало случаться что-то странное: на меня стали находить минуты сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто я не зналъ, какъ мнѣ жить, что мнѣ дѣлать, и я терялся и впадалъ въ уныніе.

Но это проходило, и опять я продолжалъ жить по прежнему. Потомъ эти минуты недоумѣнія стали повторяться чаще и все въ той же самой формѣ. Эти остановки жизни выражались всегда одинокими вопросами: зачѣмъ?... ну а потомъ?.. Сначала мнѣ казалось, что это такъ себѣ, безцѣльные, неумѣстные вопросы. Мнѣ казалось, что все это извѣстно и что если я захочу заняться ихъ ра рѣшеніемъ, то это не будетъ стоить мнѣ никакого труда, что теперь мнѣ нѣкогда только этимъ заниматься, а когда вадумаю, тогда и отвѣты найду. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельныѣе и настоятельныѣе требовались отвѣты и, какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились эти вопросы безъ отвѣтовъ въ одно черное пятно. Я нашелъ, что это не случайное недомоганіе, а что-то очень важно; и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо отвѣтить на нихъ. Но только что я тронулъ ихъ и попытался разрѣшить эти казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми вопросы, я тотчасъ же убѣдился, что эти вопросы—самые глубокіе и важныя въ жизни вопросы, и что сколько-бы я ни думалъ, я не могу разрѣшить ихъ. Прежде чѣмъ заняться самарскимъ имѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ книги, надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю—зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать.

Ну, хорошо, у тебя будетъ 6 тысячъ десятиныхъ, 300 головъ лошадей, а потомъ?... И я совершенно отбѣшивалъ и не зналъ, что думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ я воспитаю дѣтей, я говорилъ себѣ: зачѣмъ?... Или, разсуждая о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славѣ, которую приобретаю мнѣ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: «Ну хорошо, ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—ну, и чтожъ?» И я ничего, ничего не могъ отвѣтить.

Остановилась тогда моя жизнь. Я могъ дышать, ѣсть, пить, спать, и не могъ не дышать, не ѣсть, не спать, но жизни не было, потому что не было такихъ желаній, удовлетвореніе которыхъ я находилъ бы разумнымъ. Если я желалъ чего, я впередъ зналъ, что удовлетворю или не удовлетворю мое желаніе—изъ этого ничего не выйдетъ. Если есть у меня не желанія, но привычки желаній прежнихъ, въ трезвыя минуты я знаю, что это—обманъ, что желать нечего. Какая то непреодолимая сила влекла меня къ тому, чтобы какъ нибудь избавиться отъ жизни. Мысль о самоубійствѣ была такъ соблазнительна, что я долженъ былъ употреблять противъ нея хитрости, чтобы не привести ее слишкомъ скоро въ исполненіе. Я не хотѣлъ торопиться только потому, что хотѣлось употребить всѣ усилія, чтобы распутаться. Если не распутаюсь, то всегда успѣю, говорилъ я себѣ.. И это сдѣлалось со мною тогда, когда я былъ совершенно счастливъ—все у меня было: семья прекрасная, средства большія и все возраставшія, слава, уваженіе ближнихъ, здоровье, сила тѣлесная и душевная, кажется все...

И ужъ ничему въ жизни не могъ придать никакого разумнаго смысла. Все это такъ давно всѣмъ извѣстно. Не нынче, завтра придутъ болѣзнь и смерть на любимыхъ людей, на меня, и ничего не останется, кромѣ смрада и червей. Дѣла мои, какія-бы они ни были, забудутся всѣ раньше или позже—это все равно. И, главное—меня не будетъ. Такъ изъ чего же хлопотать? Прежній обманъ радостей житейскихъ, заглушавшій ужасъ смерти, уже не обманывалъ меня. Сколько ни говорили мнѣ: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи,—я не могъ уже этого дѣлать, потому что слишкомъ долго дѣлалъ это прежде. Теперь я не могъ не видѣть дня и ночи, бѣгущихъ и ведущихъ меня къ смерти...

Тѣ двѣ капли меда, которыя дольше другихъ отводили мнѣ глаза отъ жестокой истины,—любовь къ семьѣ и къ писательству, которое я называлъ искусствомъ,—уже стали не сладки мнѣ. Семья?—говорилъ я себѣ,—но семья—жена, дѣти, они тоже люди. Они тоже должны или жить во лжи, или видѣть ужасную истину. Зачѣмъ же мнѣ жить? Зачѣмъ мнѣ любить ихъ, беречь, растить... и блюсти ихъ?—говорилъ Левинъ, рыдая. —Для того же отчаянія, которое во мнѣ, или тупоумія? Любя ихъ, я не могу скрывать отъ нихъ истины, всякій шагъ въ познаніи приведетъ ихъ къ истинѣ. А истина—смерть... Искусство, поэзія? Долго подвѣяніемъ успѣха, похвалы людской я увѣрялъ себя, что смерть, которая уничтожить—и дѣла мои, и память о нихъ ничтожна. Но скоро я увидѣлъ, что и это обманъ. Мнѣ ясно было, что искусство есть

украшение жизни, заманка къ ней. Но жизнь потеряла для меня всю заманчивость,—какъ же я могу заманивать другихъ? Пока я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ, хоть я и не умѣю выразить его,—отраженіе жизни въ искусствѣ доставляло мнѣ радость, мнѣ весело было смотрѣть на жизнь въ это зеркальце искусства. Но когда я сталъ отыскивать смыслъ жизни, зеркальце это стало мнѣ или мучительно, или ничтожно...

Зеркальце теперь говорило, что положеніе мое отчаянно и глупо; этимъ я не могъ утѣшаться. Хорошо мнѣ было любоваться его отраженіями, когда я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ. Тогда эта игра свѣтовъ—комическаго, трагическаго, трогательнаго, прекраснаго, ужаснаго въ жизни потѣшала меня. Но когда я узналъ, что жизнь бессмысленна и ужасна, игра въ зеркальце не могла уже забавлять меня. Но и этого мало. Если эта истина всегда была мнѣ извѣстна, я бы могъ быть спокойнымъ, зная, что это мой удѣлъ. Если бы я былъ, какъ человѣкъ, отъ рожденія безвыходно живущій въ лѣсу, изъ котораго онъ знаетъ, что выхода нѣтъ, я бы могъ жить.

Но я былъ какъ человѣкъ, заблудившійся въ лѣсу, на котораго нашелъ ужасъ отъ того, что онъ заблудился, и онъ мечется, желая выбраться на дорогу; знаетъ, что всякій шагъ еще больше путаетъ его, и не можетъ не метаться. Это было ужаснѣе всего... И чтобы избавиться отъ этого ужаса, я хотѣлъ убить себя. Я испытывалъ ужасъ передъ тѣмъ, что ожидаетъ меня, зная, что этотъ ужасъ ужаснѣе самаго положенія, но не могъ терпѣливо ждать конца. Какъ ни убѣдительно было разсужденіе о томъ, что все равно разорвется сосудъ въ сердцѣ или лопнетъ что нибудь, и все кончится,—я не могъ терпѣливо ожидать конца. Ужасъ тѣмъ былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣй, поскорѣе избавиться отъ него петлей или пулей. И вотъ это то чувство сильнѣе всего влекло меня къ самоубійству»...

Толстой по обыкновенной своей привычкѣ, разъ дѣло касается личной его жизни, говоритъ слишкомъ обще: «на него стали находить минуты унынія, жизнь его остановилась» и т. д. «Вкушая вкусихъ мало меду и се азъ умираю»—вотъ смыслъ предыдущихъ строкъ. Медъ исчезъ, возможность и охота наслаждаться медомъ исчезла—корень жизни надломился и великій человѣкъ на вершинѣ человѣческой славы опять стоитъ съ глазу на глазъ съ роковой тайной бытія и вперивъ въ безконечную пустоту вселенной свой испытующій взглядъ, спрашиваетъ себя: зачѣмъ, къ чему?

Кто-же разскажетъ, что тайна отъ вѣка,

Въ чемъ состоитъ существо человѣка...

Кто онъ? Откуда, куда онъ идетъ?

Кто тамъ вверху надъ звѣздами живетъ?

Это страшный вопросъ и правъ поэтъ, говоря:

Сколько головъ безпокойныхъ томилъ онъ,
Сколько имъ муки принесъ!

И вотъ счастливѣйшій изъ смертныхъ гр. Толстой прячетъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повѣситься, и не ходить на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни. Что-же такое жизнь? спрашиваетъ себя этотъ счастливѣйшій изъ смертныхъ и отвѣчаетъ: Кѣмъ-то сыгранная надъ нами злая и глупая шутка... Онъ смотритъ на веселыя, смѣющіяся лица дѣтей, на другія знакомыя, любимыя лица и думаетъ: пройдутъ года, и въ сущности немного лѣтъ всего, и замолкнетъ этотъ смѣхъ, и не останется ничего кромѣ смрада и червей. Что я и «вѣчность»? Обидный страшный звукъ—не больше.

Толстой говоритъ, что онъ «боялся жизни», «стремился отъ нея». Я думаю, что онъ всего сильнѣе боялся смерти. Приближающаяся старость, сѣдина и морщины, болѣзни—все это направляло умъ къ той странѣ, откуда не возвращался еще никто. Съ точки зрѣнія смерти, все суeta, все глупо, не нужно, пусто. Дойти до такого настроенія, когда, смотря на смѣющіяся красныя губы, воображаешь ихъ себѣ изъѣденными червями, или, видя передъ собой лучистые, полные жизни глаза, думаешь о безобразныхъ впадинахъ черепа, набитыхъ землей и червями—значить не жить уже больше. Мы сейчасъ ближе ознакомимся съ этимъ процессомъ смерти и возрожденія. Но пока одно маленькое замѣчаніе.

Чѣмъ живъ человѣкъ? Своей привязанностью къ жизни прежде всего. Она не иллюзія, а мать всѣхъ иллюзій, надеждъ, ожиданій,—она источникъ силы, стремленія, радости. Разъ исчезла она, исчезло все. Привязанность къ жизни—инстинктъ, онъ не выдерживаетъ критики съ точки зрѣнія разума и не нуждается въ этой критикѣ. Я думаю даже, что такая критика преступна. Это понималъ Лермонтовъ, когда писалъ: я не хочу...

Чтобъ тайный ядъ страницы знойной
Смутилъ ребенка умъ спокойный
И сердце слабое увлечь
Въ свой необузданный потокъ...

О, нѣтъ, преступною мечтою
Не ослѣпляя мысль мою,
Такой тяжелою цѣною
Я вашей славы не куплю...

Уничтожать въ другомъ привязанность къ жизни—преступная мечта. Это все, что есть у человѣка, это богатство всѣхъ его дней; отнимать его то же, что отнимать у нищаго суму и корку хлѣба у голоднаго. Когда паралитикъ Гартманъ говорить, что жизнь скучна—это не бѣда; но когда онъ съ нѣмецкой аккуратностью и несомнѣннымъ блестящимъ и лов-

кимъ діалектическимъ талантомъ начинаетъ перечислять всѣ радости бытія и подкапываться подъ чувство любви, дружбы, вѣры, счастья, я полагаю, что онъ совершаетъ преступленіе. Привязанность къ жизни—сумма всѣхъ инстинктовъ жизни, ихъ равнодѣйствующая, это таинственный жизненный эликсиръ алхиміи; величіе разума въ томъ, чтобы увеличивать его, давать ему свободу проявленія, предохранять его отъ ошибокъ, но не заражать его тайнымъ ядомъ сомнѣнія. Сомнѣніе должно остановиться здѣсь; идти далѣе преступно. Такое страшное преступленіе совершилъ Гамлетъ, хотя онъ и любилъ Офелію болѣе, чѣмъ сорокъ тысячъ братьевъ. Онъ влюбленной, милой, полной жизни дѣвушкѣ показывалъ лишь черепъ и могильныхъ червей, онъ послалъ ее въ монастырь. Прямое убійство лучше и честнѣе, чѣмъ эта медленная отвратительная инквизиція.

Толстой подвергъ критикѣ разума самую привязанность къ жизни и дошелъ до мысли о самоубійствѣ. Это необходимо и логично. Онъ сообщилъ о своихъ сомнѣніяхъ всѣмъ, всему міру—это было бы преступленіемъ, если бы кризисъ его не кончился возрожденіемъ. Поэтому безъ боли и ужаса можемъ мы слѣдить за дальнѣйшими исканіями великой души. Эти исканія не приведутъ насъ къ глухому переулку и выведутъ на дорогу, по которой идти или не идти наше дѣло; все же дорога есть даже для Толстого.

Толстой обратился къ наукѣ. Спрашивая у одной стороны человѣческихъ знаній, онъ получилъ безконечное количество темныхъ отвѣтовъ о томъ, чего не спрашивалъ: о химическомъ составѣ звѣздъ, о происхожденіи видовъ и человѣка, о формахъ безконечно легкихъ невѣсомыхъ частицъ эфира, но отвѣта на вопросъ, въ чемъ смыслъ жизни, онъ не получилъ и разумѣется не могъ его получить, потому что наука этимъ вопросомъ не занимается и заниматься не можетъ. Все равно, какъ я не пойду въ X-й томъ законовъ справляться о томъ, что такое нравственность, и не долженъ обращаться къ китайской грамматикѣ, чтобы узнать, какъ излѣчиться мнѣ отъ болѣзни—такъ за рѣшеніемъ вопроса о смыслѣ жизни мнѣ нечего читать Дарвина, Лапласа, Лавуазье, Ляйеля. Смыслъ жизни—это конечная цѣль жизни, а ни о какихъ конечныхъ цѣляхъ наука не разсуждаетъ, давно уже убѣдившись, что такіа разсужденія безплодны и невозможны.

Толстой обратился къ философін. Здѣсь онъ, повидимому,

нашелъ выходъ изъ своего положенія, но этотъ выходъ былъ какъ разъ тотъ, который наводилъ на него такой ужасъ. Этимъ выходомъ была смерть. Онъ называетъ Сократа, Соломона, Будду, Шопенгауэра глубочайшими умами человечества. Чему же учатъ они? Толстой такъ формулируетъ ихъ воззрѣнія: «Къ чему мы, любящіе истину, стремимся въ жизни? Къ тому, чтобы освободиться отъ тѣла и отъ всего зла, вытекающаго изъ жизни тѣла. Если такъ, то какъ же намъ не радоваться, когда смерть приходитъ къ намъ? «Мы приблизимся къ истинѣ лишь настолько, насколько удалимся отъ жизни, говорилъ Сократъ, готоваясь къ смерти. Мудрецъ всю жизнь ищетъ смерти и потому смерть не страшна ему».

Итакъ смыслъ жизни въ смерти?

Толстой обратился къ людямъ своего круга и нашелъ у нихъ четыре выхода изъ сомнѣній. Первый выходъ есть выходъ невѣдѣнія, состоящій въ томъ, чтобы не знать и не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Второй выходъ есть выходъ эпикурейства. Человѣкъ знаетъ безнадежность своего положенія и все же говорить, какъ нѣкогда Соломонъ: «ѣшь съ веселіемъ хлѣбъ свой и пей въ радости сердца вино твое»... Третій выходъ—самоубійство. Четвертый—слабость и малодушіе. Понимая, что жизнь есть зло и бессмыслица, люди все же тянутъ ее.

Разумѣется, ни одного изъ этихъ четырехъ выходовъ не могъ принять Толстой, потому что нельзя не знать того, что знаешь, и не понимать того, что понимаешь.

И онъ обратился къ тому, кто всегда спасалъ его, кто всегда съ ласковой, доброй улыбкой протягивалъ ему, утопающему, руку—къ народу, массѣ.

«Благодаря, говорить онъ, какой-то странной физической любви къ настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидѣть, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, — я чувствую, что если я хочу понимать смыслъ жизни, то искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые утратили его и хотѣли убить себя, а у тѣхъ милліардовъ живущихъ и отжившихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромныя массы людей, жившихъ вокругъ меня»...

«Вѣра—сила жизни.» Къ этому выводу пришелъ Толстой и противъ такого вывода никто никогда ничего возразить не можетъ. Вѣра—это воля жизни, сосредоточившаяся возлѣ одного опредѣленнаго стремленія и дающая смыслъ и цѣль всему нашему бытію.

Но гдѣ и какъ найти эту вѣру? Вопросъ, повидимому, не-

разрѣшимый. Если я ничего не хочу (кроме удовлетворенія самыхъ элементарныхъ потребностей), то кто заставитъ или научить меня хотѣть; если я ни къ чему не стремлюсь, то что заставитъ или научить меня стремиться? Знаніе пріобрѣтается легко, но пріобрѣсти вѣру, когда ея нѣтъ, большинству кажется совершенно невозможнымъ. Эту самую невозможность испыталъ и Толстой, пока не пришелъ наконецъ къ правилу: «живи по вѣрѣ, и ты повѣришь...» Но пришелъ онъ къ этому не сразу. Не мало времени искалъ онъ вѣры такъ же, какъ мы ищемъ знанія. Онъ обращался къ монахамъ, странникамъ и священникамъ, онъ ходилъ въ Оптинскую пустынь, онъ записался каждое утро въ кабинетъ и молился, онъ постился, говѣлъ. Наконецъ онъ сталъ изучать Евангеліе и вчитываться въ его безсмертныя слова, продолжая собирать въ то же время «свѣдѣнія о вѣрѣ», если можно такъ выразиться. Онъ сблизался съ католиками, протестантами, раскольниками, старообрядцами, молоканами, изучалъ еврейскій языкъ подъ руководствомъ московскаго раввина Минора, все стремясь къ тому же—къ пониманію Евангелія... Нѣсколько лѣтъ провелъ онъ въ этой умственной напряженной работѣ, познакомился со всѣми толкованіями, накопилъ массу специальныхъ знаній, самъ комментировалъ, продолжая страдать, наслаждаться и сомнѣваться... Такъ рассказываетъ онъ объ этихъ своихъ занятіяхъ:

«Я прожилъ на свѣтѣ 55 лѣтъ и, за исключеніемъ 14—15 дѣтскихъ, 35 лѣтъ я прожилъ нигилистомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, то-есть не социалистомъ и революціонеромъ, какъ обыкновенно понимаютъ это слово, а нигилистомъ въ смыслѣ отсутствія вѣры.

«Пять лѣтъ тому назадъ я повѣрилъ въ ученіе Христа, и жизнь моя вдругъ перемѣнилась: мнѣ перестало хотѣться того, чего прежде хотѣлось, и стало хотѣться того, чего прежде не хотѣлось. То, что прежде казалось мнѣ хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Случилось со мной то, что случается съ человѣкомъ, который вышелъ изъ дѣломъ и вдругъ рѣшилъ дорогой, что дѣло это ему совсѣмъ не нужно, и повернулъ домой. И все, что было справа, стало слѣва, и все, что было слѣва, стало справа: прежнее желаніе быть какъ можно дальше отъ дома перемѣ-

нилось на желаніе быть какъ можно ближе отъ него. Направленіе моей жизни—желанія стали другими: и доброе, и злое переѣнилось мѣстами.

«Я такъ же, какъ разбойникъ на крестѣ, повѣрилъ ученію Христа и спасся. И это не далекое сравненіе, а самое близкое выраженіе того душевнаго состоянія отчаянія и ужаса передъ жизнью и смертію, въ которомъ я находился прежде, и того состоянія спокойствія и счастья, въ которомъ я нахожусь теперь. Я, какъ разбойникъ, зналъ, что жилъ и живу скверно, видѣлъ, что большинство людей вокругъ меня живутъ такъ же. Я такъ же, какъ разбойникъ, зналъ, что я несчастливъ, страдаю и что вокругъ меня люди также несчастливы и страдаютъ, и не видалъ никакого выхода, кромѣ смерти, изъ этого положенія. Я такъ же, какъ разбойникъ, къ кресту былъ пригвожденъ какой-то силой къ этой жизни страданій и зла. И какъ разбойника ожидалъ страшный мракъ смерти послѣ бессмысленныхъ страданій и зла жизни, такъ и меня ожидало то же» (1883 г.).

XIII

Ученіе Толстого.

Мы остановимся только на самыхъ существенныхъ пунктахъ:

1) *Основная идея жизни—идея религіозная.*

«Какъ ни храбрись,—говорить Толстой,—привилегированная наука съ философіей, увѣряя, что она рѣшительница и руководительница умовъ, она не руководительница, а слуга. Міросозерцаніе всегда дано ей религіей готовое, и наука только работаетъ на пути, указанномъ ей религіей. Религія открываетъ смыслъ жизни людей, а наука прилагаетъ этотъ смыслъ къ различнымъ сторонамъ жизни».

Ту же самую мысль онъ повторяетъ постоянно. Напр.:

«Философія, наука, общественное мнѣніе говорятъ: ученіе Христа неисполнимо потому, что жизнь человѣка зависитъ не отъ одного свѣта разума, которымъ онъ можетъ освѣтить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовъ, и потому не надо освѣщать

эту жизнь разумомъ и жить согласно ему, а надо жить какъ живетъ, твердо вѣруя, что по законамъ прогресса историческаго, соціологическаго и другихъ, послѣ того, какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сдѣлается сама собой очень хорошей»...

Такія нападки на науку и презрительный тонъ по адресу законовъ «историческихъ», «соціологическихъ» и другихъ не должны удивлять насъ. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что, какъ мы видѣли уже раньше, онъ спрашивалъ ее совсѣмъ не о томъ, о чемъ можно спрашивать науку.

Но если мы оставимъ въ сторонѣ слишкомъ рѣзкую формулировку Толстого, въ чемъ онъ постоянно грѣшитъ, говоря о наукѣ или философiи, и посмотримъ лишь на остовъ мысли, выраженной въ предыдущихъ словахъ, то найдемъ въ немъ, этомъ остовѣ мысли, совершенно справедливое указаніе на одну существенную черту научнаго и философскаго мышленія—именно на признаніе «необходимости» въ жизни. Наука и философiя не могутъ такъ безпредѣльно вѣрить въ силу человѣческаго разума, какъ вѣрить въ нее гр. Толстой. Наука и философiя разсматриваютъ и изучаютъ человѣка не самого по себѣ взятаго, а въ отношеніи ко вселенной, къ исторiи, къ тому, что дѣлалось миллионы лѣтъ тому назадъ и будетъ дѣлаться миллионы лѣтъ спустя, когда насъ лично не было и не будетъ. Отсюда и различіе въ опѣнкахъ. Поставивши человѣка рядомъ съ Казбекомъ или Монбланомъ, мы найдемъ, что онъ—предметъ очень малый съ виду; но поставивъ его рядомъ съ мухой, найдемъ, что онъ—существо довольно обширныхъ размѣровъ. Говоря о личной жизни и даже жизни отдѣльнаго поколѣнія въ сравненіи съ прошлой и будущей судьбой всего человѣчества и всей вселенной, мы едва-ли придадимъ имъ ту важность, которую необходимо придадимъ, разъ посмотримъ какъ на нѣчто самостоятельно сущее. Астрономъ, изучая образованіе вселенной, геологъ—образованіе земной коры, физикъ и химикъ—свойства и дѣятельность элементовъ, историкъ—прошлое человѣка, никакъ не могутъ проникнуться безусловнымъ уваженіемъ къ разуму человѣческому, потому что до сей поры они ни на чемъ не видѣли его слѣдовъ, или-же эти слѣды такъ же незначительны, какъ слѣды ребенка на гранитной скалѣ. Даже, повторяю, историкъ смѣло можетъ спросить себя, что-же

сдѣлать человѣческій разумъ? *Пока* слишкомъ мало. Величайшіе факты нашей новой европейской исторіи—переселеніе народовъ, паденіе крѣпостничества, развитіе капиталистической системы хозяйства—не носятъ на себѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ разума человѣческаго. На какомъ-же основаніи можно возлагать на этотъ послѣдній такіа большія надежды? Не говоря уже о томъ, что и понять-то что-нибудь очень трудно при несомнѣнной умственной косности и умственной забитости большинства людей—перевести это пониманіе въ дѣйствія въ 999 случаяхъ изъ 1000 прямо невозможно. Гр. Толстой утверждаетъ однако, что это очень легко. «*Только-бы*, говоритъ онъ, люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придетъ и поможетъ имъ»...

Только-бы... только... да въ этомъ «только» вся суть и заключается.

Но съ этой преувеличенной вѣрой Толстого въ силу человѣческаго разума и воли, съ его благороднымъ, хотя и утопическимъ убѣжденіемъ, что жизнь переменится сразу, если мы того захотимъ и повѣримъ,—мы еще встрѣтимся. Пока-же, второй пунктъ, который гласитъ:

2) *Религіозная идея практична*, т. е. ведетъ человѣка не къ созерцанію, а къ дѣятельности, поступкамъ. Она даетъ человѣку правила жизни и прежде всего выводитъ его изъ заколдованнаго круга личнаго эгоизма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Графъ Толстой рѣшительно это отрицаетъ.

Всѣ тѣ безчисленные дѣла, которыя мы дѣлаемъ для себя, въ будущемъ не нужны; все это обманъ, которымъ мы сами обманываемъ себя. Притчей о виноградаряхъ Христосъ разъясняетъ этотъ источникъ заблужденія людей..., заставляющаго ихъ принимать призракъ жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя въ хозяйскомъ обработанномъ саду, вообразили, что они собственники этого сада. И изъ этого ложнаго представленія вытекаетъ рядъ безумныхъ и жестокихъ поступковъ, кончающихся ихъ изгнаніемъ, исключеніемъ изъ жизни; точно такъ-же мы вообразили себѣ, что жизнь каждого изъ насъ есть наша личная собственность, что мы имѣемъ право на нее и можемъ пользоваться ею какъ хотимъ, ни передъ кѣмъ не имѣя никакихъ обязательствъ. По ученію Христа люди должны «понимать и чувство-

вать», что со дня рожденія и до смерти они всегда въ неплатномъ долгу передъ кѣмъ-то, передъ жившими до нихъ и передъ живущими и имѣющими жить, и передъ тѣмъ, что было и есть и будетъ началомъ всего».

Нѣсколькими строками ниже Толстой говоритъ и понятнѣе: «жизнь истинная есть только та, которая продолжаетъ жизнь прошедшую, содѣйствуетъ благу жизни современной и благу жизни будущей».

Хотя мысль эта выражена въ очень общей и потому совершенно необъятельной формѣ, я все-же думаю, что ни наука, ни философія ничего противъ нея возразить не могутъ. Человѣкъ какъ личность на самомъ дѣлѣ находится въ неплатномъ долгу передъ жившими, живущими и имѣющими жить, и давно уже не только сказано, но и доказано, что одинъ предоставленный самому себѣ, онъ, можетъ съ успѣхомъ развѣ обрости шерстью. Толстой вообще не устаетъ называть личную жизнь призракомъ—призрачной, откуда совершенно естественно вытекаетъ выводъ, что истинная жизнь можетъ быть основана лишь на «отреченіи отъ себя для служенія людямъ».

3) *Современное ученіе міра противорѣчитъ ученію Христа.* Толстой постоянно возвращается къ этой мысли и, надо согласиться, въ этомъ сила его ученія.

Онъ шелъ какъ-то по Москвѣ и увидѣлъ сторожа, грубо отгонявшаго нищаго отъ воротъ, гдѣ нищимъ стоять было воспрещено. «Евангеліе читаль?» спросилъ сторожа Толстой. «Читаль». — «А читаль: «и кто накормитъ голоднаго...!» Я сказалъ ему это мѣсто. Онъ зналъ его, выслушалъ. И я видѣлъ, что онъ смущенъ. Ему видно больно было чувствовать, что онъ, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народъ оттуда, откуда велѣно гонять, вдругъ оказался неправъ. Онъ былъ смущенъ и видимо искалъ отговорок. Вдругъ въ умныхъ черныхъ глазахъ его блеснулъ свѣтъ; онъ повернулся ко мнѣ бокомъ, какъ бы уходя. «А нашъ уставъ читаль?» спросилъ онъ. Я сказалъ, что не читаль. «Такъ и не говори», сказалъ сторожъ, тряхнувъ побѣдоносно головой и, запахнувъ тудупъ, молодецки пошелъ къ своему мѣсту. Это былъ единственный человѣкъ во всей моей жизни, строго логически разрѣшившій тотъ вѣчный вопросъ, который при нашемъ общественномъ строѣ стоялъ передо мною и стоитъ передъ каждымъ, называющимъ себя христіаниномъ».

Ученіе Христа построено на любви и братствѣ, наша жизнь

на силѣ. Сильный преобладаетъ надъ слабымъ, ученый надъ глупымъ, богатый надъ бѣднымъ, талантливый надъ безталаннымъ.

Что-же дѣлать? Прежде всего *одуматься* и спросить себя: приносить-ли мнѣ счастье та самая жизнь, на которую я трачу всѣ свои силы? Двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ, по словамъ Толстого быть не можетъ. Мы живемъ по ученію міра, думаемъ о накопленіи богатствъ, о превосходствѣ надъ другими, о галантномъ воспитаніи дѣтей своихъ, хлопочемъ, беспокоимся, мучаемся и все это изъ за чего? Изъ за такихъ пустыхъ вещей, какъ чтобы жить какъ люди, или чтобы не жить хуже другихъ людей. Толстой одумался и пришелъ къ тому выводу, что: «въ своей исключительно въ мірскомъ смыслѣ счастливой жизни я наберу страданій, понесенныхъ мною во имя ученія міра, столько, что ихъ стало бы на хорошаго мученика во имя Христа. Всѣ самыя тяжелыя минуты моей жизни, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тѣхъ неестественныхъ и мучительныхъ условій жизни, въ которыхъ я живу теперь—все это есть мученичество во имя ученія міра. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую въ мірскомъ смыслѣ, жизнь. Мы не видимъ всей трудности и опасности исполненія ученія міра только потому, что мы считаемъ, что все, что мы переносимъ для него, необходимо».

«Пройдите по большой толпѣ людей, особенно городскихъ, и взгляните въ эти истомленные тревожныя лица, и потомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вамъ удалось узнать; вспомните всѣ тѣ насильственные смерти, всѣ тѣ самоубійства, о которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите: во имя чего всѣ эти страданія, отчаяніе и горе, приводящія къ самоубійствамъ?»

Отвѣтъ Толстого простъ: мы мученики ученія міра. Оно, противоположное ученію Христа, ведетъ насъ къ братоубійственной борьбѣ, злобѣ, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляетъ насъ желать гибели ближняго и опускаетъ руку, протянутую на помощь ему. Оно ставитъ для нашей дѣятельности не нужныя и пустыя цѣли, преслѣдуя которыя мы совершенно забываемъ объ истинномъ смыслѣ жизни. И это забвеніе не проходитъ даромъ: мы расплачиваемся за него преступленіями, самоубійствами, тяжелымъ и постояннымъ чувствомъ недовольства и неудовлетворенности. Гонясь за призра-

ками мірскихъ идеаловъ, мы ощущаемъ лишь пустоту и утомленіе. Въ нашей жизни нѣтъ *счастливыхъ* людей. «Поищите, — говоритъ Толстой, — между этими людьми и найдите отъ бѣдняка до богача человѣка, которому-бы хватало то, что онъ зарабатываетъ, на то, что онъ считаетъ нужнымъ, необходимымъ по ученію міра, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякій бьется изо всѣхъ силъ, чтобы пріобрѣсти то, что не нужно для него, но что требуется отъ него ученіемъ міра и отсутствіе чего онъ считаетъ для себя несчастіемъ. И какъ только онъ пріобрѣтетъ то, что требуется отъ него, потребуется еще другое и еще другое, и такъ безъ конца идетъ эта сизифова работа, губящая жизнь людей».

Итакъ, виновато «ученіе міра», и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при какихъ усиліяхъ не обеспечиваетъ человѣку счастья. Преступленія и самоубійства, разрывныя бомбы и казни, чума и неурожай, бунты и драки — вотъ повидимому тотъ матеріалъ, которымъ наполняется наше ежедневное существованіе. Изрѣдка выступаетъ на сцену какой нибудь «отрадный фактъ», такой микроскопическій, что сравнительно съ окружающимъ его зломъ онъ представляется камешкомъ, катящимся по крутизнѣ Казбека, и робкимъ блескомъ фонаря передъ темнотою пропасти, куда не достигаютъ даже лучи солнца. Гдѣ-же тутъ говорить о счастьѣ?... Чтобы было счастье, надо прежде всего держаться по Толстому знаменитого правила:

4) *Не противься злу.*

«Я совсѣмъ не оптимистъ и живу въ томъ убѣжденіи, что какъ ни страшно то зло, которое мы знаемъ, оно не составляетъ и есотой доли того зла, котораго мы не знаемъ. Мы не знаемъ и не можемъ знать, какъ страдаетъ мать, на рукахъ которой умираетъ голодный ребенокъ; мы не знаемъ и не можемъ знать, что испытываетъ человѣкъ, когда надъ нимъ опускается топоръ гильотины. Для насъ это гіероглифы. И однако, несмотря на такой взглядъ на вещи, я полагаю, что Толстой слишкомъ сгущаетъ краски. Онъ сгущаетъ ихъ, когда говоритъ, что страданій, перенесенныхъ имъ лично въ его исключительно счаст-

ливой жизни, хватило-бы на добраго христіанскаго мученика; сгущаетъ краски и тогда, когда говорить, что ученіе міра—одно сплошное зло.

Я не буду говорить банальной и пошлой фразы, что рядомъ со зломъ существуетъ и добро, рядомъ съ человѣконенавистничествомъ проявляется состраданіе... ну, филантропія, что-ли. Богъ съ ними. и съ добромъ нашей жизни, и съ филантропіей, такъ какъ очевидно не въ нихъ дѣло.

Я спрашиваю себя: что такое добро?—Добро—наслажденіе, и сумма этихъ наслажденій составляетъ счастье. Зло—страданіе. Въ результатъ счастья—продолженіе жизни, въ результатъ страданія—прекращеніе жизни, т. е. смерть. Смерть неминуема, если сумма наслажденій меньше суммы страданій; жизнь возможна лишь при томъ условіи, чтобы сумма наслажденій превѣшивала сумму страданія. Это элементарный выводъ біологівъ, и ясно, что вытекаетъ изъ него.

Пусть не Толстой. а другой кто нибудь, хотя-бы второй Шопенгауэръ или Гартманъ, составятъ списокъ всѣхъ проявленій зла. Исписавъ три стопы бумаги, они увидятъ себя лишь въ самомъ началѣ работы... И все-же жизнь продолжается, и все-же люди живутъ дольше, чѣмъ прежде, и все-же работа человѣчества не прекращается ни на минуту.

Сумма наслажденій превышаетъ сумму страданія. Но какъ? Гдѣ тотъ таинственный знакъ, который отрицательную величину обращаетъ въ положительную? Гдѣ то, что дѣлаетъ нашу жизнь, полную зла, все же способною на продолженіе жизни?

Я знаю, что отвѣтъ будетъ непріятенъ послѣдователямъ графа Толстого, и все же не вижу причины скрывать его. Этотъ таинственный знакъ, это то, что мы ищемъ, есть не что иное, какъ *противленіе злу*. Въ борьбѣ-то съ нимъ, постоянной, упорной, настойчивой, человѣчество находитъ неизсякаемый источникъ наслажденія, и эта-то борьба даетъ ему возможность переносить то, что съ точки зрѣнія разума непереносимо.

Не буду спорить о терминѣ: противленіе насиліемъ или безъ насилія. Насиліе насилію рознь. Мать, которая укладываетъ ласково и вѣжно своего ребенка, нехотящего спать,—совершаетъ надъ нимъ насиліе; солдатъ, который грубо ведетъ ме-

ня за шиворотъ въ плѣнь, совершаетъ надо мной насиліе; жена, которая не даетъ мнѣ большому того, что для меня вредно, совершаетъ насиліе; Толстой, который гениальной страницей, исполненной отрицанія, выводитъ меня изъ состоянія блаженнаго невѣдѣнія, совершаетъ надо мной насиліе, и лучшее доказательство, что это дѣйствительно насиліе, то, что я спорю съ нимъ. Въ одномъ случаѣ я дерусь, въ другомъ спорю, въ четвертомъ барахтаюсь, — и тамъ, и здѣсь противлюсь. Противленіе, какое-бы то ни было, даетъ перевѣсъ наслажденію надъ страданіемъ, и такъ было всегда, пока жило человѣчество. Троглодитъ, противившійся напавшему на него пещерному льву; русскіе люди, противившіеся вторженію Наполеона; публицистъ, противляющийся лжи и суевѣрію, — всѣ они насильники въ томъ или другомъ видѣ и всѣ они въ противленіи-то и находили наслажденіе, которое позволяло переносить страданіе.

Если-же мы признаемъ, что противленіе злу, давая человѣку неизсякаемый источникъ наслажденія, обуславливаетъ самую возможность жизни, погруженной въ зло, то мы поймемъ не только то, какъ это мы все еще живы, но и то, какъ мы будемъ жить дальше, хотя-бы зло возросло.

Но, скажутъ, Толстой не отрицаетъ противленія вообще. Онъ отрицаетъ лишь противленіе злу зломъ, насилію насиліемъ, и требуетъ, чтобы человѣкъ *шелъ дорогой добра, несмотря ни на что*. Это однако не такъ. Текстъ ясенъ: не противься злу, не больше и не меньше.

Мнѣ кажется, что хотя Толстой и сдѣлалъ текстъ о непротивленіи злу краеугольнымъ камнемъ своего ученія, все-же въ толкованіи этого текста онъ часто противорѣчитъ себѣ. Разъ онъ пишетъ: «слова эти: не противься злу и злему, понятія въ ихъ прямомъ значеніи, были для меня истинно ключомъ, открывшимъ для меня все.» Что-же могутъ означать эти слова въ ихъ прямомъ значеніи? Не противься злу никакъ: ни зломъ, ни добромъ, ни насиліемъ, ни убѣжденіемъ, ничѣмъ, что находится въ твоёмъ распоряженіи. Что-же это за „все“, что могъ открыть Толстому ихъ прямой смыслъ? Если-бы онъ рассуждалъ не какъ живой и великій человѣкъ, а какъ логическая машина, онъ-бы сказалъ: это все есть полное ничто, это все есть переходъ aus individueller Nichtigkeit ins Nichts т. е. нирвана. Однако Толстой требуетъ добра, правды, любви. Очевидно, что онъ придалъ тексту слишкомъ широкое значеніе, призналъ его за краеугольный камень своей нравствен-

ности и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ узкое, полагая, что онъ совмѣстимъ съ проповѣдью дѣятельной любви. Непротивленіе злу—требованіе отрицательное и, какъ таковое, можетъ вести лишь къ полному устраненію отъ жизни. Здѣсь очевидная путаница.

Кромѣ этого, никогда я не понималъ, и теперь не понимаю, почему вмѣсто текста отрицательнаго, Толстой не призналъ краеугольнымъ камнемъ текста положительнаго, о дѣятельной любви, напр.: «вѣра безъ дѣлъ мертва есть»? Много бы путаницы избѣжалъ онъ въ такомъ случаѣ. Но онъ настаиваетъ, что заповѣдь дѣятельной любви цѣликомъ вытекаетъ изъ заповѣди непротивленія злу. Какъ, какимъ образомъ? Дойдя до этого вопроса, Толстой всегда ставитъ точку и начинаетъ говорить о другомъ.

Для излюбленной своей теоріи непротивленія злу гр. Толстой не признаетъ рѣшительно никакихъ ограниченій, даже такихъ, которыя происходили бы изъ чисто рефлексивной стороны человѣческой природы. Въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ Энгельгардту онъ говоритъ, что если бы зулусъ ворвался въ его домъ и на его глазахъ сталъ рѣзать его родного ребенка—онъ не противился бы.

Въ сказкѣ объ Иванѣ Дуракѣ и его двухъ братьяхъ есть такая страница:

«Перешелъ тараканскій царь съ войскомъ границу, послалъ передовыхъ разыскивать Иваново войско. Искали, искали — нѣтъ войска. Ждать, пождать—не окажется ли гдѣ? И слуха нѣтъ про войско, не съ кѣмъ воевать. Послалъ тараканскій царь захватить деревни. Пришли солдаты въ одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотреть на солдатъ — дивятся. Стали солдаты *отбирать у дураковъ хлѣбъ, скотину*,—дураки отдають и никто не обороняется. Пошли солдаты въ другую деревню — все то же. Походили солдаты день, походили другой, —вездѣ все то же: все отдають, никто не обороняется и зовуть къ себѣ жить: коли вамъ, сердешные, говорить, на вашей сторонѣ житье плохое, приходите къ намъ совсѣмъ жить. Походили, походили солдаты—нѣтъ войска; а все народъ живетъ, кормится и людей кормить, и не обороняется, а зоветь къ себѣ жить. Скучно стало солдатамъ, пришли къ своему тараканскому царю.—Не можемъ мы, говорятъ, воевать; отведи насъ въ другое мѣсто; добро бы война была, это что—какъ кисель рѣзать. Не можемъ больше тутъ воевать.—Разсердился тараканскій царь, велѣлъ солдатамъ по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлѣбъ сжечь, скотину перебить.—Не послушасте, говорить, моего приказа, всѣхъ, говорить, васъ расказню.—Испугались солдаты, начали по царскому указу дѣлать. Стали *дома, хлѣбъ жечь, скотину бить*. Все не

обороняются дураки, только плачутъ: *плачутъ старики, плачутъ старухи, плачутъ малые ребята*.—За что, говорить, вы насъ обижаете? Зачѣмъ, говорить, вы добро дурно губите; коли вамъ нужно, вы лучше себѣ берите.—Гнусно стало солдатамъ. Не пошли дальше, и все войско разбѣжалось.

По смыслу разсказа «Крестникъ», выходитъ, что человѣкъ, убившій въ горячности разбойника, занесшаго уже топоръ надъ его матерью, совершилъ «великій грѣхъ».

Мнѣ кажется, что разсматривать подобныя правила съ ихъ философской стороны совершенно излишне: надо лишь самого себя поставить въ ту обстановку, которую описываетъ гр. Толстой, и спросить себя: что я въ такомъ случаѣ буду дѣлать. Буду ли я, какъ дуракъ изъ сказки «Ивана Царевича», видя, что на моихъ глазахъ насилуютъ мою жену, смѣренно упрашивать насильщика: «да оставайся сердешный, совѣмъ у насъ?» Буду ли я оставаться спокойнымъ и не противляющимся при убійствѣ моихъ дѣтей или матери? Я не могу оставаться спокойнымъ, и въ этомъ *не могу*—лучшій отвѣтъ на проповѣдь графа Толстого. Противъ возмущенія моего разсудка я еще въ силахъ бороться и въ силахъ подчинить его себѣ, но противъ возмущенія инстинкта, рефлекса, я такъ же безсиленъ, какъ безсиленъ не вздрогнуть, когда мнѣ неожиданно воткнули иглку въ спину,—безсиленъ не чихнуть, когда раздражил слизистую оболочку носа, не сжать зрачка, когда къ нему пододвинули свѣчу. Но инстинктъ, рефлексъ — это основаніе нашей человѣческой жизни, $\frac{9}{10}$ которой, кстати сказать, проходятъ въ совершенно безсознательныхъ процессахъ — и «уничтоживъ эту основу, я уничтожу самую возможность жизни», что впрочемъ блестяще высказано самимъ графомъ Толстымъ въ «Войнѣ и Мирѣ».

Переходимъ къ 5-му пункту ученія:

5) *Помогай ближнему и люби его*. Устанавливая это правило, гр. Толстой особенно колебался, особенно искалъ и мучился. Какъ и чѣмъ можно помогать ближнему? Его живое человѣческое сердце требовало подвиговъ самоотреченія и самопожертвованія, его аналитическій резонерствующій разумъ ни на минуту не переставалъ мудрствовать лукаво и въ этомъ своемъ мудрствованіи лукавомъ то и дѣло сталкивался съ живымъ призывомъ живого человѣческаго сердца. Уже съ дѣтства Толстого больше всего привлекала практическая сторона христіанства—ученіе о любви, самоотреченіи, милосердіи.

Казалось бы, это ученіе и должно было лечь въ основу всей нравственной его философіи, но резонирующій разумъ не позволяетъ такъ просто посмотреть на дѣло и, не придя въ сущности ни къ чему, доставляетъ своему владѣльцу лишь долгія муки безплодныхъ исканій. Всякій, я думаю, помнитъ, какъ Толстой, попавши однажды въ Ржановскій домъ въ Москвѣ —этотъ притонъ страшной нищеты, и притомъ нищеты безнадежной, не зная, что сдѣлать ему съ оставшимися у него 37-ю рублями. Этотъ эпизодъ вызвалъ у Михайловскаго горькую и блестящую страницу:

«Мы, говоритъ Н. К. Михайловскій, въ «Ржановомъ домѣ», въ самомъ центрѣ нищеты; она, хоть и пьяная и безобразная, но подлинная и несомнѣнная, кругомъ кишмя кишитъ. Гр. Толстому нужно отдѣлаться отъ 37 рублей, т. е. раздать ихъ. И посмотрите, какъ это оказывается трудно. Графъ и самъ раздумываетъ, и трактирщика Ивана Ѳедотыча на совѣтъ зоветъ, причемъ этотъ Иванъ Ѳедотычъ, эта пиявица, сосущая и спивающая нищету, оказывается и «добродушнымъ», и «доброевольнымъ». На совѣтъ приглашается еще и трактирный половой, и вотъ начинаются размышленія: куда дѣвать 37 рублей? Лакей предлагаетъ дать Парамоновѣ, которая *«бываетъ и не ѣмши»*, но Иванъ Ѳедотычъ отвергаетъ Парамоновну, потому «загуливаетъ». Можно бы Спиридону Ивановичу помочь, но и тутъ трактирщикъ находитъ препятствіе. Акулинь можно бы, да она «получается». «Слѣпому», такъ тому самъ графъ не хочетъ: онъ его видѣлъ и слышалъ, какими онъ скверными словами ругается, и т. д. Согласитесь, что эта сцена поразительная и характерная: среди кишашей кругомъ нищеты графъ не знаетъ, какъ «отдѣлаться» отъ 37 рублей и все резонируетъ и резонируетъ, къ какому занятію даже еще и трактирщика и полового привлекаетъ. *Неужели это живое чувство?* Пусть всякій, дѣйствительно простой сердцемъ человѣкъ пойдетъ съ 37 рублями въ карманъ и съ рѣшимостью отъ нихъ отдѣлаться въ Ржановъ домъ, да посмотреть хоть на Парамоновну, которая *«бываетъ и не ѣмши»*... А тутъ, помилюйте, «версть на тысячу въ окружности повѣстивъ свой добрый нравъ» и порѣшивъ важнѣйшіе вопросы наигуманнѣйшимъ образомъ, такъ беспокоятся объ 37 рубляхъ и такъ стараются, чтобы они достались пожалуй и такой, которая не ѣмши, но чтобы не «загуливала», а добродѣтелью сіяла. Это за тридцать-то семь рублей еще и добродѣтель имъ подавай... Нѣтъ, какъ хотите, а живого непосредственнаго чувства тутъ маловато».

Въ концѣ концовъ гр. Толстой пришелъ къ выводу, что помогать ближнему деньгами нельзя, ибо деньги—зло; нельзя помогать ему и знаніемъ, ибо всѣ мы—невѣжды и наука призрачна; нельзя помогать и заступничествомъ, ибо это ведетъ къ противленію.—Чѣмъ-же помогать?—*Любовью...*

Когда начался въ Россіи голодъ 91—92 гг., гр. Толстой

напечаталъ статью, въ которой признавались ненужными денежныя пожертвованія голодающимъ и отрицалось вообще всякое активное вмѣшательство въ жизнь, вѣрнѣе смерть миллионовъ людей. Такъ говорилъ резонирующий умъ. Прошло немного дней, и мы видимъ Толстого въ самомъ центрѣ нищеты, раздающаго хлѣбъ и деньги, устраивающаго даровыя столовыя.

Такъ заставило сдѣлать глубоко-любящее человѣческое сердце.

Что-же дѣлать въ концѣ концовъ, какъ остаться чистымъ среди жизненной грязи, какъ быть нравственнымъ среди безнравственныхъ, правдивымъ среди лжи, христіаниномъ среди торжествующаго ученія міра? Всѣ эти вопросы можно соединить въ одинъ: какими же путемъ добиться счастья и душевнаго спокойствія, гармоніи между словомъ и дѣломъ, убѣжденіями и жизнью? Въ отвѣтъ на это гр. Толстой выставляетъ передъ нами идеалъ мужицкой трудовой жизни.

«На вопросъ, что нужно дѣлать?—пишетъ гр. Толстой,—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что мнѣ самому нужно — мой самоваръ, моя печка, моя одежда, все, что я самъ могу сдѣлать... На вопросъ, нужно-ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнѣ на землѣ,—оказалось, что все это ненужно, ибо человѣкъ, трудящійся самъ собой, естественно примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ, не поглотитъ ли этотъ трудъ всего моего времени и не лишитъ ли меня возможности той умственной дѣятельности, которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты сомнѣнія считаю небезполезною другимъ, отвѣтъ получился самый неожиданный. Энергія умственной дѣятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь отъ всего излишняго, по мѣрѣ напряженія тѣлеснаго. Оказалось, что, отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ,—ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ усилахъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ.»

Графъ Толстой предлагаетъ такое распредѣленіе дня:

«День всякаго человѣка самой пищей раздѣляется на 4 части или 4 упражненья, какъ называютъ это мужики: 1) до завтрака; 2) отъ завтрака до обѣда; 3) отъ обѣда до полдника и 4) отъ полдника до вечера. Дѣятельность человѣка, въ которой онъ по самому существу своему чувствуетъ потребность, тоже раздѣляется на 4 рода: 1) дѣятельность мускульной силы, работа рукъ, ногъ, плечъ, спины—тяжелый трудъ, отъ котораго вспотѣешь; 2) дѣятельность пальцевъ и кисти рукъ—дѣятельность ловкости, мастерства; 3) дѣятельность ума и воображенія; 4) дѣятельность общенія съ другими людьми. Блага, которыми пользуется чело-

вѣкъ, тоже раздѣляются на 4 рода: всякій человѣкъ пользуется, во-первыхъ, произведеніями тяжелаго труда: хлѣбомъ, скотиной, постройками, колодцами, прудами и т. п.; во-вторыхъ—дѣятельностью ремесленного труда: одежей, сапогами, утварью и т. п.; въ-третьихъ—произведеніями умственной дѣятельности: наукъ, искусства; и въ-четвертыхъ—установленнымъ общеніемъ съ людьми. И мнѣ представилось, что лучше всего бы было чередовать занятія дня такъ, чтобы упражнять всѣ четыре способности человѣка и самому производить всѣ тѣ четыре рода благъ, которыми пользуются люди, такъ, чтобы одна часть дня—первая упряжка—была посвящена тяжелому труду, другая—умственному, третья—ремесленному и четвертая—общенію съ людьми. Мнѣ представилось, что тогда только уничтожится то ложное раздѣленіе труда, которое существуетъ въ нашемъ обществѣ, и установится то справедливое раздѣленіе труда, которое не нарушаетъ счастья человѣка.

Общія замѣчанія объ ученіи гр. Толстого. Взявши это ученіе въ совокупности, вы видите, что оно имѣетъ нѣсколько разнообразныхъ источниковъ, изъ которыхъ первый есть: ненависть къ ученію міра во имя ученія Христа.

Мнѣ кажется, что этотъ источникъ самый существенный, а заключенное въ немъ противорѣчіе—самое конкретное и удобное-понятное. Въ главѣ о писательской драмѣ мы видѣли, что заставляло Толстого признавать бесполезными и даже вредными свои произведенія. Онъ дѣлалъ имъ очную ставку съ нуждами и потребностями народа, и на этой очной мучительной ставкѣ гениальныя художественныя произведенія ясно выражали свою виновность. Но признаніе бесполезности и даже вредности достигло крайняго своего напряженія, когда гр. Толстой спросилъ себя: чему онъ служить, что проповѣдуетъ? Оказалось, что какъ самая его жизнь, такъ и всѣ его произведенія служатъ ученію міра и проповѣдуютъ *силу*. Онъ хотѣлъ быть здоровѣе, умнѣе, славнѣе другихъ, онъ проповѣдывалъ прелесть семейной обезпеченной жизни, которую надо завоевать. Быть здоровѣе, умнѣе, славнѣе другихъ—значить быть сильнѣе ихъ. Завоевать себѣ семейную обезпеченную жизнь можно лишь силой красоты, ума, дарованія, богатства. Его лучшіе герои выдѣляются то какъ хозяева, то какъ таланты, т. е. выдѣляются своей силой.

Онъ увѣровалъ въ Христа, и служеніе силѣ, проповѣдь силы показалаась ему и преступной, и грѣховной.

Ученіе Христа—ученіе любви. Христосъ запретилъ своимъ ученикамъ называть кого-бы то ни было погибшимъ и погибающимъ. Для него не существовало ни эллиновъ, ни іудеевъ, ни ра-

бывъ, ни свободныхъ—онъ зналъ только людей. Въ жизни онъ воплощалъ лишь одинъ законъ—законъ любви.

Толстой, какъ христіанинъ, идетъ по той-же дорогѣ. Его народныя рассказы всѣ написаны на одну и ту же тему, что смиреніе, какъ законъ любви, выше какого-бы то ни было другого закона, служа которому человѣкъ служитъ самому себѣ.

Это настроеніе Толстого превратилось въ философскую систему; онъ говоритъ:

«Религія есть установленное человѣкомъ между собой и вѣчными и безконечными міромъ или началомъ и первопричиной его известное отношеніе.

«Изъ этого отвѣта на первый вопросъ самъ собою вытекаетъ и отвѣтъ на второй.

«Если религія есть установленное отношеніе человѣка къ міру, опредѣляющее смыслъ его жизни, то нравственность есть указаніе и разъясненіе той дѣятельности человѣка, которая сама собою вытекаетъ изъ того или другого отношенія человѣка къ міру. А такъ какъ основныхъ отношеній къ міру или началу его известно намъ только два, если разсматривать языческое общественное отношеніе какъ распространеніе личнаго, или три, если разсматривать общественное языческое отношеніе какъ отдѣльное, то нравственныхъ ученій существуетъ только три: нравственное ученіе первобытное дикое, личное нравственное ученіе языческое или общественное, и нравственное ученіе христіанское, т. е. служеніе Богу—или божеское. ■ ■ ■

«Изъ перваго отношенія человѣка къ міру вытекаютъ общія всѣмъ языческимъ религіямъ ученія о нравственности, имѣющія въ своей основѣ стремленіе къ благу отдѣльной личности и потому опредѣляющія всѣ состоянія, дающія наибольшее благо личности и указывающія средства пріобрѣтенія этого блага.

«Изъ этого отношенія къ міру вытекаютъ нравственные ученія: эпикурейское въ низшемъ проявленіи; ученіе нравственности магометанское, общающее грубое благо личности на этомъ и на томъ свѣтѣ, и ученіе свѣтской утилитарной нравственности, имѣющей цѣлью благо личности только на этомъ свѣтѣ.

«Изъ того же ученія, ставящаго цѣлью жизни благо отдѣльнаго человѣка, а потому избавленіе отъ страданій личности, вытекаютъ нравственное ученіе буддизма въ его грубой формѣ и свѣтское ученіе пессимистическое.

«Изъ втораго языческаго отношенія человѣка къ міру, ставящаго цѣлью жизни благо известной совокупности личностей, вытекаютъ нравственные ученія, требующія отъ человѣка служенія той совокупности, благо которой признается цѣлью жизни. По этому ученію пользованіе личнымъ благомъ допускается только въ той мѣрѣ, въ которой оно пріобрѣтается всею тою совокупностью, которая составляетъ религіозную основу жизни. Изъ этого отношенія къ міру вытекаютъ известные намъ нравственные уче-

нія древняго римскаго и греческаго міра, гдѣ личность всегда приносила себя въ жертву обществу, такъ же и нравственность китайская; изъ этого же отношенія вытекаетъ нравственность еврейская—подчиненіе своего блага благу избраннаго народа, и нравственность нашего времени, требующая жертвы личности для условнаго блага большинства. Изъ этого-же отношенія къ міру вытекаетъ нравственность большинства женщинъ, жертвующихъ всею своею личностью для блага семьи и главное — дѣтей.

«Изъ третьяго, христіанскаго, отношенія къ міру, состоящаго въ признаніи человѣкомъ себя орудіемъ высшей воли для исполненія ея цѣлей, вытекають и соответствующія этому пониманію жизни нравственныя ученія, уясняющія зависимость человѣка отъ высшей воли и опредѣляющія требованія этой воли. Изъ этого отношенія человѣка къ міру вытекають всѣ высшія, извѣстныя человѣчеству нравственныя ученія: пифагорійское, стоическое, буддійское, браминское, таосійское въ ихъ высшемъ проявленіи и христіанское въ его настоящемъ смыслѣ, требующее отреченія отъ личной воли и отъ блага не только личнаго, но и семейнаго и общественнаго во имя исполненія открытой намъ въ нашемъ сознаніи воли того, кто послалъ насъ въ жизнь. Изъ этого другого или третьяго отношенія къ безконечному міру или началу его вытекаетъ дѣйствительная, нелицемѣрная нравственность каждаго человѣка, несмотря на то, что онъ номинально исповѣдуетъ или проповѣдуетъ какъ нравственность, или чѣмъ хочетъ казаться.

«Такъ что человѣкъ, признающій сущность своего отношенія къ міру въ приобрѣтеніи для себя наибольшаго блага, сколько-бы онъ ни говорилъ о томъ, что онъ считаетъ нравственнымъ жить для семьи, для общества, для государства, для человѣчества или для исполненія воли Бога, можетъ искусно притворяться предъ людьми, обманывая ихъ, но дѣйствительнымъ мотивомъ его дѣятельности будетъ всегда только благо его личности, такъ что, когда представится необходимость выбора, онъ пожертвуетъ не своею личностью для семьи, для государства, для исполненія воли Бога, а всѣмъ для себя, потому что, видя смыслъ своей жизни только въ благѣ своей личности, онъ не можетъ поступать иначе до тѣхъ поръ, пока не измѣнитъ своего отношенія къ міру» («Сѣверный Вѣстникъ», Январь 1895).

Толстой не считается и не хочетъ считаться ни съ исторіей нашей жизни, ни съ устройствомъ нашего организма. Онъ теперь такъ-же безусловно вѣрить въ силу человѣческаго разума и воли, какъ прежде, въ эпоху «Войны и Мира», безусловно отрицалъ ее. Онъ убѣждаетъ насъ любить и вѣрить, и думаетъ, что мы станемъ любить и вѣрить, разъ мы поймемъ, какъ преступна и злобна наша жизнь, основанная на стремленіи къ силѣ, на преклоненіи передъ силой, на служеніи силѣ.

Гамлету казалось порою, что одинъ ударъ ножа можетъ прекратить всѣ его муки, колебанія, сомнѣнія. Тол-

стому кажется, что одно усиліе воли и пониманія переродитъ насъ и нашу жизнь. Онъ и говоритъ поэтому: «одумайтесь»

Одуматься всегда хорошо. Возражать противъ того, что надо одуматься—было-бы преступно. Но такъ-ли это спасительно? Во-первыхъ, кто можетъ одуматься? Я допускаю, что у Толстого миллионъ читателей. Изъ этого миллиона пусть 100 тысячъ, т. е. десятая часть, пойдутъ по его стопамъ. Но что-же могутъ эти 100 тысячъ сдѣлать съ 50 вѣками исторіи, тысячами миллионами человѣчества, устройствомъ организма и наслѣдственностью? Толстой не признаетъ наслѣдственности, какъ Руссо; онъ думаетъ, что человѣкъ рождается свободнымъ, чистымъ и добрымъ—ну, а какъ наслѣдственность существуетъ, ну, а какъ человѣкъ рождается не свободнымъ, не чистымъ, не добрымъ? Вѣдь это послѣднее предположеніе справедливѣе. Толстой вѣруетъ, что разумъ такъ-же легко можетъ справиться съ инстинктами, какъ человѣкъ съ муравьемъ. О такой силѣ разума исторія не говоритъ ничего, а говоритъ какъ разъ наоборотъ. Не было эпохи, когда люди не понимали, что ихъ жизнь страшно далека отъ совершенства, и не было эпохи, когда это пониманіе совершенно перерождало-бы ихъ.

Когда-то Толстой приравнивалъ отдѣльнаго человѣка къ безконечно-малой величинѣ—дифференціалу, т. е. геометрическому непротяженному центру. Это была крайность, но крайность гораздо болѣе близкая къ истинѣ, чѣмъ та, въ которую онъ вдался теперь. «Дифференціалъ» исторіи превратился въ титана, свободно двигающаго горами... Когда-то Толстой всѣмъ существомъ своимъ принадлежалъ теоріи исторической необходимости. Теперь вмѣсто необходимости передъ нами всевозрождающая сила любви, вѣры, пониманія. Человѣкъ, дойдя до бездонной пропасти, въ испугъ поворачиваетъ въ сторону прямо противоположную и думаетъ, что теперь нашелъ истинный путь? А вдругъ и тамъ пропасть еще глубже, еще мрачнѣе...

Встаньте, повторяю, на точку зрѣнія возможности и невозможности, потому что, нѣтъ-нѣтъ, на нее становится самъ Толстой. Любовь—выше, чище, могущественнѣе денегъ. Это несомнѣнно. Но можно ли было помочь любовью 17-ти миллионамъ голодающихъ? Безбрачіе, учить Толстой въ «Крейцеровой Сонатѣ» выше брака. Зачѣмъ-же въ Послѣсловіи онъ говоритъ: «могій вмѣстити да вмѣститъ» и только? Если все дѣло въ томъ, чтобы вмѣстилъ могій вмѣститъ, то ученіе превращается въ обыкновенную проповѣдь морали, спасительность которой относительна.

Въ проповѣди Толстого есть одна сторона, къ которой нельзя не отнести съ полнымъ уваженіемъ и любовью. Никто такъ рѣзко, какъ онъ, не выставлялъ еще противорѣчій нашей жизни. Но какъ избавиться отъ этихъ противорѣчій? Разрубить-ли Гордіевъ узелъ или развязать его? Разрубить—лучше, пріятнѣе, честнѣе, но это невозможно. А разъ невозможно, то...

Жить, какъ живетъ? спросить читатель.

Такой выводъ дѣлаетъ и самъ Л. Толстой. Но этотъ выводъ совершенно несправедливъ.

Говорить, что необходимо признавать прошлое и считаться съ условіями исторіи, ея традиціей, привычками и устройствомъ организма, зломъ и добромъ нашей жизни, нашими страстями и инстинктами—не значить проповѣдывать квіетизмъ. Кромѣ многихъ грѣховъ у человѣка есть и еще одинъ неискупимый—грѣхъ самонадѣянности.

Это грѣхъ всякаго безусловнаго нравственнаго ученія.

Я не буду останавливаться на многочисленныхъ противорѣчій въ ученіи графа Толстого и лишь упомяну о нѣкоторыхъ самыхъ важныхъ и бросающихся въ глаза. Возьмите его ученіе о женщинахъ. Въ 1884 г. онъ писалъ напр.: «идеальная женщина, по мнѣ, будетъ та, которая, усвоивъ высшее міросозерцаніе своего времени, отдастся своему женскому, непреодолимо вложенному въ нее призванію—родить, выкормить и воспитаетъ наибольшее количество дѣтей, способныхъ работать для людей, по усвоенному ею міросозерцанію...» Итакъ рожать, какъ можно больше рожать. Перечтите теперь «Крейцерову сонату». Смыслъ ея совершенно ясенъ; выходитъ, что самое лучшее совсѣмъ не рожать, и идеальной женщиной оказывается уже не та, которая отдается своему непреодолимо въ нее вложенному призванію, а та, которая это самое призваніе уничтожитъ или разрушитъ въ себѣ.

Противорѣчіе это самое любопытное именно потому, что тутъ рѣчь идетъ о жизни и смерти. Чего собственно хочетъ Толстой—жизни-ли для человѣчества или смерти? Положа руку на сердце—я этого не знаю и сомнѣваюсь, чтобы кто-нибудь это зналъ и могъ безъ колебанія отвѣтить на поставленный вопросъ. Проповѣдая упорно—трудовую жизнь, физическую работу, любовь, Толстой, повидимому, проповѣдуетъ жизнь и вѣрить, что счастливое существованіе человѣка на землѣ не только возможно, но и необходимо; онъ ставитъ каждому ясную и опредѣленную цѣль: нравственное усовершенствованіе;

онъ пишетъ страстныя страницы въ защиту того, что хорошая христіанская жизнь легче, чѣмъ та, которую мы ведемъ. Послѣ этого появляется «Крейцера соната» и въ Ясную Поляну летятъ десятки и сотни вопросовъ: «что лучше: жить или умирать?» «Крейцера соната» всеми безъ колебанія была признана за проповѣдь смерти. Въ «Послѣсловіи» Толстой идетъ на компромиссъ и говоритъ, что безбрачіе есть идеаль, вполне неосуществимый, какъ и всѣ идеалы. *Раньше* ничего подобнаго Толстой никогда не высказывалъ и всегда смотрѣлъ на свое ученіе какъ на такое, которое можетъ быть осуществлено полностью и даже немедленно.

Такія противорѣчія меня нисколько не удивляютъ; удивительно, если-бы ихъ не было. Въ началѣ 60-ыхъ годовъ Толстой недоумѣвалъ, кому у кого учиться—намъ ли у народа или народу у насъ, и защищалъ и то и другое мнѣніе; въ «Войнѣ и Мирѣ» онъ, низведя личность человѣка до дифференціала исторіи, вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣдуетъ личное и семейное счастье, какъ лучшее изъ всего, и въ сущности, какъ художникъ, впадаетъ въ еще болѣе рѣзкое противорѣчіе съ собой какъ мыслителемъ, и, удѣляя радостямъ и страданіямъ своихъ дифференціаловъ столько блестящихъ страницъ, такъ успѣваетъ заинтересовать ими читателя, что этотъ послѣдній очень груститъ, когда одинъ дифференціалъ умираетъ, или радуется, когда другая дифференціалка выходитъ замужъ. На почвѣ философіи «Войны и Мира» можетъ быть создана лишь свифтовская сатира или *Comedie de la vie humaine*. Но графъ Толстой такъ серьезно копается въ душѣ своихъ дифференціаловъ, что эта душа пріобрѣтаетъ несомнѣнную важность.

Утверждали нѣкогда, что графъ Толстой—великій художникъ и плохой мыслитель. Это совершенно несправедливо: какъ мыслитель, графъ Толстой величина крупная. Онъ блестящій діалектикъ, его мысли всегда оригинальны и глубокое его громадное образованіе несомнѣнно. Его противорѣчія не тѣ, которыя то и дѣло бываютъ у человѣка, плохо думающаго; а *противорѣчія живого человѣческаго сердца, руководимаго однако болѣзненно скептическимъ умомъ.*

Существуютъ формулы въ химіи, въ нравственности, въ общественной жизни. Существуютъ люди, для которыхъ вся жизнь есть формула, хотя-бы вродѣ: блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ... Для этихъ людей формула необходима, какъ пища, питье и одежда. Она указываетъ имъ, что сказать, какъ

ступить, когда съѣсть, когда улыбнуться и даже—какъ любить; а больше всего она указываетъ, какъ жить, не мучаясь ни нравственными, ни иными противорѣчїями. Формула спасительна: руководясь ею, человѣкъ можетъ быть спокойнымъ и неунывающимъ. Онъ знаетъ, что родителей надо любить, Бога бояться, начальству повиноваться безпрекословно, въ обществѣ держать себя весело,—знаетъ, что не нами міръ начался и не нами этотъ міръ кончится. Формула играетъ для него ту же роль, какъ рельсы для локомотива: и ѣхать легко, и въ сторону никогда никуда свернуть невозможно. Съ формулой тепло, какъ въ шубѣ или у печки, весело, какъ за стаканомъ вина, чувствуешь себя легко и прїятно, какъ въ дружеской компанїи.

Но никогда ни одна формула не могла подчинить себѣ Толстого. Онъ отбросилъ формулу личнаго и семейнаго счастья, формулу воспринятаго ученїя; онъ ищетъ истины, какъ Лиръ искалъ покоя въ ту страшную безумную ночь, которая, казалось, должна была сдѣлать безумными всѣхъ. Тяжело, мучительно жить безъ формулы. Вы, имѣя миллионъ денегъ и всемірную славу, знаете, что сдѣлать по формулѣ; но безъ нея, безъ этой спасительной няни, убаюкивающей и успокаивающей во снѣ—что дѣлать вамъ? Законно ли мое счастье? Не преступна-ли моя жизнь? Не вредны-ли мои дѣла? Ни комфортъ, ни любовь, ни уваженіе не даютъ покоя ищущей душѣ. Судьба Толстого—судьба Агасфера. Тайнственный голосъ ежеминутно слышится ему и говоритъ: иди... ищи... иди... ищи... Онъ идетъ и ищетъ. Идетъ въ великолѣпные салоны и находитъ тамъ Борисовъ Друбецкихъ, Бронскихъ, Карениныхъ; идетъ въ помѣстья и находитъ тамъ Ростовыхъ, Нехлюдовыхъ, Волконскихъ; идетъ «къ нимъ» въ народъ, къ Поликушкамъ, героямъ Севастополя... А голосъ не умолкаетъ ни на минуту и прїемъ таинственные: «иди... ищи... иди... ищи...» слышатся постоянно. Путникъ усталъ: онъ видитъ, что дорога безконечна, что ея черная лента, какъ былинная змѣя норманновъ, обвиваетъ весь міръ, что въ ея громадномъ кольцѣ нельзя найти начала, исходной точки, что самая жизнь это потокъ, несущійся въ пропасть,—онъ хочетъ отдохнуть, забыться, хочетъ убить себя. Но надо идти... Запыленный, измученный, онъ поднимается опять, съ ужасомъ смотря все въ ту-же и ту-же роковую загадку бытія...

Передъ нами грандіозная картина вѣчнаго безпокойнаго исканїя... По легендѣ Агасферъ попадаетъ наконецъ въ Іеру-

салимъ въ ту роковую минуту, когда Сила предавала распятію и смерти Любовь... Агасферъ вѣдѣтъ съ ликующей рабской толпой идетъ по пыльной раскаленной улицѣ, взбирается на Голгофу и вдругъ чувствуетъ, что на него упалъ кроткій, страдальческій взглядъ, полный милосердія, состраданія, жалости. Это что-то новое, это уже не прежній повелительный голосъ: иди—ищи... Этотъ взглядъ обѣщаетъ отраду и надежду... «И Христосъ,—заканчиваетъ легенда, — возложилъ на Агасфера крестъ свой...» На Голгофѣ Агасферъ остановился и впервые почувствовалъ миръ въ душѣ, этой измученной, надломленной душѣ...

Такова исторія Толстого. Отъ него требуютъ какихъ-то формулъ, упрекаютъ его за противорѣчія. Онъ не можетъ дать формулы: онъ—вѣчное исканіе, частичка того-же потока, который мы зовемъ жизнью. Развѣ этотъ потокъ можетъ остановиться?...

XIV

На вершинѣ славы.

Въ новой фазѣ своихъ вѣрованій Толстой началъ раздавать свое имущество, вести простую трудовую жизнь, усиленно работать съ крестьянами въ полѣ и писать для нихъ книги. Появляются изданія «Посредника» и народныя его книжки миллионами расходятся по всей Россіи. Въ 1886 году онъ говорилъ Данилевскому: «Болѣе 30 лѣтъ назадъ, когда нѣкоторые нынѣшніе писатели, въ томъ числѣ и я, начинали только работать, въ стомилионномъ русскомъ государствѣ грамотные считались десятками тысячъ; теперь послѣ размноженія сельскихъ и городскихъ школъ они, по всей вѣроятности, считаются миллионами. И эти миллионы русскихъ грамотныхъ стоятъ передъ нами, какъ голодные галчаты, съ раскрытыми ртами и говорятъ намъ: «господа родные писатели, бросьте намъ въ эти рты достойной васъ и насъ умственной пищи; напишите для насъ, жаждущихъ живого литературнаго слова; избавьте насъ отъ все тѣхъ же лубочныхъ Еруслановъ Лазаревичей, Милордовъ, Георговъ и

прочей рыночной пищи». Простой и честный русскій народъ стоитъ того, чтобы мы отвѣтили на призывъ его доброй и правдивой души. Я объ этомъ много думалъ и рѣшился по мѣрѣ силъ попытаться на этомъ поприщѣ». Попытки Толстого положили начало цѣлой обширной уже литературы для народа, которая съ каждымъ днемъ все болѣе расширяется, но, къ сожалѣнію, еще и до настоящей минуты не выработала себѣ определенной цѣли и направленія. Проповѣдь смиренія, ненависти и презрѣнія къ умственному труду и т. д. — не рѣдкость въ этихъ грошевыхъ сѣробумажныхъ книжечкахъ.

Но это одна сторона его жизни; другая, во всякомъ случаѣ не менѣе важная, есть личныя его сношенія съ людьми. Сотни посѣтителей со всѣхъ концовъ Россіи, Европы и Америки ежедневно приходятъ къ нему со своими сомнѣніями, страданіями, нерѣшенными вопросами и, подобно покойному Всеволоду Гаршину, уходятъ съ добрымъ чувствомъ, болѣе примиренные съ жизнью. Еще большая масса людей обращается къ нему письменно и изъ Сибири, и изъ Америки, и на каждое серьезное письмо онъ шлетъ задушевный отвѣтъ.

Нѣтъ той газеты, нѣтъ того журнала, ни въ Европѣ, ни въ Америкѣ, которые не посвящали бы ему своихъ столбцовъ и зорко не слѣдили бы за каждымъ словомъ, выходящимъ изъ подъ его пера. Совершенно справедливо замѣчаетъ Н. Н. Страховъ, говоря: «Большую долю всемірной извѣстности Толстого нужно приписать не его художественнымъ произведеніямъ, а именно тому религіозно-нравственному перевороту, который въ немъ совершился и смыслъ котораго онъ стремился высказать и своими писаніями, и своею жизнью.» Какъ бы мы ни судили объ этомъ переворотѣ, но очевидно образованный міръ былъ пораженъ зрѣлищемъ челоѣка, въ которомъ съ такою силою, безъ всякихъ внѣшнихъ толчковъ, сказались вѣчные запросы души челоѣческой. Нужно отдать людямъ честь: никакое литературное мастерство не могло привлечь ихъ любопытства и уваженія въ такой степени, какъ та душевная исторія, которая совершилась и совершается предъ ихъ глазами въ Ясной Полянѣ. Нѣкто Лиліенбахъ высказываетъ слѣдующее: «во всѣхъ образованныхъ слояхъ обоихъ полушарій Толстой является любимымъ писателемъ». Подъ Фло-

беръ сравниваетъ его съ Шекспиромъ, а Матью Арнольдъ считаетъ его самой мощной силой въ области литературы. Посмотримъ же, какъ живетъ теперь Левъ Николаевичъ. Любопытную картину этой жизни даетъ намъ В. Г. въ своемъ описаніи посѣщенія Ясной Поляны.

«Прибывъ въ Ясную Поляну,—говоритъ онъ,—я засталъ Льва Николаевича за кладкой печи у одной вдовы-крестьянки. Я спрашивалъ у встрѣчныхъ крестьянъ, не видали ли они Льва Николаевича? Мужики мнѣ отвѣчали съ особеннымъ удовольствіемъ, что графъ уже на работѣ. Войдя въ указанную избу, я засталъ Льва Николаевича передъ печкой. Онъ былъ погруженъ въ работу и лишь изрѣдка перекидывался словомъ съ хозяйкой. Еслибы я раньше не видѣлъ Толстого, я бы на этотъ разъ могъ его принять за кого-нибудь изъ деревенскихъ рабочихъ. Его грязная, вымазанная сажей и глиной бѣлая рубашка, ремешокъ вмѣсто пояса, просторные крестьянскіе сапоги, по голенище запачканные въ глину, вполне гармонировали съ красивой головой и широкой спиной, на которой выступалъ сквозь рубашку обильный трудовой потъ. Хозяйка же, безъ малѣйшаго раболѣпства, даже можно сказать по товарищески, подавала ему совѣты и вѣроятно въ трудѣ Льва Николаевича не видѣла ничего особеннаго: ей просто помогаль добрый человѣкъ».

«Послѣ завтрака Л. Н. пошелъ читать или писать и часа черезъ полтора пришелъ къ той избѣ, гдѣ намѣревался поставить крышу на сараѣ. Онъ оказался въ томъ же нарядѣ, исключая блузы, которую онъ пережѣнилъ на болѣе чистую. Вѣроятно всякому извѣстно, что Л. Н. денежной помощи нуждающемуся человѣку не признаетъ, но у себя въ деревнѣ онъ старается принести посильную помощь крестьянамъ личнымъ трудомъ, доставленіемъ матеріала для построекъ и для посѣва».

Теперь является вопросъ: почему же Л. Н. предпочитаетъ помогать крестьянамъ не деньгами? и этотъ вопросъ задалъ ему В. Г., увидавъ, что дочь графа работаетъ на полѣ одного изъ бѣдныхъ крестьянъ.

«Я думаю,—сказалъ ему Толстой,—что обязанность каждого человѣка работать для другихъ, кто нуждается въ помощи, и

работать по крайней мѣрѣ часть дня своими руками. Лучше работать для бѣднаго и съ бѣднымъ въ его особомъ занятіи, нежели работать на высшемъ, болѣе высокомъ и пожалуй болѣе вознагражденномъ интеллектуальномъ полѣ и давать бѣднымъ результаты. Въ первомъ случаѣ вы не только помогаете тѣмъ, кто нуждается въ помощи, но вы показываете, что вы не считаете ихъ прозаическую работу ниже своего достоинства, т. е. вы научаете ихъ самоуваженію. Если-же вы работаете исключительно на вашемъ болѣе высокомъ интеллектуальномъ полѣ и даете бѣдняку результатъ вашего труда, какъ вы давали бы милостыню нищему, то вы поощряете лѣнь и подчиненность; вы устанавливаете социальное, сословное различіе между вами и принимающими вашу милостыню, вы разрушаете въ немъ уваженіе и довѣріе къ себѣ».

Вернемся къ воспоминаніямъ В. Г. «Итакъ, Л. Н. отправился послѣ завтрака класть крышу на сараѣ бѣдной деревенской вдовы, которой, по примѣру Л. Н., пришелъ помогать сосѣдь-мужичекъ и еще какой-то паренекъ. Этотъ мужикъ, Прокофій, худой, истощенный, заправлялъ работами и дѣйствительно, входя въ роль, командовалъ, какъ слѣдуетъ, безъ стѣсненія. Льву Николаевичу нравилась его новая работа. Онъ съ видимымъ наслажденіемъ подпиливалъ бревна, вырубалъ гнѣзда для стропиль, обстругивалъ деревянные гвозди. При постановкѣ стропиль Л. Н. выказалъ значительную силу и ловкость, перетаскивая громадные бревна и поднимая ихъ вверхъ. Л. Н. строилъ сараѣ *въ первый разъ и относился* къ этой работѣ съ той же любовью, какъ и къ кладкѣ печи на краю деревни.

«Всякій день, пока я былъ у Л. Н., онъ послѣ завтрака отправлялся на деревню доканчивать вдовій сараѣ и возвращался домой поздно. Работалъ онъ неутомимо, такъ что Прокофій не разъ съ сердечнымъ удовольствіемъ говорилъ: «Ишь, ишь, куда полѣзъ дѣдъ. И не смеется». Всѣ, кому нужно было видѣть Льва Николаевича, являлись къ нему въ деревню и тутъ-же, или помогая ему, или просто сидя на бревнышкахъ среди навоза, бесѣдовали съ нимъ. Во время отдыха, около пяти часовъ, если Л. Н. не уходилъ домой, всѣ усаживались въ ближайшей избѣ и, утоляя свой голодъ хлѣбомъ и квасомъ, снова разсуждали о явленіи борьбы за существованіе и проч.» Въ заключеніе В. Г. говоритъ: «Нужно удивляться Толстому въ

его умѣніи распредѣлять свое рабочее время. Постоянно занятый физическимъ трудомъ, развлекаемый массою посѣтителей знакомыхъ и незнакомыхъ, онъ находилъ время отвѣчать на письма, читать, думать и писать самыя разнообразныя вещи, начиная съ рассказовъ для народа и кончая разсужденіями на тему міровыхъ вопросовъ».

Рафаиль Лёвенфельдъ, посѣтившій Л. Н. въ 1890 году, рассказываетъ, что во время его пребыванія Л. Н. ежедневно отправлялся работать въ полѣ, гдѣ рядомъ съ нимъ помогала крестьянкамъ и дочь его Марья Львовна и ежедневно къ нему являлись различные посѣтители: то приходила дѣвушка изъ деревни, то пріѣзжали за «Крейцеровой сонатой», то просто издалека являлась какая нибудь барыня, чтобы увидать его и пожать ему руку. Тутъ же пришелъ изъ дальней деревни крестьянинъ посоветываться съ нимъ о домашнихъ дѣлахъ. Левъ Николаевичъ, внимательно выслушавъ крестьянина, обстоятельно разъяснилъ ему, какъ нужно, по его мнѣнію, во всѣхъ затруднявшихъ его случаяхъ поступать согласно ученію Христа, и крестьянинъ, тронутый до слезъ, удалился, обѣщаясь исполнить все такъ, какъ посоветывалъ ему Л. Толстой.

Голодный годъ 1891—92 г. прибавилъ новую блестящую страницу къ біографіи Толстого, которой я и позволю себя заключить свой очеркъ. Мы видѣли, какъ онъ училъ и искалъ правды, какъ переходилъ онъ отъ служенія силѣ къ служенію труду и наконецъ—любви. Любовь завершила циклъ развитія и осынила своимъ крыломъ могучую больную душу...

Исторія голоднаго года еще слишкомъ на памяти у всѣхъ насъ, чтобы надо было ее рассказывать. Мы видѣли грустное и печальное зрѣлище громадныхъ пространствъ, занесенныхъ снѣгомъ, подъ которыми безъ одежды, безъ пищи, безъ дровъ, безъ слова жалобы, а съ тихой покорностью умирали сотни и тысячи людей, не зная зачѣмъ они жили, еще меньше зная зачѣмъ они умираютъ... Мы въ это время устраивали филантропическія чтенія и филантропическіе танцы, мы грустили, что такъ все это нехорошо вышло, мы почувствовали въ душѣ обновляющую силу состраданія—увы не надолго, но мы не знали что дѣлать. Толстой первый нашелъ выходъ. Вмѣстѣ съ своею семьей онъ первый отправился въ самую среду голодающихъ и, пользуясь своимъ славнымъ именемъ, кормилъ въ устроенныхъ имъ столовыхъ сотни и тысячи людей. Отъ ни

на минуту не покидалъ своего поста. Пожертвованія шли къ нему со всѣхъ концовъ Россіи, Европы, Америки. Онъ сдѣлалъ что могъ, спасая близкихъ отъ голодной смерти.

Наперекоръ своему ученію, онъ бралъ деньги, раздавалъ деньги, помогалъ деньгами. Такъ горячій ключъ, занесенный снѣгомъ, пробиваетъ ледяную кору и жаркой грѣющей струей вырывается наружу. Такъ любящее человѣческое сердце, замолкшее подъ холоднымъ резонерствомъ, начинаетъ биться съ прежней силой любви и состраданія, несмотря на ледяную кору логическихъ аргументовъ, разъ это сердце есть, разъ оно способно любить, сострадать.

Заключеніе.

Толстой началъ свою литературную дѣятельность въ 1851 г., выступивъ «Дѣтствомъ» въ «Современникѣ» Некрасова. «Дѣтство» обратило на себя вниманіе, хотя преимущественно лишь въ кружкахъ, прикосновенныхъ къ литературѣ. «Севастопольскіе рассказы» сдѣлали имя Толстого популярнымъ въ широкой публикѣ, но истинная слава послѣдовала лишь за «Войной и Миромъ» (1865—69 г.) Въ Европу произведенія Толстого стали проникать лишь въ 70-хъ годахъ, хотя сначала довольно туго. Начало ученія относится къ 1881-му году.

Таковъ послужной литературный списокъ графа Толстого, охватывающій собою періодъ 33-хъ лѣтъ. За эти 33 года русская публика смѣнила нѣсколько кумировъ, изъ которыхъ каждому въ свое время поклонялась до упаду. Въ 50-хъ годахъ первенствовалъ Тургеневъ, въ 60-хъ—Островскій, отчасти Тургеневъ и Писемскій, въ 70-хъ,—какъ ни странно такое сочетаніе именъ,—Достоевскій и Щедринъ, но 80-ые годы почти безраздѣльно принадлежатъ Толстому, который, какъ указалъ я выше, доставлялъ почти всю умственную пищу второй ихъ половинѣ.

Въ литературу эпитетъ «великій» былъ пущенъ Тургеневымъ въ его предсмертномъ письмѣ къ Толстому. Толстой названъ здѣсь великимъ писателемъ земли русской. Тургеневъ, замѣтимъ, имѣетъ въ виду исключительно художественныя произведенія.

Подъ опредѣленіемъ Тургенева нельзя не подписаться, и величіе Толстого, какъ художника, не требуетъ доказательствъ. Мы и не будемъ этого доказывать и, основываясь отчасти на громадной критической литературѣ, отчасти на собственномъ изученіи, постараемся дать оцѣнку художественнаго дарованія Толстого, не надоедая читателю восторгомъ и восклицательными знаками.

Сначала о слогѣ. Это не слогъ Тургенева, — гладкій и полированный, носящій на себѣ слѣды тонкой ювелирной работы, красивый и легкій какъ афинскія постройки, — не слогъ Достоевскаго, нервный, пронизывающій, подъ-часъ растрепанный, — это слогъ всегда ясный, простой, сильный, украшенный мѣткими и оригинальными образами и почти всегда небрежный. Въ молодости Толстой заботился о красотѣ и изяществѣ языка: въ «Казакахъ» (1861 г.) есть еще страницы стиля, но, начиная съ статей въ журналѣ «Ясная Поляна», стиль исчезъ. Въ слогѣ Толстого есть многое, что напоминаетъ характеристику его виѣшности, данную какъ-то Тургеневымъ: «Это, писалъ Тургеневъ, — человѣкъ высокаго роста, могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенскою жизнью (*rustique*). Не совсѣмъ правильныя черты лица обличаютъ умъ необыкновенный». Въ этомъ портретѣ вы какъ бы узнаете героя-богатыря, Микулу Селяниновича нашей литературы. Толстой на самомъ дѣлѣ не заботится о фразѣ и не боится сдѣлать стилистическую ошибку. Къ красивымъ, изящно построеннымъ фразамъ онъ питаетъ искреннее отвращеніе, и это отвращеніе появилось у него уже въ юности. Тогда онъ между прочимъ нападалъ на Пушкина за то, что тотъ писалъ стихами. Стиховъ Толстой не любитъ и теперь, хотя самъ два раза согрѣшилъ въ этомъ отношеніи — оба раза впрочемъ въ шутку. Стилистическихъ неправильностей можно найти не мало даже на лучшихъ страницахъ «Войны и Мира», но странно, этотъ не всегда красивый и всегда небрежный слогъ въ концѣ концовъ начинаетъ нравиться вамъ больше всякаго другого, все равно какъ некрасивое даже лицо любимой женщины нравится вамъ больше, чѣмъ лицо Мадонны. Слогъ Толстого, какъ и все толстовское, подкупаетъ и поработачаетъ васъ своей мощью, запасомъ громадной заключенной въ немъ силы и наконецъ своей ясностью и точностью. «Разница между мною и Пушкинымъ та, говорилъ Толстой Берсу, — что Пушкинъ, описывая художественную подробность, дѣлаетъ это легко и

не заботится о томъ, будетъ ли она замѣчена и понята читателемъ, а я какъ бы пристаю къ читателю съ этою художественной подробностью, пока ясно не растолкую ее». Прибавить лишнюю вводную фразу или лишнее придаточное предложение Толстой не остерегается. Онъ пишетъ, точно домъ строить на каменномъ фундаментѣ, и знать не хочетъ, будетъ ли это красиво: главное, чтобы было тепло, удобно, прочно и, что за бѣда, если какой нибудь флигель (придаточное предложение) выпятится впередъ?

Отсутствіе фразы въ стилѣ вводитъ насъ въ самую глубь психологій Толстого какъ художника: онъ всегда и неизмѣнно искренній. Онъ пишетъ то, что думаетъ, и только такъ, какъ думаетъ. Это очень важное обстоятельство, и не могу удержаться, чтобы не напомнить маленькаго остроумнаго разсужденія Верне на эту тему: «Удивительная вещь этотъ письменный столъ, это перо, бумага и чернильница! Кажется, нѣтъ болѣе невинныхъ предметовъ, а между тѣмъ... Я знаю людей умныхъ, честныхъ, безусловно правдивыхъ, но стоитъ имъ только взять въ руки невинное перо, придвинуть къ себѣ невинный листъ бумаги и сѣсть за невинный письменный столъ, какъ сейчасъ же они начинаютъ писать не то, что думаютъ, или по крайней мѣрѣ не такъ, какъ думаютъ. Чтобы это значило—не знаю, но я знаю вотъ что: человекъ, который за письменнымъ столомъ не можетъ быть такъ-же искрененъ, какъ самъ съ собой, съ своимъ другомъ, съ любимой и преданною женщиною, никогда, даже подъ угрозой личнаго знакомства съ Меттернихомъ, не долженъ садиться за невинный столъ и брать въ руки невинное перо. Моя статья—мое родное излюбленное дѣтище, а не любовница, купленная за деньги»... Такъ писать, какъ того требуетъ Верне, могутъ лишь литературные избранники, и даже не всѣ литературные избранники, потому что Цицеронъ, Петрарка, Гейне несомнѣнно дѣлали фразы. Чтобы передъ письменнымъ столомъ сохранить полную искренность, не дать себя увлечь въ сторону стиля ни одной случайности—надо видѣть въ своихъ созданіяхъ родное дѣтище и понимать, что это дѣтище ищетъ правды и будетъ въ сущности живо лишь этой правдой. Небрежный въ слогъ, Толстой по 30—40 разъ передѣлываетъ каждое свое произведеніе, а его гигантская эпопея «Война и Миръ» переправлялась и переписывалась семь разъ. Искренность всегда проста и

въ сущности идеально простъ слогу Толстого: его фразы, какъ вѣтви и листья дерева, располагаются свободно и просто, нисколько не заботясь, какое впечатлѣніе произведутъ они на глазъ просвѣщенного туриста.

Лишенный фресокъ и арабесокъ, слогу Толстого эпически спокоенъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда нервности, присущей Достоевскому, нѣтъ лирическихъ порывовъ и даже лирическаго безпорядка многихъ страницъ Гоголя. Толстой пишетъ, какъ будто рѣшаетъ сложную математическую задачу со множествомъ неизвѣстныхъ, понимая, что пропустить что нибудь, самую мелочь, самую простую подстановку, значитъ непременно придти къ ошибкамъ и невѣрности. Эпическое спокойствіе изложенія есть одна изъ характернѣйшихъ особенностей художественнаго дарованія Толстого. Она зависитъ отъ многого и прежде всего отъ громадной, почти феноменальной художественной памяти великаго писателя земли русской.

«Толстой помнить все жизненные процессы такъ счастливо, что, вызывая ихъ изъ прошлаго въ своемъ воображеніи, онъ ихъ можетъ списывать съ дѣйствительности по-секундо, какъ если бы они развертывались передъ нимъ живьемъ и во всякую минуту останавливались по его волѣ передъ его умственнымъ взоромъ, чтобы онъ успѣвалъ захватить изъ нихъ все необходимыя ему подробности. Понятно поэтому, что поставленный лицомъ къ лицу съ этой волшебной ярко вспыхнувшей картиной въ качествѣ спокойнаго наблюдателя, Толстой можетъ такъ сказать сотворить минувшую дѣйствительность во второмъ экземпляръ, безъ всякой фальши, поражаемый забвеніемъ характернѣйшихъ частныхъ событій или, наоборотъ,—вызываемой важною окраской произвольными ретушами того, что когда-то было такъ просто и что невольно кажется изъ отдаленія чѣмъ-то непомѣрно значительнымъ. Часто бываетъ, что писатель въ своемъ отношеніи къ нѣкогда пережитому событію смѣшиваетъ впечатлѣнія прошлаго и переноситъ чувства, навѣянные однимъ событіемъ, на другое, хотя и сродное съ изображаемымъ, но во многомъ отъ него отличное,—смѣшиваетъ различные источники радости, грусти, тревоги и т. д. Съ Толстымъ ничего подобнаго не можетъ случиться. Для него не существуетъ никакихъ обмановъ зрѣнія, когда онъ смотритъ въ перспективы прошлаго. Читая толстовское описаніе бала, смерти, дождя, родовъ, сраженія, переѣзда на дачу, раздумья въ кабинетѣ, вѣнчанія и т. д.,—вы удивляетесь не только всеобъемлемости воспоминаній автора, но и упорной энергіи самаго описательнаго процесса. Этому художнику совсемъ невѣдомы такіе житейскіе факты, которые бы, несмотря на кажущуюся незначительность, не раскрыли бы въ себѣ, при ближайшемъ вниманіи, своихъ интересныхъ особенностей. Поэтому за что бы ни взялся Толстой, онъ можетъ вамъ дать цѣлую главу—и вы ни мало не беспокоясь о приостановившейся фабулѣ романа,—

начинаете входить въ матерію какого-нибудь самаго будничнаго эпизода съ неизмѣнно живымъ, возрастающимъ участіемъ».

«Спокойствіе и выдержка творческаго процесса у Толстого дѣлаютъ то, что въ предметахъ, неизбѣжно волнующихъ самого писателя, Толстой никогда не дѣлаетъ пропусковъ противъ жизни, и сколько-бы ни была тяжела и мучительна тема,—Толстой никогда не утомится настолько, чтобы прозвѣвать правду и придти, подъ влияніемъ собственной надорванности, къ концу ранѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Такъ онъ провелъ Ивана Ильича черезъ всѣ мытарства долгаго умиранія, отъ простаго ощущенія неловкости до нестерпимыхъ болей, сопровождаемыхъ безсознательнымъ, животнымъ выкрикиваніемъ одного лишь страшнаго звука «у! у!...»

(С. А. Андреевскій).

Вторая причина эпического спокойствія изображенія—это выстраданная и выношенная страсть, которая чувствуется за каждый страницей, вышедшей изъ подъ пера Толстого. Изъ біографіи читатель видитъ, что если Толстой и выражаетъ просто свои мысли, то приходитъ онъ къ своимъ мыслямъ не только не просто, а путемъ самыхъ жестокихъ внутреннихъ мукъ. Не знаю, былъ ли онъ счастливъ когда нибудь въ своей жизни: онъ о своемъ счастьѣ упоминаетъ только одинъ разъ въ письмѣ къ Фету двѣ недѣли послѣ свадьбы. А Левину, двойнику Толстого, его личное счастье постоянно кажется ненатуральнымъ, неестественнымъ, отчасти даже преступнымъ. Я думаю, всякій замѣчалъ или читалъ по крайней мѣрѣ, что сильные люди спокойны въ самыя критическія минуты, хотя-бы это было спокойствіе смерти. Признаюсь откровенно (б. м. это крайность), эпическій тонъ Толстого въ нѣкоторыхъ сценахъ, напр. въ сценѣ убіиства Верещагина или смерти Андрея Болконскаго, напоминаетъ мнѣ спокойствіе могилы въ которой бьется, рычитъ и корчится зарытый въ нее живой мертвецъ.

Третья причина эпическаго изложенія Толстого—его громадный аналитическій умственный аппаратъ. Эта особенность генія Толстого отмѣчена давно и блестяще проявилась уже въ «Дѣтствѣ»; кульминаціоннаго-же пункта она достигла, по моему мнѣнію, въ «Смерти Ивана Ильича». Иностранные и русскіе критики зовутъ Толстого художникомъ анатомомъ и видятъ въ этихъ анатомическихъ приемахъ творчества причину и силы, и слабости автора «Войны и Мира». Выступая въ печати съ своимъ пронизывающимъ психологическимъ анализомъ, Толстой рисковалъ быть непонятымъ, потому что, наполняя свои страницы длинными монологами дѣйствующихъ

лицъ—этими причудливыми молчаливыми бесѣдами людей про себя, Толстой создавалъ совершенно новый смѣлый приѣмъ въ литературѣ: такихъ монологовъ до него не писалъ еще никто. Но онъ заставилъ слушать себя, заставилъ читателя, затавивъ дыханіе, слѣдить за безконечной вереницей мыслей, пробѣгающихъ въ головѣ его героевъ, за всѣми мимолетными настроеніями ихъ сердца, за всѣми прихотливыми арабесками ихъ фантазій. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, почему въ крупныхъ произведеніяхъ Толстого нѣтъ, строго говоря, ни одного лица, которое мы могли-бы любить или ненавидѣть? Ни Наташа Ростова, захватывающая сначала читательское сердце своей жизнерадостной молодостью, ни Пьеръ Безуховъ, этотъ толстый добродушный умный человѣкъ, не могутъ стать нашими любимцами. Все равно какъ въ житейскихъ отношеніяхъ ни привязанность, ни дружба, ни любовь не устоятъ, разъ вскрыты всѣ душевные тайники любимого человѣка, такъ и въ искусствѣ, въ романѣ. Герои Тургенева являются всегда передъ нами при нѣсколькомъ фантастическомъ освѣщеніи, какъ бы при лунномъ свѣтѣ или свѣтѣ молніи; герои Толстого всегда, по счастливому выраженію С. А. Андреевскаго, ходятъ съ освѣщенными внутренностями, и въ концѣ концовъ мы подъ очаровательной жизнерадостностью Наташи Ростовоѣ видимъ лишь эгоизмъ самки, за философіей Андрея Болконскаго—его сословную гордость, за достоинствами Безухаго—его самодовольство, иногда, какъ въ эпилогѣ напр., просто даже обидное. Раньше мы видѣли, что громадный аналитическій аппаратъ Толстого роковымъ образомъ велъ его къ пессимизму и меланхолиі: Толстой слишкомъ всматривался въ себя и людей, чтобы не разглядѣть въ глубинѣ души каждаго изъ насъ чего нибудь очень и очень далекаго отъ совершенства.

Такія-то стороны генія Толстого создали его стиль—этотъ ясный, точный стиль, привлекающій читателя не красотой, не изяществомъ, а своей силой, серьезностью, искренностью. Не торопясь, не нервничая, Толстой шагъ за шагомъ подчиняетъ себѣ воображеніе и умъ читателя; накладывая штрихъ на штрихъ, онъ рисуетъ своихъ героевъ, точно высѣкая изъ мрамора. Отъ каждаго удара молотка отдѣляется лишь нѣсколько пылинокъ камня; нужны сотни тысячъ этихъ ударовъ, чтобы изъ глыбы вышла фигура; нужны тысячи штриховъ, чтобы портретъ Толстого былъ готовъ. Какъ Гомеръ, описывая щитъ Ахил-

леса, не пропускаетъ ни одной линіи, такъ и Толстой не пропускаетъ ничего изъ душевной жизни своихъ героев...

Онъ реалистъ въ полномъ смыслѣ этого слова, хотя его реализмъ имѣетъ много особенностей, носящихъ на себѣ рѣзкую печать огромной его индивидуальности. Французы, любящіе формулы, называютъ этотъ реализмъ «идеалистическимъ», противопоставляя его реалистическому натурализму Флобера, Зола, Мопасана. Посмотримъ, въ чемъ тутъ суть. Прежде всего замѣтимъ, что Толстой почти никогда не выдумываетъ. Большая часть его произведеній носитъ автобіографическій характеръ. Въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ», «Юности» онъ разсказалъ свои собственные дѣтство, отрочество и юность; въ «Утрѣ помѣщика»—свои собственные неудачныя попытки осчастливить крестьянъ до программъ просвѣщеннаго помѣщика; въ «Люцернѣ»—свои собственные заграничныя впечатлѣнія, какъ въ севастопольскихъ разсказахъ то, что онъ видѣлъ въ дни знаменитой осады. «Война и Миръ» явилась плодомъ долгаго изученія историческихъ документовъ, относящихся къ 12-му году, и кромѣ того здѣсь масса лицъ, списанныхъ съ натуры. Пьеръ Безухой напр.—одно изъ воплощеній самого Толстого; Марія Болконская—его мать, Николай Ростовъ—отецъ, и т. д. Разумѣется, Толстой то и дѣло отступаетъ отъ факта, но излишняго простора своему воображенію онъ не даетъ никогда. Въ «Аннѣ Карениной» мы видимъ то же самое, такъ какъ трудно не узнать въ Левинѣ самого Толстого и извѣстная сцена объясненія въ любви между Левинымъ и Китти произошла въ дѣйствительности въ 1862-мъ году между самимъ Толстымъ и Софьей Андреевной Берсъ, теперь графиней Толстой. Біографію Толстого можно смѣло написать по его собственнымъ произведеніямъ, и она выйдетъ полной особенно во всемъ, что касается душевной жизни великаго писателя. Не упоминаю уже объ «Исповѣди», гдѣ Толстой раскрылъ свою душу съ такою откровенностью, съ какою никто раньше его не дѣлалъ, даже Руссо, хвастающій искренностью въ своихъ Confessions, вся послѣдняя часть которыхъ оказывается однако бредомъ чловѣка, страдающаго маніей преслѣдованія. Толстой разсказалъ намъ все—и крупное, и мелкое изъ своей жизни, не забылъ даже исторію своихъ собакъ Милки и Бульки, эпизода на медвѣжьей охотѣ, когда медвѣдица едва не разгрызла ему черепа, ни того, какъ онъ едва не попался въ пѣни на Кавказѣ. Эготизмъ Толстого

постояненъ и онъ ни на минуту не можетъ отказаться отъ него, даже когда выводитъ на сцену не себя а другихъ людей.

Надъ печальми и радостями его лицъ всегда витаетъ все тотъ же знакомый намъ геній; мы знаемъ, что онъ, этотъ геній, разберетъ по косточкамъ каждое ихъ горе и каждую радость и дастъ намъ свои выводы о жизни,—выводы челоѣка, одареннаго глубочайшимъ проникновеніемъ въ нѣдра дѣйствительности, который пронизываетъ эту дѣйствительность до самыхъ сокровенныхъ ея тайниковъ, побуждаемый неутомимымъ исканіемъ истины,—и который во всѣхъ направленіяхъ съ горечью наталкивается въ концѣ концовъ на зловѣщее сѣрое пятно, заслоняющее собою всякія дальнѣйшія исканія.

(С. А. Андреевскій).

Толстой въ одной изъ самыхъ послѣднихъ своихъ статей, именно въ предисловіи къ переводу дневника Аміэля, замѣтилъ между прочимъ:

«Писатель вѣдь дорогъ и нуженъ намъ *только въ той мѣрѣ, въ которой онъ открываетъ намъ внутреннюю работу своей души*, само собою разумѣется, если работа эта новая, а не сдѣланная прежде. Что-бы онъ ни писалъ: драму, ученое сочиненіе, повѣсть, философскій трактатъ, лирическое стихотвореніе, критику, сатиру,—намъ дорога въ произведеніи писателя только эта внутренняя работа его души, а не та архитектурная постройка, въ которую онъ большею частью, да я думаю и всегда, уродуя ихъ, укладываетъ свои мысли и чувства».

Слова эти какъ нельзя лучше приложимы къ самому Толстому: намъ то онъ и дорогъ прежде всего потому, что открываетъ внутреннюю работу своей души, и работа эта дѣйствительна нова.

Итакъ, самонаблюденіе, никогда не покидающее Толстого, его собственная семейная хроника и историческіе документы, на изученіе которыхъ онъ тратитъ цѣлыя годы—вотъ почва его реализма... Но, повторяю, это реализмъ особенный, уживающійся съ безмѣрною субъективностью и въ высшей степени оригинальнымъ идеализмомъ какъ въ научномъ, такъ и въ обыденномъ значеніи этого слова.

По словамъ Вогю, Толстой всегда остается «вышимъ судьей своихъ персонажей, какъ президентъ суда относительно подсудимыхъ». Типы Толстого одинъ изъ русскихъ критиковъ называетъ «замаскированными приговорами». Это совершенно справедливо, и это нисколько не мѣшаетъ реализму.

«Толстой, продолжаетъ Вогюэ, отводить мѣсто тривіальности, потому что она встрѣчается въ жизни и потому еще, что онъ желаетъ живописать жизнь во всей ея полнотѣ; но такъ какъ онъ не чувствуетъ пристрастія къ сюжетамъ тривіальнымъ, то онъ даетъ имъ мѣсто второстепенное, какое они занимаютъ и въ дѣйствительности. На улицѣ, въ гостяхъ, наталкиваешься иногда на отвратительные предметы; рѣдко гдѣ ихъ не встрѣтишь. Толстой показываетъ какъ разъ то, что слѣдуетъ, чтобы не заподозрили, что улица и домъ заранѣе прибраны». Не избѣгая т. н. соблазнительныхъ сценъ, Толстой однако отличается полнымъ цѣломудріемъ своей фантазіи, такъ что его произведенія, даже «Анну Каренину», можно дать любой неиспорченной дѣвушкѣ, не боясь, что чтеніе испортитъ ее. Если онъ то и дѣло изображаетъ пошлость, мелочность, эгоизмъ, чисто животныя ожесточенно половыя страсти—то кто же виноватъ въ этомъ. Но рядомъ съ этимъ онъ отводитъ то и дѣло мѣсто *героизму*—чувству, которое онъ повидимому наиболѣе цѣнитъ въ человѣкѣ. Та страсть, которую Фурье называлъ унитаріей (страстью единенія), страсть, возводящая въ высочайшую степень волю отдѣльнаго человѣка, и для Толстого, какъ для Фурье, является вѣнцомъ человѣческой природы.

Реалистъ до мозга костей, Толстой идеалистъ уже потому, что онъ всегда тенденціозенъ, что онъ всегда моралистъ. Моральный элементъ онъ считаетъ необходимымъ въ каждомъ художественномъ произведеніи; онъ винитъ Гете за отсутствіе этого моральнаго элемента и радуется, видя его у Лермонтова. Свой разрывъ съ петербургскими литературными кружками, гдѣ въ 50-хъ годахъ процвѣтало чистое искусство, Толстой объяснялъ гордыми словами: «Я буду писать, но не такъ какъ вы, потому что я знаю, *зачѣмъ* я буду писать». *Зачѣмъ*? *Затѣмъ*, чтобы проповѣдывать, учить, потому что Толстой столько же художникъ, сколько моралистъ, философъ. Онъ хочетъ, какъ Сократъ, учить людей *благу*. Правда, смыслъ этого блага часто мѣнялся втеченіи тридцати трехъ-лѣтней литературной дѣятельности, пройдя черезъ три момента опредѣленія: *силу*, обезпечивающую личное благо, *трудъ*—обезпечивающій общее благо, *любовь*, обезпечивающую блаженство. Мы еще вернемся ко всему этому, пока же замѣтимъ, что послѣдняя формула, къ которой пришелъ Толстой и которую онъ проповѣдуетъ. такова: «Миръ между людьми есть высшее доступное на землѣ благо людей».

Итакъ передъ нами художникъ и моралистъ, поэтъ и философъ, реалистъ и идеалистъ. Мы видѣли источники толстовскаго реализма, которые перечислили кажется всё, начиная съ огромной памяти и кончая изученіемъ историческихъ документовъ. Гдѣ-же источники идеализма? Ихъ два:

- 1) *религіозность*;
- 2) *народничество*.

Изъ всего того, что написалъ Вогюзъ о Толстомъ—а онъ написалъ очень много умнаго—мнѣ больше всего нравится одно блестяще развитое французскимъ критикомъ положеніе: «За всёмъ, что изображено Толстымъ, говоритъ Вогюзъ,—чувствуется присутствіе чего то огромнаго, страшнаго, таинственнаго»... Это присутствіе чего-то огромнаго страшнаго таинственнаго поражаетъ французскаго критика, но оно не должно поражать насъ, русскихъ читателей, потому что Толстого мы узнали послѣ Гоголя, Достоевскаго и—хотѣлось бы прибавить—Лермонтова. Это что-то огромное, страшное, таинственное есть загадка человѣческой жизни. Позволю себѣ привести изъ «Войны и Мира» страницу, которую справедливо считаютъ характернѣйшей для пониманія Толстого. Вотъ эта страница:

«Только выпивъ бутылку или двѣ вина, Пьеръ смутно сознавалъ, что тотъ запутанный, *страшный узелъ жизни*, который ужасалъ его прежде, не такъ страшенъ, какъ ему казалось. Съ шумомъ въ головѣ, болтая, слушая разговоры или читая послѣ обѣда и ужина, онъ безпрестанно видѣлъ этотъ узелъ какою-нибудь стороною его. Но только подъ вліяніемъ вина онъ говорилъ себѣ: «Это ничего. Это я распутаю—вотъ у меня и готово объясненіе. Но теперь некогда,—я послѣ обдумаю все это!» Но это *послѣ* никогда не наступало.

«Натощакъ, поутру, всё прежніе вопросы представлялись столь же неразрѣшимыми и страшными, и Пьеръ торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходилъ къ нему.

«Иногда Пьеръ вспоминалъ о слышанномъ имъ разсказѣ о томъ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе, для того, чтобы легче переносить опасности. И Пьеру всё люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственнымъ дѣлами. Нѣтъ ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ нея, какъ умѣю!» думалъ Пьеръ.—*Только бы не видать ее, эту страшную ее.*»

Только-бы не видѣть ее! Да развѣ вся драма жизни Толстого не въ этомъ восклицаніи? Развѣ не приходилось ему десятки сотни, разъ завидовать людямъ, у которыхъ на

все готовыя формулы, на все готовыя меню—на обѣдъ и ужинъ, на любовь и бракъ, на радость и горе, на умъ и глупость?... Всю долгую жизнь смотрѣла на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь видѣлъ онъ передъ собой таинственную пропасть вѣчности. Онъ сказалъ недавно объ Аміэлѣ вотъ что:

«Впродолженіи всѣхъ 30-ти лѣтъ своего дневника онъ чувствуетъ то, что мы всѣ такъ старательно забываемъ,—то, что мы всѣ приговорены къ смерти и казнь наша только отсрочена.. И отъ этого-то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга».

Да, страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался—такова красная нить жизни Толстого. Онъ искалъ забвенія въ карточной игрѣ, въ кутежахъ, въ поцѣлуяхъ любимой женщины, въ низведеніи человѣческой личности, а значить и себя самого къ дифференціалу, т. е. безконечно малой величинѣ исторіи, въ религіозномъ и нравственномъ резонертвѣ и... что-же онъ нашелъ? Спокойствіе духа... Изъ за этого не стоило хлопотать такъ долго, не стоило такъ много страдать... Противопоставьте все то, что говорилъ Толстой о знаменитыхъ упряжкахъ, общемъ благѣ, общемъ счастьѣ и пр.—раскрытой могилѣ, гдѣ скроются и упряжки, и физическій трудъ, и семейное счастье, и общесчастье—и вы получите тотъ самый нуль, съ котораго началъ гр. Толстой.

Но это исканіе и есть источникъ идеализма Толстого. Ему, какъ живому человѣку, нуженъ Богъ, во имя котораго можно даже уничтожить себя. Онъ искалъ Бога всю жизнь и нашелъ его наконецъ, какъ и слѣдовало, на Голгофѣ. Этотъ Богъ—любовь, самоотреченіе.

Чтобы *тебя* не было—вотъ единственный путь человѣческаго счастья. Возьми семью и уйди въ ея жизнь. Такъ слѣлалъ Левинъ. Возьми народъ и уйди въ его жизнь. Такъ сдѣлалъ самъ Толстой. Возьми любовь и претвори въ ней свой эгоизмъ—такъ сдѣлалъ опять таки самъ Толстой. Только чтобы тебя не было, не было-бы твоей требовательной, себялюбивой личности,—иначе—страхъ смерти, ужасъ смерти, невозможность примириться со смертию...

Какъ и Достоевскому, религіозная проблема всегда представлялась Толстому наиважнѣйшей. Какъ онъ самъ, такъ и всѣ его герои, заняты прежде всего исканіемъ Бога. Андрей Болконскій и Безухій въ «Войнѣ и Мирѣ» Левинъ въ «Аннѣ Карениной», десятки другихъ лицъ, не смотря на свою вѣнш-

нюю счастливую обстановку, постоянно ощущают какую-то неудовлетворенность, отравляющую имъ лучшія минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не могъ унизиться до протокола... Надвѣяя главныхъ своихъ дѣйствующихъ лицъ муками невѣрующей души, ставя ихъ то и дѣло съ глазу на глазъ съ загадкой жизни, Толстой этимъ самымъ то и дѣло задаетъ себѣ и рѣшаетъ нравственно-религіозные вопросы.

Въ отвѣтахъ, которые онъ даетъ, можно замѣтить всегда одну характерную особенность. Толстой практиченъ. Его тянетъ къ работѣ, къ дѣятельности. Изъ религіи онъ прежде всего извлекаетъ ея дѣйственный элементъ. Вопросъ о смыслѣ жизни то и дѣло поднимается у него вопросомъ: «что-же мнѣ дѣлать?»...

Второй источникъ идеализма Толстого—его народничество. Съ народничествомъ русскій читатель знакомъ хорошо, поэтому мнѣ нечего особенно о немъ распространяться. Въ современной своей формѣ оно явилось въ сороковыхъ годахъ и въ основѣ его лежало состраданіе и любовь къ крѣпостному безправному мужику. Съ той поры Антонъ Горемыка, Хори и Калинычи заповили нашу литературу. Въ семидесятыхъ годахъ было въ шутку замѣчено, что сквозь толпу литературныхъ мужиковъ также трудно протолкаться, какъ за десять лѣтъ передъ тѣмъ сквозь «жаждущихъ знанія и просвѣщенія» барышень. Народничеству или отдали свою дань, или безызмѣнно служили почти всѣ замѣчательные писатели земли русской. Списокъ ихъ длиненъ: Григоровичъ, Тургеневъ, Щедринъ, Достоевскій, Рѣшетниковъ, М. Вовчокъ, В. Слѣпцовъ, Гл. Успенскій, Л. Толстой, В. Короленко и т. д.—все это народники, хотя, разумѣется, каждый по своему. По своему народникъ и Л. Толстой. Съ его легкой руки, между прочимъ, привилась литературная тема о стремленіи интеллигента сблизиться съ народомъ и въ немъ найти правду жизни. Теперь это тема совсѣмъ захватанная, но въ 61-мъ году она имѣла всю прелесть новизны, разработанная къ тому-же вѣроятно въ лучшемъ изъ чисто художественныхъ произведеній Толстого—повѣсти «Казакъ».

Противопоставленіемъ народа и интеллигенціи Толстой занимается постоянно. Этому противопоставленію посвящены всѣ кавказскіе и севастопольскіе рассказы, «Утро помѣщика», «Три смерти», лучшія страницы изъ «Войны и Мира», «Плоды

